СТРАНИЦЫ ПОДВИГА

1





СОВЕТСКАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

ТОМ
ПЕРВЫЙ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1987

84 Р 7
С 83

Под общей редакцией
Андрея Дементьева

Составление
Леонида Асанова

Слово к читателю
Андрея Дементьева

Иллюстрации
Владимира Гальдяева

На обложке использован
фрагмент картины Митрофана Грекова
«Тяжелая атака под Батайском»

$C\frac{4702010200-1380}{080(02)-87}1380-87$



СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Истинное творчество всегда предполагает воспоминание, ибо даже в часы создания книги, обращенной в сегодняшний день или его воссоздающей, каждый уходящий момент уже принадлежит прошлому, становится историей. Великие книги, образно говоря,— суть великие воспоминания для нас, неповторимая летопись души и времени. И в этом смысле четырехтомник советской военно-патриотической прозы «Страницы подвига» не составляет исключения, ибо многие произведения писались давно, и это давнее время и давние люди, живущие в нем, близки нам только потому, что связь наша с ушедшими временами не прерывается из-за духовной близости, которая существует между прошлым и настоящим.

Каждая книга — это в конечном счете воспоминания одной личности, адресованные читателю — нынешнему и будущему. Воспоминания, которые со временем становятся народной памятью, когда эту память объединяет общая идея. Тогда книга переходит из десятилетия в десятилетие, из века в век вместе

с поколениями людей, сменяющих друг друга. И в нашем четырехтомнике такие книги тоже есть.

Думаю, что история советского общества — это история подвига, от времен Октябрьской революции до Великой Отечественной, до сегодняшних нелегких будней борьбы за мир и сохранение жизни. История нравственного, гражданского, общечеловеческого подвига во имя будущего, творимого миллионами людей, многие из которых оставили свои имена на граните памятников и страницах книг. Кто-то сказал, что память и воображение неотделимы друг от друга. Наверное, это так. Нынешняя молодежь, например, не испытала всего, что выпало на долю ее дедов, уходивших из школьных классов в дымные рассветы военного лета. И ей необходимо нелегкое воображение скорби и мужества, чтобы понять сороковые пороховые годы Великой Отечественной. Так, Константин Симонов, написавший одну из лучших книг о той войне «Дни и ночи», уводит в СВОЮ ПАМЯТЬ миллионы людей, которые благодаря его жизни, его опыту и воспоминаниям и, конечно же, благодаря его таланту возвращаются в былое, постигая мужество и героизм его атлантов.

Избранная военно-патриотическая проза «Страницы подвига» не может быть исчерпывающей, ибо невозможно с достаточной полнотой рассказать в четырех книгах о подвиге народа, впервые утвердившего на земле самое справедливое сообщество людей, отстоявшего его от врагов и спасшего от смерти и забвения. Здесь есть легендарный Чапаев и безжалостно мужественный Левинсон, чьими именами мы метим вехи гражданской войны, но они не могут исчерпать великой плеяды героев тех лет, как не исчерпали бессмертных списков Великой Отечественной герои А. Тол-

стого, К. Симонова, Л. Леонова, Б. Полевого, Ю. Бондарева, В. Быкова и Г. Бакланова.

Подвиг черпает свои силы не только в мужестве и чувстве долга перед Родиной. Подвиг — понятие емкое. Иногда проломы эпохи, историю приходится кому-то прикрывать своей судьбой, как закрывают матросы своим телом пробоины в трюме. И важен не столько результат поступка, сколько нравственный итог взлета человеческой души.

Я помню, как зачитывались мы главами из нового романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», потому что великий писатель сумел прочертить истоки народного подвига. В индивидуальных чертах одной судьбы он увидел и показал глубину национального характера, духовную связь советских людей в тяжелый момент смертельной опасности. Не смогу, и вряд ли это необходимо, прокомментировать каждое из произведений, включенных в четырехтомник, ибо ни беглый пересказ событий, ни сюжетное обозначение, ни литературный анализ не добавят ничего к тому, что написано было пятьдесят или десять лет назад. Но когда я перечитывал эти книги — от Фадеева до Карпова, я думал о том, что история народа — это в основном история идей. И прав был С. Цвейг, сказавший: «Историческое деяние бывает закончено не только тогда, когда оно свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков». Мы все хранители исторических, народных достояний — романтического мужества командиров гражданской войны и постижения подвига молоденькими солдатами «Роты Почетного караула», наследниками воинской славы Великой Отечественной.

Время проверяет не только характеры. Оно вызывает на поверку тех, кто давно не с нами, но чьи мысли и дела продолжаются в нас. И

тогда мы как бы слышим их голоса, звучащие со страниц книг, пропахших порохом и дымом, меченных слезами и кровью соотечественников. Как прекрасно, но и как трудно быть приобщенным к минувшему, которое живет в нашем воображении и памяти, взращенной родной литературой. Я думаю, что никакой учебник истории не может дать душе человека то, что дает ему писательское слово, которое кровоточит и дымится былыми пожарами, страдает и мучается сомнениями, уводя за собой в сабельную или танковую атаку мирное воображение потомков, склоняющих головы перед подвигом солдат.

Может быть, кто-то в этот четырехтомник включил бы другие произведения или заменил одни книги другими, но суть ее измениться не может. Потому что подвиг народа нескончаем и необозрим. И каждый новый факт или штрих лишь подтверждает его величие в нашем воображении.

Четырехтомник военно-патриотической прозы «Страницы подвига» прежде всего обращен к молодежи. Ей, а не кому-нибудь, Родина доверит свое будущее. С молодыми людьми связаны ее надежды и планы. И как бы эти планы по сути своей ни были нацелены на мир, место для подвига в них чувствуется за каждой строкой. А подвиг — это состояние души. Души чистой, верной, светлой. Такой, как у героев книг, включенных в четырехтомник советской военно-патриотической прозы «Страницы подвига».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ


ЗА
ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

РОМАН

I

В неоглядно знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане,— и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать — не было еще такого.

Не то ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче дымящимися кизяками?

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только казачки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казачки поглядывают в хатах в оконца на содом и гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

II

Выделяясь из коровьего мычанья, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..

— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

— До витряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами,— и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза девчат; ребятишки шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками,— и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохматовоинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных

гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненые штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка Воробьев, с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал в толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!..

— Пошел к черту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!

— Ня ннадо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно сризав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем, костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты конячее... А-а! Корова була, та дви пары быкив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой,— каждый кричал свое, не слушая:

— Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал.

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

— Через вас же. Вы же, сволочи, завели, вы сманули! Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем.

— Знамо, завели,— густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куды жа мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога пробежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненьки-

ми усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно-кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно-кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всих сторон навалилось. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хиба ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

— Що правда, то правда,— загудело в мечущемся шуме,—наш!

Высокий, в матроске, наконец выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы,— и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам собачья смерть!

— Бей их! Не оставляй для приплоду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другий скаче!

— Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, береж-

но расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уже по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубалы козаки!..

— Ой, лишенько мени...

— Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. Понад балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты — все было в пятнах крови,— своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно восковая желтизна и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди, и сейчас же поднялся, и стоял над ним, опустив голову:

— Сынку... сыне мий!..

— Вмер,— сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

— Славянская станица пиднялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И за́раз поперед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости,— стариков, старух — всих под одно. Воны кажуть: вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепеперечицы...

— Знаемо! — загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся,— повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов цилии ящики со снарядами, с патронами,— всего наволокли с турецкого фронту, нема ни конца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата в армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды

отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды? Чи с глузду зъихав? Павло!..

— Стой!.. Куды?! Назад!..

— Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзаду — всэ смерть. Энти вон,— он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени,— може, сегодняшнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так до́бре. За́раз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны! — опять дружно отдалось в бескрайной, узко-желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особых усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

— Та куды мы идэмо? Чого шукаты?.. Это ж разорение: всэ бросилы — и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим — не звери ж воны. Вон маркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдали, винтовки, патроны, козаки волоса не тронули, и посейчас пашуть.

— Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишать начнуть.

— Кому пахать-то пийдемо?! — закричали тонкими голосами бабы.— Опять же козакам та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Под козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!

— Уходи, бисова душа, поки цел.

— Бей его! Свои продают...

А борода:

— Та вы послухайте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухать нема чого. Одно слово — хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчите, граждане!

— Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их.

— Товарищи, бросьте,— треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь, и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а!..

И покатилось, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке,—по шее спускались ленточки,—молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно задумчивой степью, и с старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут,— как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас... святый боже, святый крепкий...— и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...вы от-да-а-ли все, что мог-ли, за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышен густой гул шагов, да —

...святый крепкий, святый бессмертный...
...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей,— памятники над богатеями казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом,— а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол, и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чого ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От

этого всё образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, сволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за Советску власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания,— не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

III

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность. От жестяной, без стекла, лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черными извивами — громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие, не отрываясь, все лазят по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохот-

ными светло-колючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полушепотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

— Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..

— С солдатами ничего не поделаешь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки изрубят.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Какой черт — не грянет, коли кругом пожаром все пылает.

— Ну, пойди расскажи им.

— А я говорю — Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

— О Новороссийске не может быть и речи, — сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый,— у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения,— и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда — значит, окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни езди, было все то же: налево, не пуская, синеет синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы,— как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду

на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их больше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Где спасение?

— Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там — на Святой Крест; а там — в Россию уйдем...

— Умная голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

— А я говорю, к главным силам пробиваться...

— Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

— Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погодя сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета — и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

— Товарищ Приходько,— разжал челюсти Кожух,— пойдите узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянутом бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извините, товарищ, совершенно недопустимо...— перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху; все это — выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он — с военным образованием и давнишний революционер,— совершенно недопустимо

вести армию в таком состоянии, это значит — погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связывают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии — пусть идут куда хотят или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела,— почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы захотели? — голосом ржавого железа заговорил Кожух.— У каждого солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство,— та разве ж он покинет их? Коли будемо сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Идтить надо, идтить и идтить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а идтить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут каждый день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

— Завтра выступать... с рассветом.

И думал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло:

«Дураку закон не писан».

IV

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко со-

баки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься — повозки; густо несется храп и заливистое сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь не тополь и не колокольня; присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило?

— Хто идет?

— Свой.

— Хто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

— Командир роты,— и, нагнувшись, шепотом: — «Лафет».

— Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— «Коновязь»,— и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок — солдаты с женами; а под плетнями — тайный смех, задавленные взвизги — с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, канальи. Все вино у казаков небось вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

— Ты, Анка?

— А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп — отец спит.

— Долго мы будем прохлаждаться?

— Скоро,— пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять — мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слыхать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка незнаемой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

— Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

— Во-острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Странный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филин.

— Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И, чтобы отодрать их, думает:

«Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается,— и опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой, с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

— Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возьме? Хтось такий?

— Я, бабо.

— А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того — заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Що ж таке балшавики думають: усе добро оставилы. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги ёго, як свой глаз; будешь помирать, щоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думають? И що буде Совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона Совитска власть, як не може ничого для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашенnии. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такий. О боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

— Э-э, бабо, що скулить,— с того добра нэ будэ.

Опять пыхнул папиросой, думая о своем, не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь,— трудно. Два сына на турецком фронте легли; два тут в армии под ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На козаков та на их-

них генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала,— родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он — не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель.

Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту,— шумит река,— покрестилась.

— Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь,— стоит, молчит, как нету ее, а сама вся тут...

— Балшавики в бога не верють. Шо ж, мабуть, знають, свое делають: пришлы, усе сразу як поваляли. Ахвицера, помещики утеклы швидко. От козаки и озверинилысь... Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють. Опять же свои, не басурманы... Як бы пораньше объявилысь, не було б цией проклятой войны, живы були б мои сыночки. У Туретчине сплять... И откуда ции балшавики взялысь? Кажуть, у Москви народилысь, а которы кажуть, у Германии,— германьский царь породил та на Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб той землей робилы на себе, а не на козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воны мий само... спл... сплять... сы... сыно... доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову,— должно быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Вввв-ва» и «уавва-ва...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, нá, нá! Та що ж ты нэ берэшь? От як мы умием — головой верть та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки як бумага папиросна... Дай поцелую кажный пальчик: раз! та ще два! та три!.. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловик будэ. А мамка будэ стари́енька тай беззуба, а сын скаже: «Ну, стара́, садись до стола, буду тебе кашей тай саламатой годуваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хочу...

— Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты не поворотливый! От я тоби сына кладу. Таскай ёго, сынку, за нос та за губу,— от так! от так!.. Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты ёго за губу, за губу таскай.

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будемо мужыковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид мене моря пущаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь?! Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

V

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та...

— Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

— Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

— бумм! бумм!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...та-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам постромки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

— Иде наша рота?.. иде наша рота?..

А за ним, истошно голося, простоволосая, расхристанная баба:

— Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-трррра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков тысяч, и неумирающий шум реки, и разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоняя их, заслоняя померкший шум реки, грохот, треск, скрип подымающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое,— как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суетятся, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается оружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

— Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «Дóбре, хлопьята, дóбре!..» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Добре, хлопьята, добре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» — он пожелтел, как лимон,— идет бой промеж обозных и беженцев...— Кожух бросился туда.

Перед мостом—свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые

люди, в ужасе орущие дети. Тр-та-та...— из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой!.. стой!..— хрипучим, с железным лязгом, голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет...— прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы; отчаянно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, улицы, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все у́же дуга; все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост.

Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли, шагов с десяток, между цепями. Стихло,— берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют — несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

— Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то позвериному злобный голос из казачьей цепи:

— Бачь! та це же ты, Хвомка!! Ах ты, ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи так же весь вылез такой же гололицый Хвомка:

— Це ты, Ванька?! Ах ты, ммать ттвою, байстрюк скаженний!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивали с дивчатами ридны украински писни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

— Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

— Хто? Я бандит?! А ты що ж, куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвово... И ты такий же павук!..

— Хто? Я — павук?! Ось тоби!! — откинул винтовку, размахнулся — рраз!

Сразу у Хвомки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвомка — рраз!

— На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу — и ну молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет,— как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гаком — и нестерпимый, не слыханный дотоле матерный рев над ворочавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять,— на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих и несло нестерпимым сивушным перегаром.

— А-а, с... сволочи!..— кричали солдаты.— Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

— Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!..— кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях — носы раздавливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая — не продыхнешь — матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... все — исступленный мордобой, все — исступленный матерный рев. Никто не заметил — стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

— Це ты, Опанас?! Та що ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

— Ты, Миколка? А я думав — казак. Що ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тоби сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

— Та що ж ты на мени ездишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

— Це ты, ты, Гараська?! Та ще ж ты не кричав? Тильки матюкается, як скаженный, а я думав — солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла наконец подлая матерная ругань, и стало слышно: шумит река да бесконечно барабанит досками мост — нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях, рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на лохматых черных папахах белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы,— ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленым железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы...

густо, сильно, отдаваясь в садах, за садами, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину!

Казачки встречают, высматривают каждая своего,— бросается радостно или вдруг заломит руки, за-

голосит, покрывая песни, а старая мать забьется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-валы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда только они повылезли, ведь не видать было все время: бегут и кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

— А у нас красные бычка зъилы.

— А я одному с самострела глаз вышиб,— он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суетятся казáчки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа,— рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки. Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров,— поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронье растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего не известно. Только объявились неведомые большевики, и точно у всех с глаз бельма слизнуло — вдруг все увидали то, что века не видали, но века чувствовали: офицерье, генералитет, заседателей атаманов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен

был на свой счет справлять сыновей на службу: а три, четыре сына — каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие,— вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый: все дадут, оденут с головы до ног. И казацкая масса постепенно беднела, разорялась и расслоялась: слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты,— за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете,— зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных — и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет,— а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

«Найкращий край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

«Та нэма ж им конца и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем — изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами крутогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом,— все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, побеги выбросила, глядь, уж дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны,— да разве перечесть! И все — громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце — и засыпается страна невиданным урожаем!

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа,— и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезли из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев черкесы,— кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей,— нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

— На-кось! съешь фигу,— землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя — «иногородние». Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, взвалили на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе,— платят каза-

кам тою же монетой: «куркуль» (кулак), «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же иногородней бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба,— ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде, и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только *граждане*. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия — и все это

непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уж Советская власть. А на Кубань уж налетали рабочие из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь,— сказали иногородние казакам.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь, и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки «куркули», «каклуки», «пугачи».

— Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицерья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого — заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы,— ни одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сапатку я-ак кокну,— он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж..., а он, сволочь, ка-ак тяпнет за...

— Го-го-го!.. ха-ха-ха!..— зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтобы колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы, кобылятины вас у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?

— Та що ж, як выпилы,— виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза.

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построили нас, тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы

их разнесем, як кур». Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпили,— а йисты не позволилы, щоб душей забрало. Мы и кинулись, а винтовки мешають.

— Э-э, ссволочи!! — подскочил солдат.— Як свыньи,— и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали.

— Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежи, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против Советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок,— и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день, каждый день ждут — вот-вот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться»,— а оно все дальше, все запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны; поблескивают на солнце зеркала; качаются между подушек детские головенки; и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков,—

все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать,— командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки либо орут срамные песни — «это вам не старый прижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и как сжатая пружина теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда — глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные Советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас иногородние, все это трудовой люд, для которого приход Советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство и хозяйственные казаки их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки,— нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердца которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру. Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки,— стройно, в порядке, среди текучего разброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотину, домашность,— хозяйство разоре-

но. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее — на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду,— ведь он — кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча,— куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно — ни кола ни двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке,— потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долину,— турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава,— рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена,— но это была турецкая кровь и забывалась.

За невиданную храбрость его послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу, и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечья трава. Среди нече-

ловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена,— царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавочные мальчики. И он — спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков,— офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебороб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это — как в кровавом тумане, а возле — идти-то надо, идти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей идти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются,— офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, а больше не нужно: тыл ведь: всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных,— овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть, и ад со всех сторон», а он как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой; недаром — украинец, и череп насунулся на самые глаза — маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль,— и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает,— добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат,— от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра...»

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но — когда сделалось явным — простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров,— не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах — Советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «Классы, классовая борьба, классовые отношения»,— но глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью,— офицерье,— теперь оказалось крохотным пустяком пред ощущением, пред этим чувством неизмеримой классовой борьбы: офицерье — только жалкие лакеи помещика и буржуя.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи,— хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить — нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках, так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь пе-

реполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела Кубань — и Советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли.

VIII

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станицей выстрелы, крики, смятенье. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды,— тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей: кадеты и казаки никому не дадут пощады, ни старому, ни малому,— все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

— Спасайся, кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — ненадолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

— Единственное спасение — перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами идтить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

— Если попробуешь выступить, открою по тебе огонь,— сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами,— надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила — десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

IX

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завесть глаза — стали меркнуть звезды, проступили дальние лесистые отроги, в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной, подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза.

— О, бачь, море!

— А чого ж воно стиной стоить?

— Це придеться лизти через стину.

— А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

—Хиба ж не чул, як Моисей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

— А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чоботы, так щоб не размочило.

— Треба попа, вин зараз усе смаракуе.

— Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаются руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже

и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты,— немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками — турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мотаются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми на уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другой — сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

— Бачь, море опять лягло.

— А ты думав, воно так и буде стиной стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

— Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, насквозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

— Все одно нам теперича никуды не вывернуть-

ся: отцеда вода, оттеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно остановилось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала; все так же торопливо иноходью трусили озабоченные коровы; ухватившись за повозки, мелькая ножонками, семенили ребятишки; взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей, и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые — полосками — ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашеные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попалось под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке на руках у молодки, с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы — меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам, а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь,— повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать — этого требовал порядок, но другие этого не смели делать без его, коменданта, раз-

решения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ноготок люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его густо повалили громадные черные клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и...

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучительно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетьми смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся орудием и через минуту пропали за гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам появились мертвецы. Восковые, с черно-провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении — к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размашисто перекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

— Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить,— тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

— Постой, Митя... Куда ты?.. Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не звери же они.

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов все вылезают, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементные заводы и шоссе... А по шоссе утопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы,— уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, грязно обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

— Братцы!.. братцы!.. товарищи!..

Несутся отовсюду то охриплые, то срывающиеся голоса, то пронзительно-звонко слышно у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный, я — раненый, товарищи!..

— И я — не тифозный... товарищи!

— И я — не тифозный...

— И я...

— И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватает его за единственную ногу и всовывает в арбу на голову отчаянно завизжавших детей...

— Та цю! Схаменыся, дитей передушив! — кричит баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Ро́дные мои, та всих бы забрали, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас...— Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Мать вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Матть вашу так!! Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

X

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, неутихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе,— виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят; ми-

мо без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по шоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и идут, и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, и земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — все идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

— Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И все шли и шли.

— Он нас загоняет,— глухо стало всплывать по колонне.

— А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без козаков все с натуги пропадем. Вон уже пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

— Чего вы смотрите на него! — кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды,— не видите, свое гнет. Али не он был офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо-ослепительно сверкает море. И всё идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху,

что выделят свои части на остановку и пойдут самостоятельно.

Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна все идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держидерево — в этой пустыне нет лесов,— растаскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

XI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму баба Горпина. Возле на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огня, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась; кому вона достанется? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — кнута николи не просив. Старик, иди снидать.

Из-под свиты хрипло:

— Нэ хóчу.

— Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь,— що ж, тебе на руках нести тоди?

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура. И девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

— Та отдай же, треба похороныты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

— Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

— Як каменная.

— Так уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

— То шо з ей балакаты,— узять, тай квит.

— Зараза. Як же так можно! Треба похороныты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг,— слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем, и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

— Куса-аться!..

— Та чертяка з ей — уси зубы у руку загнала.

Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

— И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та сéрденько, та отдай же ёго, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть ёго. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пидждадае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитына та понятлива, така разумна!..

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

— Тссс...

— Анка! Анка!.. — доносится от костра,— що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты погибла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы всё приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят. Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

— Треба за Степаном послаты, а то вин сгние у нэи на руках, черви заведутся.

— Та вже ж послалы.

— Микитка хромый побиг.

XII

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек,— целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди — особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красноколебающийся круг костра,— отъевшиеся, бронзовые, в черно-болтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги — любезные балуются. Подобрав цветные юбки, на корточках готовят на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, сардины, шемая, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, звоном, разухабистым смехом, бранью, перекликами, неожиданно стройными, струнно-звенящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спевшийся, дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? всё можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

— Товарищи!

— Есть.

— Отдавай концы.

— Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмого колена!..

— Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетка поте...

Голос перехватился.

— Товарищи, на каком мы тут основании?.. Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи — это эксплуатация трудового народа. Враги и эксплуататоры.

— Бей их, так-растак...

И дружно и стройно:

Сме-ло, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-ем в борь-бе-е...

XIII

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует; большой черный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.

— Та так,— говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся

огонь, рассказывает,— пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажуть: «Ройте». А кругом пулеметы, два орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роють, кидають лопатами. Молодые всё, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачуть. Ахвицеры ходють с левольверами. Которые нешвыдко лопатами кидають, стреляють ему у животи, щоб довго мучився. Энти роють соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вздыхает. Ахвицеры: «Мовчать, вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то знают.

Стоят вокруг, красно освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые, внимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глаз. И кажется, кроме одного — никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди: «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держидерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту,— и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

— Дуже дивчину мучилы, ой як мурдовалы. Козаки, цила сотня... один за одним сгнушалысь над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лижало. Всих порубили — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу

шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я — не тифозный, я — раненый...» — немеркнуще стоит перед глазами...

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху мать засекли плетьми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавль, а двое маленьких неведомо куда пропали,— молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице.

— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывели на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза,— ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

— А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать,— вот чудно.

Прислушались далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу плыли стройные струнные звуки.

— Матросня! — сказал кто-то.

— А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Схованоть у мешок, увяжуть та айда у море.

— Як же ж то можно людэй у мешках топить... — печально проговорил заветренный, степной голос,

помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал:— мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь,— з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.

— В России совитска власть.

— У Москви-и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

— Совесть привезлы, а буржуев геть.

— Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном роботае, а на маслобойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

— Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, поднялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в притороченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зъихав?.. назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

— Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойихав до Кожуха докладать,— все чисто у козаков знае.

— Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то»,— и йиде дальше; баба попадеться, шашкой голову снесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Да мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

— Диты чим провинилысь, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

— Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с нёба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо поймал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Расперетак вас!.. Сидите тут — кашу жрете, а что революция гинет, вам начхать... Сволочи!.. Буржуи!..

— Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух?! подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идите, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились.

— Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли на изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляются! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У казаков награбилы.

— Як, награбилы? За усэ платилы.

— Та у них грошей — хочь купайся.

— Вси корабли обобралы.

— Та що ж, пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

— К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всих дочиста пид самый корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, кого пристрелилы, кого на дерево вздернулы.

— У нас поп,— торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос,— тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывся поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав,— нихто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

— О, бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорять, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жили соби, у кажного було и хлиб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю: пийшлы за ахвицером неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою.

— А почему совитска власть подмоги ниякой не дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум — матросы бушевали,— так и шли от костра к костру, от части к части.

XV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту — звучно жуют лошади.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где возможно, бежит сбоку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

— Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпиёны...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в виду этого покоя, мирного звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался в темноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудился, не растаял. Двое побежали еще быстрей.

Раз, раз, раз!.. Все там же справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собою не поспевая: та-та-та!.. и еще немного, договаривая недосказанное: та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

— Эй, Грицко, слышь... та слышь ты!

— Отчепысь!

— Та слышь ты,— козаки!

— Фу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз!..

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

— А матть их суку! Спокою нема. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорежится! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь — до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробите, так тильки патроны потратите, и квит! — а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше,— и закричал: — Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

— Що?

— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

— Та тут же, дэ стоите, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

— Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут,— на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки,— крестятся, вздыхают, подают советы.

— Перший раз заплакала.

— Легче буде.

— Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

— Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрещивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держидерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли.

— Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

— Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

— Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок; солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот,— тычет адъютант в сороконожку,— с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непереходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском,

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Идтить треба з усией силы.

— Жрать нечего.

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз вси придуть,— шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграли мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та...— где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в столовой; казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Що там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем,— сказал другой заветренным, сиповатым голосом.— Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям, столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо идти такими переходами,— этак и армию погубить невдолге...

— Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислу-

шиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! — гаркнул полковник, как будто скомандовал.— На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно,— сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал — настал наконец момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии...

— ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное: нас каждую минуту могут перерезать.

— Да приведись до меня,— запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске с серебряным кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни,— приведись до меня будь я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк! — и орудия нэма, поминай, как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов,— что же мы — орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате,— маленькие тонко-колючие глазки Кожуха ждали,— только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая.

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Дослужился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры — говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая, глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столовую через широко распахнутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только — было их много и все одинаковы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят цигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, наливалась тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

— Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по

приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — диря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря,— там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там — наши главные силы, наше спасение. Надо идтить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Идтить, идтить, идтить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тильки бежать з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть,— сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли — и все мгновенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

— Товарищ Кожух,— заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал,— мы

все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно!.. просим!.. — поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же вам отказуваться,— сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась,— як вас выбрала громада.

Блестящими глазами, молча, смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

— Добре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хоть трошки неисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться...

— Мы и так всегда...— на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти сказал Кожух,— хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой,— гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

— К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цигарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат, одинаково!..— опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно,— не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух,— проговорил он,— вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях идтить...

Кожух глядел на него неподвижно каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха...

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пид-

нялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Идтить наискорейше. Останавливаться тилькы, щоб людям напиться и лошадей напоить. В каждом ущелье выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте идтить с нами, нехай с тими колоннами идуть.

— Слухаю.

— Захватите пулеметы, и колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами и в ущельях, и у берега и умерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма,— забытый огарок не зевал.

XVIII

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры; слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

— Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них тайное соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили, накось, выкуси! ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас, разэтак!

— Так вы чого лаетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорять. Чого ж балшевики нам не помогають? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмоги не шлють — об себе тильки думають,

Из чернеющего даже среди темноты ущелья точно так же послышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходившей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорванно дорогие картины.

Смолокуров, громадный чернобородый добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами,— сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать»,— и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж в конце концов что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну да что я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит,— я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше,— не стоять на месте и не идти назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за Кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет,— загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставлю подчиниться, я ззаставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет,— говорили командиры,— и в ус не дует на все ваши приказы.

— Да что вы с ним поделаете,— добродушно смеялся Смолокуров,— я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

— Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух — ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

— Хорошо, я его сокращу!.. Я ссокращу!..

— Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку,— тут старая дорога через горы, и будет короче.

— Послать немедленно приказ Кожуху,— загремел Смолокуров,— чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был недосягаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

— Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию,— ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут да к тому же разобьют по частям — отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил

очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

— Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе,— нахмурился Смолокуров.

И опять шумными беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

XIX

Как всегда, в Кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоники, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы.

Ре-вуть, сто-гнуть, го-оры хви-и-ли
В си-не-сень-ким мо-о-ри...
Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки
В ту-рец-кий не-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли ночи разлилась нудьга,— тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицерья, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

В си-не-сень-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо. И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады,— тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин,— еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно —

на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

— Хтось дыше,— сказал кто-то.

— А вот кажуть, все это бог сделал.

— А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь,— куда конпас повернул, туда и приедешь?

— А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются все новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все резко, отчетливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов и, как проклятие, брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

— Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, матть их так!

— Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

— Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

— Куды вам?! — загородили дорогу винтовками два часовых.

— Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли на изготовку:

— Стрелять будем!

— Што вам надо? — голос Кожуха.

— А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиянт. Что же нам — с голоду изды-

хать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят, горят два волчьих огонька.

— Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции,— кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших полторы тысячи легло, офицерье живыми в землю закопали, а...

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

— Нам, борцам, глаза колоть!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи огоньки не обманешь, видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен,— ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну, и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

XX

Не успело просветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным,— свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, подымаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри; все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держидерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скалами сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жилье зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах — все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячьи головенки, натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приводят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может сбегают под откос, сдергивают на берегу тря-

пье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбега кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон,— берег осмыслился.

Море — нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают на шоссе пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жмется к узкому белому полотну,— единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелей, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят,— пусто, безлюдно, заброшено.

В местечке коричневые греки, с большими носами, черносливовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

— Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск — действительно нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком отодвинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть и жалко было, ну да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

— Жрать охота,— говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

— ...бло-ха... ха-ха!.. бло-ха... — чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...»

А одна пластинка запела: «Бо-оже, ца-ря храни...»

Кругом загалдели...

— Мать его в куру совсем и с богом!..

— Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

XXI

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец крича:

— Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестящие, белые и глядят на шоссе.

— Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

— Що таке?! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

— Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..

— ...Вам говорять... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

— Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаете, драться не даете.

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

— Вы уйдете, а мы останемся,— спокинете нас.

— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пиидете по шаше за нами. А то мешаете, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами, бьют копытом под пузо. Сквозь листву синеет море. Но все видят только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близ-

кие, такие родные. То сидят, то свертывают цигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозу и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то

калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части,— ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел:

Уй-ми-и-тесь, вол-не-ния страс-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие нестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из леса — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни взад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле недозрелой кукурузы — где-нибудь под берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладони, выбирают сырое зерно — и в рот и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, с теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания,— привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотными частями, и все вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними — узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа,— мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колене и крутят цигарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у половины по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи, и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

— Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами, знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

— ...от козаков мы оторвались,— горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие? Це грузины-меньшевики, а меньшевики — одна цена с кадетами, однако еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить Совитску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей Совитской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это — гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

— Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем — это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая повода, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них,— и они дружно гаркнули:

— Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы, горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шеи, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили. Упала, лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

— Урра-аа!! — пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом. А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, прокли-

нали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

XXIII

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок — тянет холодком, а внизу, на шоссе,— жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего — одни повозки, а там — поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!..

И на третьей:

— Та цытьте вы! Дэ ни узяты?.. Чи на стину лизты? Бачишь, стины?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

— Ма-амо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-ислицы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.

— Цыть! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы,— и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

— Ма-амо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг

с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому ротику и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

— Не хо-очу! Не хо-очу!

Матери в остервенении колотят.

— Та якого же вам биса?

Дети размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом,— там окопы противника, и шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали,— места живого не осталось; солдаты отхлынули назад, за скалы. Для Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развернуться негде, один путь — шоссе, а там — смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое,— но что? Нужен какой-то иной подход,— но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

— Товарищ Кожух!

Кожух подымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

— Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше,— всех перебьет Грузия. Зараз мы были, как сказать, на разведке... добровольцами.

Кожух, так же не спуская глаз:

— Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

— И вот те Христос, это лесной дух,— лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

— Хиба ж тут шинки, чи що! — подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой.— В лиси одни дерева, бильш ничóго.

— Говори дело.

— Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями — духан. Мы подползли — четверо грузин вино пьют, шашлык едят; звестно: грузины — пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели,— не ждали. Мы еще одного прикоколи, а энтого связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны,— жалованье большое получают,— а вина и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.

— Та нэхай воно сказыться, це зилье прокляте... Нэхай мени скоВородить на сторону усю морду, колы я хочь нюгнул ёго. Нэхай вывернэ мени усю требуху...

— К делу.

— Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остатнего грузина приволокли сюды, и духанщика, чтобы не распространял. Опять же встрели пять мужчинов с бабами и с девками,— здешние, с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, всё бросили, до нас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтись можно.

— Где они?

— Здеся.

Подходит командир батальона.

— Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там

никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

— Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

— Та що ж,— говорит внимательно слушавший солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке,— що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скóчить зайцáми с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие,— и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесам, скалами, ущельями, да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» — стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

— Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках папахи:

— Будет исполнено, товарищ Кожух,— и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по каменьям к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И, опять помолчав, уронил:

— Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

— Слушаем, товарищ Кожух.

— Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь, Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели не спуская глаз на Кожуха,— у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо видели — из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбираты: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси как один...— Он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — колы вси как один ударимо, тоди дорога открыта до наших.

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали.

— Як один!!! Або пробьемся, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последних уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

XXIV

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал,— попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно скрывавшиеся в море,— да, все как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, *мало* их не пустить — *их* надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутаисом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой, за девчонкой, за гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...»), но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской

социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа,— он беспощаден, и *эти* поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полоску шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную тишину, мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа,— все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех — от солдат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и когда он стройно ходит, чувствует — носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

— Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...» Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

— Ужин?

— Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подвоза — солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал; все встали.

— Прошу,— сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно. По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и всё в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Нина, и на руках у нее маленький Серго́. Когда он уходил, Серго́ долго смотрел на него черносливовыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слюнями лицо. А эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию,— очень хорошо... В России, говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается... Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слыхал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

Нина, ты?.. А Серго́?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в ином расположении звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» — да недодумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из провала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе — ах!.. но не от того, а от другого ужаса: в напряженно-пред-

рассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть, скатившихся... Они всё повышались: показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину.

— Вперед!.. в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески раздирающей боли разом погас прыгавший на руки матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в яснеющемся рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, несся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он несся ногами, с такой же быстротой — нет, не через мозг, а через все тело — неслось:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то — жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко, сзади, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится: кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это — штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь — жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев и неслось: кррак!.. крррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немыми окнами, летел на край города, туда, где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весною цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий зной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко назади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ними покатился такой

же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку,— калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расселась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

XXVII

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — всё они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шос-

се, на склонах в ущельях — всё повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

— Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови,— буйно-радостно раскатывается:

— Урра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клеш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Греби!

— Причалива-ай!

— Кро-ой!!

— Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмаленую рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться! Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

— Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

— Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул:

— Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон,— в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?

Но Хведору было не до того,— он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

— Хлопьята, гляньте! Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

— Та це ж бабьи портки!

А Опанас мрачно:

— А що ж, баба нэ чоловик?

— Як же ты будешь шагать,— разризано, усе видать, и тонина.

— А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел.

— Правда. То-то дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробки все, что там было, и стал молча надевать одни за другими,— шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадроны, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица,— кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпеж стало,— рассыпались кто куда.

XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленых, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали,— пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

— Я командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог кажному, хто взял хочь нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан; штаны висели клочьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

— У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания — никто не гронулся...

И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Не-

много осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Всё!

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленые рубахи, дамские кофточки, лифчики; сложили на землю кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

— Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертывайте назад, до козаков, до офицеров»,— его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежавшими:

— Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленые рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко; гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены,— из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках почитай вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, царица небесная, що ж воно таке? Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничóго не может дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-задумчивый:

...Возь-ми сво-ю жи-и-ин-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

— Що э воно таке...— это баба Горпина.— Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона насквозь прокипить.

— Во!..— говорит солдат, протягивая к костру красно озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?..

...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-ба-чный...—

продолжал свою песню солдатик, да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделывала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

— И все были люди, и у каждого — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтоб разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

— Что такое?

— Що таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

— Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватил из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «Мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

— У кустах спрятался,— все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат.— Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а наши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел,— чего такое черное? Думал — камень, хвать рукой, а это — он. Ну, мы его в приклады.

— Коли его, так его растак!..— побежал маленький солдат со штыком наперевес.

— Постой... погоди...— загомонили кругом,— надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди, и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

— Та ты хто такий? Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такий?

— Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

— В расход!

— Пойдем,— преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.

— Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

— В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкшими раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

— Мы лесом як продирались тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем,— день настане, всих расстреляють...

— Ни туды, ни суды,— засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворились сукины диты, що сплять; зараз начнуть поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков — обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся...

— А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы до верху, осталось сажени дви, прямо стиной: нияк не можно, ни взад, ни вперед,— затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устромив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягалысь до самого верху.

— А у нас цельный взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду — и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все та́к же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

— Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

XXX

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается,— шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая маслено-черные постромки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество

всякого военного добра — полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки — всего хоть засыпься. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы — у каждого по двести, по триста патронов у пояса, бодро шагают в веселых горячих облаках белой пыли, и кучами носятся свыкшиеся с походом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании:

Чи-и у шин-кар-ки-и ма-ло го-рил-ки,
Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...

Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссейными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность,— ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам, мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои.

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою
Тай бу-дем пить, вес-с-се-ли-и-ться...
То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег. Море встало голубой стеной и постепенно закрылось обступившими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жилье зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обозом стояло:

— Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лицами, похо-

жими на птичьи клювы, вытянув шеи, смотрели воспаленными глазами на уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босыми ногами около повозок,— им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса редели, наконец остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелин, громады каменных обвалов. Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались, дико разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно-бушующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

— Помоги-ите!

— Ра-а-туйте!.. кинец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

— Ма-а-мо!.. ма-амо!.. та-а-ту!..

Им казалось — они отчаянно кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубцы на-

висших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно; неподвижны косые полосы воды в воздухе, неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове и бледны синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все недвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь, а когда так же неожиданно мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья леса, провалы,— люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки,— больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра, чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

— Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

— На ночлег не останавливаться, идтить безостановочно, день и ночь идтить!

— Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли — хочь листьями кормили, а теперь голый камень.

— Идтить безостановочно! Будем останавливаться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянущих назад повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелины. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом на десятки верст скрипуче-ревущем движении.

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподавимый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным исступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный, бесчисленный скрип колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много — одного, двух самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвижную, живые лошади — мертвую,

живые дети — живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный, бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся...

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... нэ дойду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый, беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будэшь мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повод еле ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ни одной не было,— все укромно прилипли под повозками к дрожинам,— теперь носятся тучами.

— Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы, що зъилы чуже мясо, вси хвосты спустилы. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

— Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б... бб... б... и... бби... мм, бим, бб... о — бим-бом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... кло-уны... ар-тисты сме-ха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке притороченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

Секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными голосами, то необыкновенно тонкими — как будто щекотали мальчишек, то по-бычьему — и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины: хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уже не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами стали хохотать в тон хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему, — тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

— Та чого воны покатываются? якого им биса? — и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

— От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

— Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

— А черт их знает! Сказились. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

— Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубцы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

— Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

XXXI

— Сколько их?

— Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

— Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутый лошадью к гриве,— лошадь с мокрыми боками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом — мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

— Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

— Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

— Сверток с шоссе туда есть?

— Есть.

— Козаков не видать?

— Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорять, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роють.

Кожух поиграл желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

— Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо *них* все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

— Крюк большой... падають люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно идти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять — пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

— Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящиеся валом серовато-белые облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящихся облаках — чуялось — движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатилась, и за ней покатилось нестерпимое, знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно — утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившие-

ся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно-сожженные лица мутно отсвечивают капающим потом.

Ни говора, ни смеха,— тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

— Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железо сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними,— теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо и в воспаленные лица солдат исступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи.

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом скомандовал:

— По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали и, все

удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса:

— Батальон, стой!.. Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко, едва уловимо подержалось и мягко погасло: — ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя. Потом разом наполнилась многочисленным сморканием; откашливали набившуюся пыль; поминали матерей; крутили из листьев и травы цигарки,— и медленно оседающая пыль открывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солнцем лежали, вытянувшись на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

— Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..

Никто не шевельнулся, не тронулся: так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груду камней, налитых зноем.

— Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались, по одному, по два, и, не строясь и не дожидаясь команды, шли, как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли вразброд, по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок, под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя, изнемо-

женно подымаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

— Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

— Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

— Мабуть, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

— Голова!.. В лиси тоби перину сготовилы, растягайся.

— Та пышок с каймаком напеклы.

— С маслом...

— Со смитаной...

— С мэдом...

— Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке,— болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу,— сердито сплюнул тягучую слюну:

— Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

— Опанас, та шо ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадуть варэников,— будут вид тебе морды воротить.

— Го-го-го... Хо-хо-хо...

— Хлопцы, а ей-бо, должно, дневка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж ви, як не в станицу?

— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите,— грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш... пш... вы уда-ли-лись...
пш... пш... вес-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:

А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»
Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти;
«Лав-рении-ки, лав-рении-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

...Ва-ре-ники!.. ва-ре-ни-ки!..
Ку-уда-а... ку-у-да... ве-ес-ны-ы мо-ей зла-ты-е дни-и...

— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли

отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.

— Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от ёго.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда,— думает Кожух,— встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пш... пш...
...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

— Що таке? що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...».

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизло-зеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, расселось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

— Батальон, сто-ой... Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, пригорный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

— Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова.

— Товарищи,— и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной,— от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам».— И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить,— не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад. Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напружились жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

— Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили,— солнце убило.

Прошли немного, повалился еще один, потом два.

— Двуколку!

Команда:

— Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую

траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходящее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать,— все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре...— из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь.— Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно-огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее, сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искрами мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

— Накройсь!..

Идут все быстрее, все размашистее, тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков,— есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Синё затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

— Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукаются:

— Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, и чудится кругом незнаемая, таинственная, смутная равнина, на которой все возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробыли з ими!.. Та зверюки... Та скаженни... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется.

— ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша

сила, дэ ж ваше слово ласкове?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется.

— Та чого ж воны наробилы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

— Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

XXXII

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов,— и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать: так быстро они бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства — золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок,— очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетер-

пеливо облизываются,— всё, все богатства, все драгоценности, всё неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

— Вы же нам хочь одного балшевика приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

— Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело заклубились гигантские облака пыли:

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

— Эх, и рубанем же!

— Урра-а!..

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки подымают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст,— одно спасение: кони у них мореные.

Пролетали казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшни, и опять погнали; и много казацких папах с белыми ленточками

раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы днем: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по переулкам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайней степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания,— привыкли. Только когда смолкло, покатились с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремена, за поводья:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежд глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

— Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых — матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых,— бьются на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

— Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а... а, не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой,— вскочил поп как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу,— книзу разошлась, как на обруче,— такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный, с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

— Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

— Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

— Бачь — и дьякона пригналы и дьяка.

— Дьякон дуже гарный: пузо як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

— Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-атый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными исхудалыми лицами — им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь — она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу:

— Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом,— вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу,— в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

— Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

XXXIII

Ночь поглотила громаду степи и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне,— там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея снарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

— А-а-а...— злорадно заговорили казацкие артиллеристы,— за шкуру берет...— подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались,

ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненькой посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить,— все на местах, все над самой рекой, а под шестисаженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это началось.

Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже ухитрились вымерить,— река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть,— ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста: железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку,— достаточно им насыпали,— и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушали вместе с казаками шум

несущейся воды и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала прозрачнеть. Разморённо предрассветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу,— не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой просыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей — было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачена батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — все проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах,— захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали,— нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

— Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка... В щебень закопалы там, у горах,— та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась кучка железнодорожников.

— Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услыхал вас, высадил окно совсем с рамой, в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

— Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

— Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так буває?

— Господа завсегда так: дохтура велять.

— От гады! И сплять як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших над страхом и напряжением подымалось неподавимое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу занимали главные большевистские силы; казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы,—другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды?

— Та за попом.

— Та ммать его за ногу, вашего попа!..

— А як же ж! Хиба без попа?

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы.

— Шо ж оркестр? Оркестр — медние трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса ёго глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинская часть.

— Оркестр! Оркестр!..

— Попа! попа!

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!...

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! Попа!

Подбежавшие молодые солдаты:

— Оркестр! Оркестр!

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхивая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны; все новые и новые прибывают казачьи сотни,— темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо уходить! Надо уходить; еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а Кожух... стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает: не боеспособны они; если

предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги — все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, в подтверждение, тяжко потрясая и степь и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками,— а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно разевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн все нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не идут дальше — ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

— Я на часок лягу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание,— день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело,— значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услыхал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку — пригодились грузинские телефоны.

— Я командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

— Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

— Подкрепление не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

— Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

— Держитесь, вам говорят! в резерве — ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево рубежная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром что темень, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево,— прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

— Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

— Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос,— хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полуосознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...»

Но это только доля секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

— Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженей на пять — десять темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли где как попало и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди сгустки людей, все ближе и ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие языки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя как рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись бегут, винтовки наперевес.

Кожух:

— Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И, как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редея. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики; казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью был Кожух. Прислали парламентера. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжко отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слыхать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться — всем погибнуть; пробиться — задним колоннам погибнуть.

XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи — повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон,— засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность, долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленно: а-а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из пути леса: а-а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса,— сгусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатилась она к лагерю, вырастая, и покатилось с нею, вырастая, все то же полное смертельной тоски: ра-а-а!..

Все головы, сколько их ни было,— и людей и животных,— повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все услышали: земля вся, в самой утробе своей тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары.

...А-а-аа!..

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

— Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, навострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попалось под руку,— кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли,— все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

— Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: смерть!..

Совершенно непроизвольно без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, становились. Казаки замолчали, привстав на стремена, зорко всматривались в черно-накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов — без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ноч-

ными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах,— много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага,— все выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполнял потемневшую ночь грозный рев:

— Смерть!!

Когда увидали, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел густой лес.

XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли — подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых окопы неприятеля, но так, чтобы не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон; смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму,— скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли не-

приятель сделать то, что он,— тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

— Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

— От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

— Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы семь человек попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал: слышно — шумит река, и за окнами темь.

— Во письмо. Генерал Покровский... дюже уж матюкал мене...— и застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

«...Ты, мерзавец, мать твою... опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков: имей в виду, бандит, что тебе и твоим босякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4—5 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку».

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

— Товарищ Кожух,— говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица,— вторая колонна подходит!..

Неестественно-ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а он, Кожух, среди тысячи смертей, уцелел, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казаков.

Две лошади, казавшиеся вороными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

— Здорово, братушка,— сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха.— Хочешь чаю?

Кожух сказал:

— Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.

— Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

— Да потому, что не пришли,— добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

— Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

— Почему, почему! Започемукал,— густым кра-

сивым басом сказал тот.— Потому, что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

— Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

— Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства,— теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

— Пойдемте.

— Одну минутку,— поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско: — Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло «Кожуха разобьют, нас вырежут».

— Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

— Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчьё, там мы можем,— самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

— Товарищ Кожух,— дружески сказал начальник штаба,— сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо сказал адъютанту:

— Останьтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначились прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» — мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколотая ночь, можно будет передохнуть от этого утробно-потрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжко отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака, и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских батальонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «босякам» дорогу.

XXXVII

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точечки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты гуле бесконечно тянутся обозы.

Идут у чужих повозок, торопливо вспыливая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки невыплаканные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится за край повозки костлявыми руками,— но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И все это: и бесконечный скрип в облаках торопливо подымающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мук — все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов — все одно и то же, синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

— Были, да ушли. Еще позавчера были да заспешили, засуетились, поднялись все и ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры — обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками,— но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. По-прежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась,— угрюмо сдет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Казачки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах — ненависть. А когда уходят, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же — впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны.

А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

— Добре!.. Обожглись...— говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

— Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Идтить и идтить. На ночлег не больше трех часов...

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездною россыпью ноч-

ную темноту, и раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

— Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжести перекладывать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, идтить и идтить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых хлебов степь. И по-прежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково каза́чки:

— Были, да ушли,— вчера были.

Глядят с тоской — да, все то же: похолоделые костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

— Взрывают мосты... уходят и взрывают после себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом, шепчет спекшимися губами:

— Мосты рушать. Уходють и мосты по себе рушать.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

— Мосты рвуть... уходють вид нас, рвуть мосты...

И — когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зияют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщепленные сваи,— дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

— Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепа. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и по-прежнему все глаза туда, где все та же недосягаемая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

— Товарищи, от нас наши уходят з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

— Мы ничего не понимаем.

— Уходять, рвуть мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падають десятками. Люди выбиваются, отстають, а отсталых козаки всех порубають. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводять с нашей дороги. Но все одно мы в железном кольце, и, если так долго буде, оно нас задушить,— патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь зубы слова:

— Треба прорваться. Если послать кавалерийскую часть — кони у нас плохие, не выдержуть гоньбы, козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и навалятся на нас со всех сторон. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

— Кто охотник?

Поднялся молодой.

— Товарищ Селиванов, возьмите двоих солдат, берите машину и гайда. Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходять? На гибель нас, что ли?

Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата — с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверкала, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, беско-

нечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

XXXVIII

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, подхваченная солома.

Каза́чки качают головами:

— Должно, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль,— первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посверлит воздух вдали, растает, и все.

Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженно смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженно ловят несущуюся навстречу дорогу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

— На-аши!!

— Где?.. где?! что-ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

— Наши! наши!! Вон!..

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

— Уррр-а!!

Навстречу ехал большой разъезд,— на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова екнуло: «свои... от своих...» И он мальчишески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свои!.. свои!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

— Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

— Свои!.. свои!..— орали четыре человеческих глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстрела из садов, и стреляя на скаку.

— Убьют...— сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

— Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

— Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды их растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли. «Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло — отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда в свою очередь посыпали отборной руганью:

— Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

— Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

— Ды как же,— виновато заговорили те, садясь на лошадей,— на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

— Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не поспеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

— Перебейте, так их растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице — на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказывать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

— ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел, сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

— Вот документы,— и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

— У нас совершенно противоположные сведения.

— Позвольте,— все лицо и лоб Селиванова налились кровью,— так вы нас... вы нас принима...

— У нас совершенно иные сведения,— спокойно и настойчиво сказал тот, все так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз,— у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита до единого человека.

В комнате стало тихо. В распахнутые окна из-за церкви доносилась густая брань и пьяные солдатские голоса.

«А у них — разложение...» — со странным удовлетворением подумал Селиванов.

— Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с неимоверными усилиями после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

— Никита,— сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными обвисшими по сторонам усами.

— Что?

— Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал читать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предрешенность своего и всех присутствующих мнения.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сообщается, что с моря, с туапсинского направления, идет неисчислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русских пленных, вернувшихся из Германии, и моря-

ков. Они превосходно вооружены, множество орудий, припасов, и везут с собой массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и все сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков.

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно:

— И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать.

Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступление. Рвать за собой мосты; уничтожать все средства переправы; лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей.

Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.

— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что, пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов, и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

— Кушайте, родимые.

— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Да что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами,— у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно, в один раз, то вразнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею подымаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков: из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает,— не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и: «Тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!.. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча; уляжется — опять только темь.

— По-сле-едний но-неш-ни-ий...— сонно, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далеко, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

— Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.

А никого не видно — черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматрива-

ются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долго жданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно зысыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля,— целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда, и со стенки слегка коптя, светит жестяная лампочка,— по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром,— вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резнуло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матерщинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя секунды («эх, револьвер куды!..»):

— За мной!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро пронизывающе:

— Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо-хриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов штыков,— с той стороны ждали.

— Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

— Попались сволочи!.. Коли на месте!..

— Беспременно в штаб, там допросить... Пятки поджарим...

— Бей зараз!..

— В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочащемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха: он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.

Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза.

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

— Шо ж вы, сбесились?!

— Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають: двоих ахвицерьёв открыли,



Александр Серафимович. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК.



Александр Серафимович. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК.

шпиены козацкие. Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьёв, а вы каральте позадь забора. Як воны зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить,— там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь...

Кожух спокойно:

— В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.

— Пойдем чай пить,— сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь.— Поставить караул!

— Слухаем.

XL

Кавказское солнце — даром что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры,— но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган и чернели на нем

ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы йшлы, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провианту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И, хоть знали это — сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало!..

— Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море.

— ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цыи муки?.. за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них билш ничого...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ...за крестьянскую и рабочую...

«Так вон оно що! так вот за що мы бились, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты,— кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грудку,— та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, нэхай же батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене,— отбивалась локтями старая и цепко лезла — никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго як свет очей», а мы вки-

нулы. Та пур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы та радости не зналы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной, самой ей непонятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь,— здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос:

— Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост кажуть дэсять годив, а ему два-ад-цать три!.. Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам:

— Боже ж мий милий! Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки любив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай ёго, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

— Побилы коняку, сдох!.. Всё потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным,— и заревел стоеросовым голосом: — не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестьянска власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль пид тыном, воняемо...— и заплакал скупыми собачьими слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

— Га-а-а-а!.. Це ж наша громада-а! наша ридна власть!.. Нэхай живе... бувай здорова, совитска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастя?!» — огненно обожгло в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!..— нестерпимо радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей.— Так от за вищо мы голоднии, холоднии, замученнии, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами,— нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урра-а! урра-а!а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой,— не закричали так, а закричали:

— Урррa-а-а нашему батькові!.. Нэхай живе!.. Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьём...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывял я из смерти... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении...»

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепетали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали, глазами, и лицо железное, и стиснутые челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили все кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней — Кожух.

Здоровенный плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку, и махнул лентами, и хрипловато-осипший голос — в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь — разнесся до самых краев:

— Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

Такими же просоленными морскими голосами гаркнула матросская братва:

— Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал — и степь и небо, и люди шли колесом.

«Пропал,— всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

— Урррa-а-а-а нашему батькови!.. урррa-а-а-а!..

Когда опять поставили на повозку, Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылысь. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим глосом:

— Хто старое помяне, того по потылице.

— Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. Урра-а-а!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

— Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набилы, у Сибирь побиглы.

— Паны сызнову заворушилысь, землю им отдай.

— Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

— Яка така?

— Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный як рак вареный.

— Буде брехать.

— Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нэма,—вси красноармейцами прозываються.

— Мабудь, и нам красни штаны выдадуть?

— И дуже, балакають, строго — дисциплина.

— Тай куды дущей, як у нас: як батько схотив всыпать пид шкуру, вси як взнузданни стали ходить. Гля, як идут в шеренге — аж як по нитке. А по станицам проходилы, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере,— но то самое, что творили там, в России, в мировом,— творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка,— тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

1924



☆☆☆

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

ЧАПАЕВ

РОМАН

I

РАБОЧИЙ ОТРЯД

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка на перроне чуть сдерживает оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака первый, собранный Фрунзе, рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью; многие только впервые надели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодцеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде.

С гордостью, с любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могутная черная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там живо сенькину мать куснут...

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узнаешь,— в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди тебе... Козырь-мозырь...

— Фертом ходит, што говорить... Сабля-то — словно генеральская, ишь, таскается.

— Тереш,— окликнул кто-то смешливо,— саблю-то сунь в карман — казаки отымут...

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

— Ага-га... го-го-го... Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин — парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый — оглянулся на шутки добрым, ласковым взором; чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку...

— Я... те дам! — погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего?..— хохотали неуемные остряки.— На-ка семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаз нескладный,— его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с быстротой,— дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

— Понадобится — черта вытащим из аду... Скулили все — обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаем чем... А вон она — ишь ты...— И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев.— Почитай, тыщу целую одели...

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается — и тем все нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное — кто говорит,— скрепляла хриплая октава.

— Ну как же не сурьезное: Колчак-то, он прет почем зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

— Эхе-хе,— вздохнул старина, маленький, щупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб...

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало,— пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое слово — тыща-то молодцов!.. Это, брат, *дело* — и большое дело, бооль-шое!.. Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру недалеко ходить.— Павлушку возьмем, Лопаря,— каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет, небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики,— ты, вон она, на Марфушку на Кожаную глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм,— штаны, сапоги, гимнастерка,— волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить, Марфуша,— сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас Кожаная, а кобыла бесседельная...

— То есть я-то кобыла?

— Ну, а то кто? — И вдруг переменил шутливый тон.— Говорю, что на воина ты крепко подошла... вот что!

— Подошла — не подошла: надо...

— Ясное дело, что надо...— Он минутку помолчал и добавил: — Ну, а *там-то* — как?

— Чего — *как?*

— Дела всякие свои?

— Что ж дела...— развела руками Марфуша.— Ребят в приюты посовала, куда их денешь?

— Куда денешь...— посочувствовал и собеседник. И, передохнув трудно, сказал соболезнующим грудным дыхом:

— Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же...— кивнула Марфа,— да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

— И ребята, кажись, тово,— мотнул собеседник на вагоны.

— Чего ж им,— ответила Марфа,— только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать — одно слыхать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! [1] — окликнула Марфа кого-то из проходивших.— Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с грустными темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в истертой коричневой шинелишке,— это Андреев! Подходит четким шагом, точно на доклад; поравнялся, щелкнул каблуками, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами, отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

— Прощаться-то будем или нет? Ребята ждут,— слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

---

[1] Комиссар 22-й дивизии, погиб в гражданскую войну. (Здесь и далее примечания автора.— *Ред.)*

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепенулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка, ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупил глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь, поди, што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой.

— Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и братался, словно сам себе ногой на ногу наступал,— вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слыхали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке,— это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

— Сейчас, надо быть, говорить станут.

— Отправляться скоро...

— Да уж раскланяться бы, что ли,— спать пора.

— А вот расцалуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.
— Первый, што ли?
— Первый.
— В двенадцать трогать зачнут...
— В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, протертыми локтями; черные коротышки-тужурки — драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал не широк, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленее — зацепился за изгородь, влез на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, таращили глазами по толпе, скрючившись, висли на деревянных скобках. Иные, цепляясь за карнизы, заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продраться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, покряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков, — шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от той войны. Без перчаток мерзнут руки — он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный, — глуховат, несвеж, гудит, словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово — он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы, — они, концы, были где-то за площадью, освещенной газовыми рожками. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми — новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не

успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко — так он не кричал никогда:

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы едем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте. Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод,— не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! Дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях,— везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да. Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завыла снежная степь,— толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли — остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движением руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платок, а платок обеими руками плотно примяла к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка — вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно, ничто не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет — какая она будет, война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились — али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины: нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги — все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масленую кепку, в валяные сапоги старый ткач. Морщинилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости:

— Да, мы ответим... ответим...— Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседелую голову.— Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши,— ничего, что тяжело,— скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить,— то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно, внятно чмокнул:

— Все равно-де выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, подождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кеп-

ку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребяты... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

— Может, тово... всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спустившемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останный раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым заливчатым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка,— другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа,— она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь — тысячелапый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатились...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны про-

пали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго — не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок — кратчайший. Дорога мало затомила,— любы-дóроги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой, высокой стрункой звенит настроенье: острота новизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках глухих полустанков. Что ни остановка — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраньями, заседаньями, самодельными лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих к себе ребят — весь путь проборОЗДил глубоким и нежданным впечатлением. По станциям, по захолустным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням — мчалась в те дни неисчислимая «вольница», ничем не учтенная, никем не организованная: разные отряды и отрядики, всякие «местные формированья», шальные, полутемные лица, шатавшиеся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная орава кормилась за счет населения: неоплатная, скандальная, самоуправная. Буйству воля была широкая, некому было то буйство взять под уздцы: власть Советская на местах по глуши не окрепла ядреным могуществом.

Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжко было человеку.

Лучшие люди Советской страны уходили на фронт. Другие маялись в бессменной иссушающей маете тыла. Где ж было за всеми присмотреть, все прослушать и все поделать, что делать надо! По зарослям глухих провинций, в непролазной пуще сермяжных углов, что творилось в те смутные дни,— никогда никто не узна-

ет. Горе людское остановилось страданьем в серых озерах глаз.

Старого нет — и нового нет. Где же голову приклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь?

Ах, большевики? Так это ихняя бражная вольница не дает покоя, так это от них наше лютое горе?

Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вила в те дни жгутовый аркан.

И все свое грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы на большевиков:

— Грабители! Насильщики! Поганое племя!

И вдруг теперь в отряде, в этой тысяче большевиков-ткачей, увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел-деревень «послушать умного народу». Работа агитационная была проделана на ять,— она словно дверь распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иваново-вознесенцы. И где их, бывало, где не встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа,— где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память — как песня сложена по бескрайным равнинам советской земли.

Вот ехали теперь на фронт и в студеных теплушках, в трескучем январском холоду учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали: надо готовыми быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой, знаньем, уменьем разом все понимать и другому так сказать, как надо. По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба,

мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте — легкая, звонкая, красноперая:

Мы кузнецы — и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!!

И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространства. Как они пели — как пели они, ткачи! Не прошли даром и для песни подпольные годы! То-то на фронте потом, в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы и так бы их пели,— с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!

Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб. Хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, привыкли считать, что хлебная корочка — великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебье, а в чем-то другом. И горько тут погоревали над общей безурядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебородными местами, и словно мстили теперь в хлебном обилье за годы голода — торопились наверстать несъеденные пуды. Уж, кажется, надо бы было поверить, что, продвигаясь в самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и все там будет дешевле. Ан, нет, не верилось,— голод отучил от такого легковерья. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дешев и бел,— закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белей и дешевле: растерянно улыбались, шептались, смущенные, не знали, куда подевать свои сохнувшие запасы.

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, у беса на куличках, где только ржавые груды рельсов да скелеты лома-

ных вагонов, высыпали на полотно, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу.

Куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут враз али день-другой задержат в городе?

Все это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уж командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В этой записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий Бочкин и Андреев гнали немедленно к нему, в Уральск, а отряд направится им вослед. Он в теплых, сердечных словах приветствовал земляков, коротко познакомил с обстановкой, указал, какая всем большая и трудная предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму.

— Отправить... телеграмму, отправить!

— И сказать спасибо! — крикнул кто-то.

— Не то — «спасибо»,— перебили голоса,— сказать, что приехали, что готовы на дело — куда какая помочь нужна! Во как!

— Правильно! Так и сказать: готовы-де на дело! И сказать, что все, как один, то есть в самом лучшем смысле!

— Айда, ребята, составляйте телеграмму! Да здравствует Фрунзе, ура!

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

Шапки, кепки, варяжские шлемы взметнулись над головами, закидались неладно в сторону, как галочья вспугнутая стая.

Федора в страстный жар кинул дружеский тон записки,— он ею потрясал смешно над головою, кричал, восторженный и наивный:

— Товарищи! Товарищи,— вот она, эта маленькая записка. Ее писал *командующий армией,* а разве не чувствуете вы, что писал ее равный совсем и во всем нам равный человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тону разве не чувствуете вы, как у нас от рядового бойца до командира поистине один только шаг? Даже и шага-то нет, товарищи: оба сливаются в целое. Эти оба одно лицо: вождь и рядовой красноармеец! Вот в чем сила нашей армии,— в

этом внутреннем единстве, в сплоченности, в солидарности, — в этом сила... Так за нашу армию! За наши победы!

И снова красноармейцы в неистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «ура», выхлестывали радость и гордость и готовность свою, словно камушки в буйном шторме с морских глубин на морские берега.

Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали командира и наказали, чтоб был с отрядом готов к выступлению.

Назначенной четверке из реввоенсовета напомнили:

— В Уральск уезжать немедленно!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядниками. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоенсовета оттолкнулись две тройки: в первой сидел Федор с Андреевым, в задней — Лопарь и Терентий Бочкин.

Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной смешью кнут степной — и в снежный метельный порох легкие тройки пропали, как птицы.

II

СТЕПЬ

Морозно поутру в степи. Возницы накругло укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые вороты от дремлющих седоков.

— Лопарь, озяб? — ссутулился к нему иззябший Бочкин.

— Гвоздит... до селезенки! — прохрипел уныло Лопарь.— Остановка-то скоро али нет?

— Кто ее знает — спросить надо приятеля-то... Ей, друг,— ткнул он в рыжую овчинную тушу,— жилье-то скоро ли будет?

— Примерзли?

— Холодно, кум. Село-то скоро ли, спрашиваю?

— Верст семь, надо быть, а то... и двенадцать! — свеселил ездовой, не оборачивая головы.

— Так делом-то — сколько же?

— А столько же! — веселым зубоскальем хахакал возница.

— Как ты село-то называл?

— Ивантеевка будет...

— А с Ивантеевки до Пугачева далеко?

— Да што же там останется?

Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю. Помолчал минутку. Сообщил:

— Ничего, можно сказать, не останется: к Таволожке осьнадцать да от Таволожки двадцать две,— как есть к обеду на месте!

— А сам ты как — из Николаевки? — выщупывал Бочкин.

— Из нее, откуда ж ищо-то быть?

И в тоне мужичка послышалась словно обида: какого, дескать, черта пустое брехать — раз в Николаевке брал седоков, известно, и сам оттуда.

— Ну, отчего ж, дядя? Может, и ивантеевский ты,— возразил было Бочкин.

— Держи туже — ивантеевский...

И дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

У мужичков такая сложилась тут обычка: привезет, например, какой-нибудь Карп Едреныч из Ивантеевки в Николаевку седока, а Едрен Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уже дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца, а передает седока Карпу, а тот на усталых лошадях ползет-ползет с ним бог весть сколько времени. Тот ему потом, дяде-то Карпу,— услуга за услугу. Дядям это очень удобно, а вот седокам — могила: какой-нибудь двадцативерстный перегонишко тянут коротким шажком четыре-пять часов. И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата:

«Сверхсрочно... Без очередей... Экстренное назначение...»

Все эти ужасные слова трогали Карпов Едренычей очень мало,— они ухмылялись в промерзлый ус, добродушно и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седока:

— Прыток больно. А ты потерпи — помереть успеешь... милай!

Терентий слышал про эту обычку возницкую, вспомнил теперь и понял, отчего так сладко и хитро причмокнул дядя.

— Знаю, брат, на обмен нашего брата возите...

— А то нет! — оживился возница.— Знамо, на обмен,— все оно полегше идет...

— Ну, кому как.

— Никому никак, а всем полегше...—рассеял он Терентьевы сомненья.

— Вам-то, знаю, легче. Кто про то говорит,— согласился Бочкин.— А нам вот от этих порядков — чистая беда, на заморенных не больно прокатишь, протащимся целый день...

— Это у меня-то заморенные? — вдруг обиделся возница и круто обернул тулуп спинищей, молодецки вскинул вожжами, с гиком пустил коней, только снег завихрил, запушил в лицо: — Эй вы, черти! Фью, родимые... Ага-а-а... Недалеко уж. Ннн-о... соколики!

Мужика не узнать: словно на гонках, распалился он над снежной пустынной степью.

И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороту, глухо заметил:

— Вот те и мореные!

— Лихо, брат, лихо,— порадовались его седоки.

— То-то лихо,— согласился дядя и степенно добавил: — А што устамши бывают, на то причина,— езда большая: свое справляй, наряды справляй,— дьявол, и тот устанет, не то што лошадь...

— А много, знать, нарядов? — полюбопытствовал Лопарь.

— Мало ли нарядов,— живо отозвался мужик.— Тут шатается народу взад-вперед — только давай... И чего это мечутся, сатаны, диву я даюсь: толь и шмыгают, толь и шмыгают, а все лошадей! И кому задержал — тыкву дать норовит!

— Так уж и тыкву? — усомнился Лопарь.

— А то што, аль пожалишься кому?

— Врать-то вы больно, мужики, горазды,— сказал он серьезно вознице.

— Ну, сам соври получше,— чуть обиделся дядя, трудно повертываясь на облучке.

— Черт-те знат что! — в раж входил Лопарь.— Выдумает себе человек какую-нибудь историю, да и верит в нее. Верит тебе и верит,— что ты станешь делать!

— Да... историю...— бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повернут был разговор.

— Били тебя самого-то когда? — спросил Лопарь.

— А нешто не били... Один такой вот, как ты, шашкой зубанул, сукин сын. Ладно, тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул...

— Чего он, пьян, что ли, был, дурак?

— А видно, што пьян...

— Ну, с пьяного и спрашивать нечего,— будто невзначай уронил Лопарь слова.

— Так я и не спрашиваю...

Терентию захотелось разузнать, как тут дело с Советами: крепки ли они, успешно ли работают. Он перебил уклончивую речь возницы и стал задавать другие вопросы, но и здесь услышал ту же неувязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался.

— А пущай... всего бывает... Чего же нам теперь...— получал Терентий завитушки слов вместо серьезных и ясных ответов.

— Да не поймешь ничего, говори яснее,— не выдержал и раздражился Лопарь.

— Недогадлив больно, паренек. А ты подумай — может, и догадаешься...

— Нет, подожди ты, подожди,— остановил Терентий Лопаря, опасаясь, что тот сорвет беседу.— Что Совет-то, спрашиваю, хорош тут али не больно: делом ли занимается?

— А чего ему не делать-то, известно... Наряды вот Горшков только неправильно...

— Неправильно? — и Лопарь на живое слово кинулся, как кошка на мясо.

— Так а што ж: тестя, небось, кажин раз норовит обойти, а нашему брату, знай, подсыпает, когда и очередев-то нету никаких.

— А ты жаловаться бы,— подсказал Терентий.— В Совет иди докажи, расскажи: негодяю живо усы-то подкрутят.

— Да, подкрутят,— упадочным голосом сглушил

мужичок и безнадежно прихлопнул по крупу вожжами,— того гляди, подкрутят: сам как раз и угодишь, куда не надо...

— Ну что это чушь-то молотишь? — осердился снова Лопарь.

— Не молотишь, а так точно навсегда,— сокрушенным голосом сказал возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону.

— Случаи были? — крепко и прямо, словно следователь, спросил Терентий.

— То-то и дело, были...

— Ну и что же?

— Ну и ничего же,— повел мужичок заиндевелыми губами.— Было, да и не было. «Жил да помер до сроку — всего и проку»...

— А молчали что? — вгрызался Лопарь.

— Да так и молчали, штоб тише было...— невозмутимо и тонко пояснял хитроватый мужичок.— Как помолчишь — оно само отходит...

— Шутка шуткой,— отсек Лопарь,— а того...— и, словно спохватившись, прибавил добродушно: — Да, впрочем, убыток ли еще тебе ехать-то, дядя? В Советах вон бумажки висят везде: «Едешь — плати, что берешь — опять заплати». Читал? Видал сам-то?

— Видал... пущай висит...

Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк,— он привык разговаривать в городе, с рабочими и в открытую, совсем по-иному, а так не умел: уклончивые, невнятные, хитрецкие ответы раздражали его не на шутку. Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова, а терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туманных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок.

В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор:

— Ты сам был, Гриша, у него в отряде? — спрашивал Федор парня.

— Так и ногу с ним навредил,— ткнул Гриша пальцем в сиденье.— Все лето по степям из конца в

другой гоняли: они за нами охотют, а мы норовим, как бы их обмануть... *Чеха* — этот дурак, а вот *казару* не обманешь: сам здесь вырос — чего от его ждать?

Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо: мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда в волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый, широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в масленых морщинах,— ну, лицо, как лицо: ничего примечательного! А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, *коренная,* настоящая. Грише было всего двадцать два года, а, по лицу глядя, вы дали бы ему и тридцать пять: труды батрацкой жизни и страданья с оторванной в бою левой ногой положили неизгладимые печати.

— Ну, и что *он* — молодой? — любопытствовал Федор, продолжая начатый раньше разговор.

— Да, молодой совсем: тридцати годов, надо быть, нету...

— Из здешних, что ли,— казак?

— Какой казак... От Пугачева тут деревня будет Вязовка — в ней, надо быть, и жил. А другие говорят — в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет...

— Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится проронить каждое слово.

— Да ведь што же сказать? Однем словом,— герой! — как бы про себя рассуждал Гриша.— Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...» Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой, брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь — словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет,— любил усы-то, все расчесывался. «Сидишь?» — говорит. «Сижу, мол, товарищ Чапаев».— «Ну, сиди»,— и пройдет. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал — и будто радость тебе делается новая. Вот што значит *настоящий* он человек!

— Ну, и герой... Действительно, герой? — щупал Федор.

— Так кто про это говорит,— значительно мотнул

головою Гриша.— Он у нас ищо как спешил, к примеру, на Иващенковский завод? Уж как же ему и охота была рабочих спасти: не удалось, не подоспел ко времю.

— Не успел? — вздрогнул Андреев.

— Не успел,— повторил со вздохом Гриша.— И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было — н-ну!..

Гриша тихо махнул рукой и опустил тяжелую голову.

В грусти промолчали целую минуту. Потом Гриша тише обычного сказал:

— По-разному говорят, только уж самое будет малое, коли две тысячи считать. Так их между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был — и женщины там, и ребятишки, ну, и старухи которые — однем словом скажу: всех без разбору. От как, сволочь...

Он слышно скрежетнул зубами и дернул за вялые вожжи.

— Видел сам-то? — пытал его Федор.

— Как не видеть... Да уж и говорить бы не надобно... Што же тут видеть: кровь да мясо в грязной земле... Без разбору, подлецы, так на очередь и секли...

— Ну, а он-то как, сам Чапаев?

— Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, как конь во скаку. Шашку с размаху о камень полоснул. «Много будет,— говорит,— крови за эту кровь пролито! И вовеки не забудем, и возьмем свое!..»

— А взял? — серьезно спросил Андреев.

— Да как еще взял! — быстро ответил Гриша.— Он, словно чумной, кидался по степи, пленных брать не приказал ни казачишки. «Всех,— говорит,— кончать, подлецов: Иващенкин завод не позабуду!»

И опять помолчал. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу:

— А что ж, Гриша, у него за народ был, бойцы-то: откуда они?

— Так, здешние, кому ж идти? Наш брат пошел, батрак, да победнее который... Бурлаки опять же были, эти даже первее нас ушли...

— Что же, полк, что ли, чего у вас было?

— Да, был и полк, когда в Пугачах стоял, а по-

том все больше отрядом звали, он и сам, Чапаев, полком-то не любил прозывать: отряд, говорит, да отряд, это больше к делу идет...

— Н-да... отряд... Ну, а раненые с отряда, убитые у вас, их-то куда девали?

— Девали,— раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями.— Всяко девали: то не успеешь подобрать, этих казара докалывала,— небось, не оставит. А кого заберешь — по деревням совали: тут у нас везде народ свой. И здесь вот бывали, в Таволожке. Да где не было — везде было...

— А лечили как?

— Тут и лечили, только лекарствов, надо быть, не было никаких, а чем бабушка вздумает, тем и помогает... Коли другой в город сноровит — этому еще туда-сюда, а здесь-то, по деревням,— эге, как залечивали!.. Ну, и где же ей, бабе темной, ноги закрыть, коли от ноги этой жилочки только болтаются да кости крошеные в погремушки хрустят... Какой тут баба лекарь человеку?

— А были такие? — с дрожью в голосе справился Федор.

— Отчего же не быть: на то война!

— Вот правильно! — брякнул нежданно Андреев, все время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого али чем недовольный.— Верно говоришь! — повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине.

— Ну, известно,— махнул тот весело рукой.— Всего бывало.

— Гриша,— перебил Федор,— Гриша, а питались по деревням же?

— По деревням...— осанисто ответил парень, видимо очень довольный, что так им интересуются.— С собой возили мы мало,— и где его возить, куда девать было? Тут все по деревням: они придут — они берут, мы придем — опять берем. Деревень кругом пятнадцать выходило, куда ни заверни!

— Да, тяжеленько было,— вздохнул и Клычков.

— Всем тяжело было... А нам рази легко? — подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно.

— Конечно, нелегко,— торопливо поддакнул Федор.

— То-то и оно,— успокоился Гриша.— Всяко было! Мало ли што,— откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать, овса ли лошадям аль и лошадей сменить, коли своих невмоготу уморим: надо было... Раз надо, значит давай — разговор короткий. И, думаю я, одинаково тут выходило — што у нас, што и у *них*... Чего выхваляться, будто очень все-де красиво загибалось! И некрасиво бывало... Ты целые сутки не жрамши, скажем, да с походу, а тут хлеба куска не дают,— где же она, красота-то, уляжется? Перво-наперво словом: дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш кажет. Дак в улыбку, што ли, с ним играть? Ну, тут под арест кого, а што пузо потолще — и в морду заедешь, где с им рассусоливать...

— Били? — затаил дыхание Клычков.

— Били! — ответил просто и твердо Гриша.— Все били, на то война.

— Молодец, Гришуха,— снова и весело сорвался Андреев.

Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду.

— А меня не били? — обернулся Гриша.— Тоже били... Да сам Чапаев единожды саданул. Што будешь делать, коли надо?

— Как Чапаев? За что? — встрепенулся Федор, услышав (в который раз) это магическое, удивительное имя.

— А я на карауле, видишь ли, стоял,— докладывал Гриша,— што вот за Пугачами, вовсе близко, станция какая-то тут... забыл ее звать. Стою, братец, стою, а надоело... Што ты, мать твою так, думаю, за паршивое дело это — на карауле стоять. Тоска, одним словом, заела. А у самого вокзала березки стоят, и на березках галок, гляжу, видимо-невидимо: га-га-га... Ишь, раскричались! Пальну вот, не больно, мол, гакать станете! Спервоначалу-то подумал смешком, а там и на самом деле: кто, дескать, тут увидит,— мало ли народу стреляет по разным надобностям? Прицелился в кучу-то: бах, бах, бах... Да весь пяток и выпалил сгоряча... Которых убил — попадали сверху, за сучки это крылышками-то, помню, все задевали да трепыхались перед смертью. А што их было — тучами так и поднялись... поднялись да и загалдели. Кто его

знал, что он у коменданта сидит, Чапаев-то. Выходит — туча тучей.

«Ты стрелял?» — «Нет,— говорю,— не стрелял: не я!» — «А кто же галок-то поднял, хрен гороховый?» — «Так, видно, сами,— говорю,— полетели!» — «А ну, покажи!» — и хвать за винтовку. За винтовку хвать, а она пустая. «Што? — говорит.— А патроны где,— говорит,— возьмешь? Казаков чем будешь бить, колода? Галка тебе страшнее казака? У, ч-черт!» — да как двинет прикладом в бок! Молчу, чего ему сказать? Спохватился, да поздно, а надо бы по-иному мне: как норовил это за винтовку, а мне бы отдернуть: не подходи, мол, застрелю — на карауле нельзя винтовку щупать. Он бы туда-сюда, а не давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил, все бы простил разом...

— Любил? — прищурился любопытный Федор.

— И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее. Навсегда уважал твердого человека, што бы он ему ни сделал: «Молодец,— говорит,— коли дух имеешь смелый...» Ну, а где же все перескажешь? А вот она и Вантеевка,— обрадовался Гриша, пересел, как подобает вознице, ударил звучно вожжами, сладко чмокнул, присвистнул и уж так беспокоился вплоть до самого села. Только раз обернулся:

— На Совет подвозить-то?

— Да, да, к Совету, Гриша.

— А то к Парфенычу бы, он вот про Чапаева расскажет...

— Кто это, Парфеныч-то?

— А из наших, в отряде же был раньше меня. Да руку ему оборвало напрочь, с тем и воротился...

— Здешний житель?

— Здешний. Ну бесхозяйный же теперь, все начисто испортили казаки: избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили... Поправил, да плохо...

— Укажи, проезжать-то будем,— на всякий случай напомнил Федор.

— Укажу...

Въехали в Ивантеевку — большое, просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернет в берлогу — засыплет, закроет, снегами заметет. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для

форсу на легкой рыси. В одну избушку ткнул пальцем,— это была Парфенычева изба. На другую показал, обернулся быстро, щелканул молча себя по шее, ухмыльнулся: надо было, видимо, понимать, что в этой гонят самогонку. Подкатили к Совету; он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего правления. Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные, заиндевелые тулупы, зацепили под мышку и в руки свои корзиночки и узелки (жалкий скарбик: у каждого весом полпуда!), по ступенькам поднялись в помещение Совета.

Совет как Совет: просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. Еще рано, в городе теперь еще никого не найдешь по учреждениям, а тут, гляди-ка, что народу наползло! И чего только они с этаких позаранок делать хотят? Притулившись к коричневой сальной стене, вертят цигарки, махорят, прованивают и без того несносный, кислый воздух, жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холодку рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами... Видно, что многие, большинство, может быть, все — толпятся без дела: некуда деться, нечего делать,— так и сползлись.

Увидя вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели, высказали разные соображения насчет мороза, усталости, направления и цели поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про недохватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно «ни в каких смыслах».

— Здорово, товарищи,— обратился Лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь последним.

— Здравствуйте,— промычало несколько голосов.

— Председателя бы повидать...

— А вот сюда,— и указали на комнату в стороне за отгородкой.

Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четверки: вел переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться, перекусить, и прочее, и прочее.

Андреев тулупа не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча



Александр Серафимович. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК.



Дмитрий Фурманов. ЧАПАЕВ.

дал закурить и тому. Терентий уже вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как Совет работает, довольны ли Советской властью — словом, с места в карьер.

Федор полон был рассказов Гриши. Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана.

«Это несомненный народный герой,— рассуждал он с собою,— герой из лагеря вольницы — Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те в свое время свои дела делали, а этому другое время дано — он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, Чапаева, удаль и молодечество — главные в характере черты. Он больше именно *герой,* чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер. В нем преобладают, по-видимому, и возбуждены до чрезмерности элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений. Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Федор узнал от мужичков, как пройти к Парфенычу, и когда Лопарь после разговоров с председателем Совета повел компанию чаевничать, Федор с ними не пошел, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу.

Часа через полтора уезжали из Ивантеевки. Федор сидел молчалив и мрачен: Парфеныча не застал, тот уехал накануне в Пугачев. Андреев задал ему пару-другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но, увидев, что не клеится ничего, умолк. Терентий с Лопарем сидели-сидели, надумали песни петь. Дуэт был примечательный: Лопарь не пел, а только всхрипывал. Терентий визжал дичайше и фистулой. Получалось нечто жуткое, путаное и резкое. Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо согласившись, смолкли. Продремали до самой Таволожки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей, тронули на Пугачев.

Уж при выезде из Таволожки мужики-возницы посматривали косо на черные сочные облака, дымившие по омраченному небу. Ветер дул резкий и неопреде-

ленный; он рвал без направленья, со всех сторон, словно атаковал невидного врага, кидался на него, как пес цепной, впивался, рвал остервенело, но каждый раз могучейшим пинком отшвыривался вспять. И снова кидался, и снова отскакивал озленный, с визгом, с лаем, с гневным судорожным воем. По земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки: пути забило, наглухо запорошило снегом. Опускались и быстро густели буранные сумерки. Все настойчивее, крепче и резче ударял по бокам стервенеющий ветер, все чернее небо, круче и быстрей взвиваются снежные хлопья, мечутся в вихре иглами, льдинками, комьями прямо в лицо.

Как в норы кроты, глубоко в тулупы зарылись седоки. Чуть выглядывают возницы. От встречного ветра заходится дыхание, жгучим морозом опаляет лицо. Долго ехали — и чем дальше, тем пуще, вольней размахивался бешеный степной буран. Когда дорога пошла лощиной, по оврагу, на высоком берегу которого тянулся тощий кустарник,— тут как будто стало потише; но лишь выбрались вновь на равнину — тут буран бушевал, как буйный хозяин в пьяном пиру: все, мол, мое, и что искалечу, за то ответ не держу! Хмельно, весело, грозно было в буранной степи.

До Пугачева оставалось верст десяток. Навстречу колыхались караваны верблюдов, попадались отдельные ездовые, верно, многие из них не доехали в этот раз до родных халуп: то вовсе погибли, то пролежали ночь в снегу; этих отрыли только наутро и кое-как отходили от смерти.

«Такого бурана,— рассказывали степняки,— не было уж много лет. Не иначе,— говорили,— бог послал его в наказанье за холодные молитвы, за то, что храмы божии народ забвенью отдает».

Говорили, но уже видно было, что слова эти — пустые слова, одна *фраза,* ходячая и обычная, говорят же ее мужички больше для христианской вежливости, а сами ни на грош не верят тому, что говорят.

От бурана и на станцию посбилось народу изрядно. Когда подъехали ездоки наши и снежными комьями вывалились из саней, тут уж не отсылали одного разведчика Лопаря, а направились кто к станционному начальству, кто к коменданту, а милого Терешу наладили по вьюжным путям искать составы, кото-

рые норовят идти на Уральск. Это «разделение труда» было вызвано тем, что за время езды до Самары ребята стократ убедились, как, сознательно и бессознательно, мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов: если скажут, бывало, что состав идет «через час»,— это уж будь покоен, до завтрашнего дня не тронешься с места, а коли скажут «только наутро» — так и жди, что проскочит перед носом.

Долго ли, коротко ли искали, наконец обрели вагонишко, в котором как раз до Уральска снарядилась группа политических работников. Дотолковались, изъяснились, вгрузились с вещишками. Но много еще пришлось помытариться, прежде чем добрались до Уральска: под Ершовом занесло пути, вылезли, расчищали сугробы снегов, побранивались с комендантами, правдой и неправдой добывали дрова, согревали промерзлый гробик. Ползли медленно и тошно. Только что заехали за Ершов, случилось неладное с паровозом,— опять возня, опять высадка, долгое нервное ожидание. Потом с буксами не заладилось — и тут приостановка, опять заботы, хлопоты, подорожные ремонты, все новые-новые тревоги. От Пугачева до Уральска ехали целых два дня, а тут и пути-то — рукой подать!

III

УРАЛЬСК

В Уральске со станции позвонили. От коменданта прислали двое розвальней, погрузились ребята со скарбишком, поехали в Центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный, в номерах и сыро, и грязно, и голо: не на что сесть, не на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако ж, приладились, осмотрелись, закрепили за собой номерок,— так вчетвером в одну комнату и вобрались: не хотелось дружкам разбиваться.

После того как с морозу оглушили пару самоваров подряд, бродили по городу, не знали, куда девать свободное время. Еще на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции — руководить открывшимся наступлением. В это время ближние пози-

ции находились от Уральска всего в двадцати верстах, и надо было торопиться отогнать неприятеля возможно дальше. Впрочем, эти первые бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не тогда, а только позже, когда разработан был и более широкий и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон: не только от Уральска, но еще и со стороны Александрова-Гая на станицу Сломихинскую и через нее вперерез большому пути: Уральск — Лбищенск — Гурьев,— пути, по которому должны были гнать казаков красные части, наступавшие с севера.

Но об этом потом, потом; всему свое время,— к страдному пути от Уральска на Гурьев придется вернуться не раз.

У друзей наших были особые привычки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин очень любил писать письма, и почти всегда в этих письмах преобладали у него сведения хозяйственного порядка: разузнает непременно — где, что и почем, все это запомнит, опишет, сравнит...

Клычков — этот вел исправно дневник. В любой обстановке и при любых условиях изловчался и записывал самое важное. Не в книжечку, так на листках, иной раз отмечал на ходу, пристроившись к забору,— но уже все занесет непременно. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни проку.

— И чего ты, Федька, бумагу-то портишь? — скажет бывало Андреев.— Охота ж тебе каждую ересь писать? Да мало ли кто что сделал, кто сказал — разве все захватишь? А уж писать, так надо все, понял? Частицу писать не имеет смыслу, один даже вред получится, потому как в обман людей введешь.

— Нет, Андреич, ошибаешься,— разъяснял ему Федор.— Частицу я усмотрю да другой, третий, десятый... сложишь их — и дело получится, история пойдет...

— Так ты ведь там, черт, выдумываешь, поди, разную дребедень... какая история? — сомневался Андреев.

— Я же знаю, что к чему,— упорствовал Федор,

испытывая острую неловкость от этого бесцеремонного напористого приставанья.

— Что ты знаешь? Ничего не знаешь,— осаживал Андреев,— пустяками занимаешься.

Клычков на эту тему говорить не любил и, зная андреевскую несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал вовсе и тем прекращал разговор.

Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себе ясного отчета.

Специальность у Андреева была иная — распознавать все дела по рабочему фронту; сюда его тянуло так же, как Терентия к письму или Федора Клычкова к своему дневнику. Андреев, может быть, даже и против воли, инстинктом, всем, с кем заново и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые вопросы: есть ли фабрики, давно ли построены, хорошо ли работают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы качеством, сознательны ли, чем, когда и как себя проявили и т. д. и т. д. Так и видно было рабочего, которого тянет в родную среду, к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также общим положением, главным образом богатством местности, населением, его составом и степенью надежности; впрочем, этими вопросами едва ли не в равной мере интересовались все четверо.

Лопарь был *спецом* по военным делам,— моментально распознавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки лучше, какие хуже, что делается по политической работе с красноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут, что вообще за положение на фронте и т. д. и т. д.

Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но главным образом позже, когда все четверо втянулись в настоящую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, у Андреева (рабочие центры попадались нечасто), у других, как у Лопаря, расширилось; но с этих же первых дней всем было видно одно: военные дела и интересы захватывали полней и полней, все решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и иные интересы, пока их не поглотили целиком.

Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, удивительная, совершенно особенная. Только и видны серые солдатские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки — настоящий вооруженный лагерь. По улицам проходят красноармейцы колоннами, проходят, суетятся: одиночками скачут кавалеристы, катятся медленно орудия, величественно проплывают к позициям навьюченные караваны верблюдов Кругом пальба неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть притихающая к ночи, одни «прочищают дуло», другие стреляют «дичь», у третьих «сорвалось случайно». Один военный специалист, высчитывая по секундам и минутам среднее количество этих шальных выстрелов, определил, что понапрасну в день растрачивается глупой этой стрельбой от двух до трех миллионов патронов. Верен ли расчет, сказать трудно, но стрельба была воистину бессовестная. Тогда еще не было в тех, в степных, войсках, о которых идет речь, сознательной железной дисциплины, не было кадров сознательных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преобразить, дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это пришло потом, а в начале 1919 года под Уральском бились — и лихо бились, отлично, геройски бились — почти сплошь крестьянские полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, да и то из них половина «липовых».

В этих полках имела успех агитация, будто коммунисты — жандармы и насильники, будто пришли они из города насильно вводить свою «коммунию».

Нередко в полках так и говорили, что «большевики-де — это товарищи и братья, а вот коммунисты — лютые враги». Через два дня по приезде Клычкову пришлось даже публично кроить доклад на эту нелепейшую тему: «Какая разница между большевиками и коммунистами».

Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о большевиках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, особенно же остро она «дебатировалась» по окраинам: на Кавказе, на Украине, на Урале, в Туркестане и попала даже в Грузию.

Насколько сложное было тогда положение в полках, можно судить уже по одному тому, что благороднейший из революционеров, умный и тактичный

Линдов, а с ним и целая артель большевиков пали от руки своих же «красноармейцев».

Когда через несколько дней прибыл в Уральск Иваново-Вознесенский отряд в своих типичных «варяжских» шлемах с огромными красными звездами во лбу, когда он взял охрану города, по ткачам из-за углов открывалась хищная пальба: стреляли красноармейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю».

Впрочем, уже очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются, предубеждение разом пропало, выросли иные, дружеские отношения.

В самом Уральске коммунистов было немного: одни погибли в боях, других увели казаки, часть была еще раньше разогнана и распугана, часть осталась в строю. Работу больше вели приезжие большевики. Центральной фигурой был горняк-рабочий по кличке «Фугас» — благороднейшая личность, любимый товарищ, испытанный боец[1]. В противоположность ему и всегда вместе с ним состязался и упоминался некто Пулеметкин, паршивенький интеллигентик, политический франт и позер, тоже коммунист, но из тех, которые по личной линии заслуживают искреннюю, острую неприязнь. Пулеметкин обнажался как честолюбивый бахвалишка, пустомеля и фразер, выскакивающий всюду напоказ и стремящийся у всех завоевать популярность. Приезжая четверка раскусила живо «группировки» около Пулеметкина и Фугаса, примкнула к Фугасу, и через несколько дней тесно с ним подружилась.

Когда, утомленные ходьбой, воротились теперь в свою нетопленную каморку и Терентий наполовину закончил традиционное письмо, сообщив, что «солянка с хлебом 5 руб... черная икра за фунт 23», из штаба прислали вестового, сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги — и айда. Пришли, но и тут все странно, все по-новому, необычайно: их даже не пропустили сразу, а пошли доложить. Кому? Ми-

[1] У живых — имена чужие, у погибших — свои.

хаилу Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не сон ли это? Какой черт сон? Перед носом часовой стоит со штыком! Он смотрит вовсе не дружелюбно на приехавших молодцов, что пытались так бесцеремонно и самоуверенно проломиться в двери к командующему.

Потолкались минутку в коридоре, чувствовали себя неловко, старались не смотреть один другому в глаза.

— Проходите,— позвал кто-то.

Вошли. Встреча была радушнейшая, простецкая, задушевно-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними все тот же простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу оправились от первой неловкости, а тут опять — новости. Около Фрунзе сидят военспецы — не какие-нибудь так «окунишки», а «лещи» настоящие: полковники бывшие, генералы. И все-то они норовят сказать ему «так точно» да «никак нет», все-то изгибаются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что «дисциплина», что по-ихнему, быть может, и нельзя, но сами в тон попасть никак не могут: командующего чуть не «Мишей» зовут, не в лад с ними речи ведут, будто где-то у себя в партийном комитете... Полковники слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и настораживаются еще больше, как бы за компанию с приехавшими хлопцами самим не сорваться с нарезу, не нарушить субординацию. Так тут два лагеря и остались до конца беседы: в одном — приехавшие хлопцы, а в другом — военные спецы. Фрунзе сообщил, какая обстановка сложилась на фронте, чего можно ждать, что целесообразней теперь предпринять на близкое время. Ребята добродушно хлопали ушами, тщетно силились упомнить все, понять и представить пояснее: ничего не получалось. Во-первых, не знали карты, и потому станицы и укрепленные пункты были для них пустым звуком; с другой стороны, понятия вроде «стратегия», «тактика», «маневренность» и прочие усваивались только в общем, а ясно не укладывались в сознании.

Скоро спецы ушли, осталась свойская компания. Тут музыка пошла не так: планы расшифровывались подробно и откровенно. Федор посматривал сбоку на

Фрунзе и недоумевал, откуда у него эта ясность понимания в военном деле, отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик. Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит,— что за черт! А ведь давно ли был гражданской *шляпой*. Уже в те дни, на первых порах командования Фрунзе сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты: легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному анализу и всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая — обоснованная.

Сидели — гуторили. Вспомянули родной Иваново-Вознесенск, общих товарищей, недавнюю работу. Разошлись только за полночь, а наутро Фрунзе срочно выехал в Самару, сказав, что назначенья пришлет оттуда, а до получения, дескать, придется побыть здесь, в Уральске, поработать в комитете партии. Эта случайная партийная работа заняла целых восемь дней, пока всех четверых не распределили по армии.

Меж собой толковали:

— Поизменился... Михайла-то Васильич...

— Надо бы... Работищи-то пропасть...

— И пожелтел, осунулся, сердешный...

— Прозеленеешь, не то что... Вон они, части-то, здесь — орава буйная, мало ли возни с ними будет? Приказали, говорят, уж не впервой окончить пальбу, а что вышло, ну-ка, послушай!

И ухом припали к окнам: за окнами ухала и звенела бесшабашная стрельба.

— Анархия, черт ее дери! — буркнул сердито Андреев, потом помолчал и уверенно, спокойно пробасил: — Не то ломали — все перекроим...

Подступили торжества 23 февраля — годовщина Красной Армии. Шевеление началось, как это водится, издавна, а работа, действительная организация праздника, проведена была и оформлена за три-четыре последних дня. Дотошному Лопарю уже на другой день по приезде было известно, что партийная организация из рук вон слаба, что с праздеством возиться, в сущности, некому и оно, пожалуй, прогорит, если не вмешаться кому-то активно, не взять дело в одни, в

верные руки. Ревком сообщил Лопарю, что делом ведает партийный комитет; а пришел туда — отсылают обратно в ревком, ссылаются на какую-то несуществующую комиссию. По настоянию Лопаря, быстро назначили собрание, пригласили рабочих представителей, но от ревкома опять-таки не явился никто. Лопарь решил действовать на свой страх и риск, объявил собрание действительным и правомочным, сообщил коротко о предстоящем торжестве и о невозможности дальнейшего промедления с его организацией, предложил избрать деловой исполнительный орган. В этот орган его избрали председателем, Андреева — секретарем. Дело стронулось с мертвой точки. Город разбили на районы, определили места, где будут собрания, открытые массовые митинги, лекции на тему дня, кто и где будет выступать, как использовать театр, кинематограф, оркестры. Снеслись с профессиональными союзами, вызвали оттуда рабочих, работниц,— одним поручили возиться с устройством трибун, других притянули к работе по листовкам, плакатам, очередному номеру «Яицкой правды»; женщинам-работницам вверили детей, которым предполагалось в этот день улучшенное питание, театры, кинематографы. В три дня все было готово, 23-го ранним утром на главную площадь стягивались со всех концов колонны рабочих — они собирались по профсоюзам. Они выстраивались рядами около трибун, в середину пропускали воинские части, к тому дню слегка подчищенные и пододетые. Площадь полна народу. Речи... все речи и речи. Лучше всех, ближе и искренней принимают рабочие и бойцы простую, умную, краткую речь Фугаса. А за Фугасом, как водится, выскочил Пулеметкин и стал бестолково мять и жевать всем надоевшие и всем знакомые истины про «гидру контрреволюции»... Он мог болтать сколько угодно, если не оборвать, не одернуть. Проходит десять... двадцать... тридцать минут — Пулеметкин все молотит. Его уже дергали дважды за полу — не помогает. Надоел смертельно. А день морозный, красноармейцы давно переминаются с ноги на ногу. Замерзли. Терпеть дальше нет возможности. Лопарь Пулеметкину сзади внушительно и явственно отчеканил:

— Если не перестанете сию же минуту, я закричу «ура». Поняли?

Пулеметкин быстро оглянулся, блеснул водянистыми злыми глазами и, увидев решительное выражение на лице Лопаря, понял, что тот не шутит,— закончил торопливо, слез с трибуны, попал в толпу. Речи — как речи... Такие речи в тот день говорились по всей Советской России... Вечер — как вечер... И вечера были, верно, по-одинаковому: с лекциями, спектаклями, сеансами...

От площади — по городу с красными знаменами, с революционными песнями. Пришли на могилу павших воинов — и здесь стояла тоже трибуна. С трибуны говорили Фугас и Лопарь. Порывавшегося выступить Пулеметкина своевременно задержали и выступать ему не дали. Когда Лопарь вспомнил про товарищей, покоившихся в братской могиле, объяснил, за какое они дело погибли и как должны мы чтить их священную память, в ответ на его пламенные, полные свежести и силы слова — глубокое, сосредоточенное, долгое молчание. И вдруг — выстрел. Это одинокий и, может быть, совершенно случайный выстрел — словно сигнал: сколько тут было частей, радостно все открыли «огонь по богу». Стрельба поднялась оглушительная, беспорядочная,— это вовсе не был торжественный салют. При желании в такой сумятице легко было «снять» какому-нибудь белогвардейцу стоявших на трибуне большевиков: этого в горячке никто бы не заметил и не распознал. А вниз спускаться — постыдно; так и простояли на вышке, пока не расстреляли красноармейцы свои патроны. Лопарь стоял бледный, как лунная тень,— в эти несколько минут он испытал могильный ужас. Никогда, никогда потом, даже в самой страшной боевой кутерьме не испытывал он этого смутного, скоблящего, раздражающего трепета, в котором дрогло беспомощное тело. Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным, во власти слепых случайностей!

По Уральску День Красной Армии прошел, пожалуй что, и сносно, а как он прошел по области — кто его знает: директив дать туда путем не успели, только напомнили в общем, что́ следует делать. На фронт еще накануне выехали Бочкин с Федором Клычковым; они прихватили что можно было из литературы: юбилейный номер «Яицкой правды», воззваньица, разные листовки. Воротились только глубокой ночью, разбу-

дили спящих приятелей и с жаром рассказывали недоумевающим, полусонным Андрееву и Лопарю, как прекрасно встретили их на «передовых позициях» (это произносилось с гордостью неимоверной), как бойцы благодарны были за подарки, за память о себе, как слушали речь, просили приезжать снова. Сонные друзья отзывались тупо на эту восторженную речь. Андреев чертыхнулся спросонья и объявил, что ему надоели смертельно эти «охотничьи басни». Разговор явно не клеился. Вскоре, за недостатком слушателей, рассказчикам пришлось умолкнуть, как ни велика была охота рассказать до «мельчайших подробностей» про свою красочную поездку на самые что ни есть «передовые позиции». Этим закончился для наших приятелей День Красной Армии.

В один из ближайших вечеров после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму: Лопарю и Бочкину наутро ехать в бригаду!

Кончено! Приступила пора расставаться!

У всех состояние было особенное, прощальное, полное неожиданных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что ехать наутро, а двоим, может быть, вслед за ними. Они же этого только и ждали! И все-таки были настроены все четверо по-особенному. У Лопаря и Терентия вдруг проявилась небывалая воинственность, словно они только и знали до сих пор, что воевали. Андреев был мрачнее обыкновенного, Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей.

Утром в саночки посадили Терентия с Лопарем. простились, расцеловались,— уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма: Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же, в дивизии; Федору Клычкову ехать в Александров-Гай наладить политическую работу в организующейся группе, начальником которой назначается Чапаев. Как прочитал, так и обмер Федор, не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз — сомнений нет никаких: *Чапаев...*

Ударило вдруг в виски, задрожала толчками кровь, он сразу слова не мог сказать от волненья.

«С таким героем... С Чапаевым плечом к плечу... как это удивительно все сложилось... Что-то выходит диковинное: то я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, совсем рядом, запросто, как теперь вот с Андреевым... Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем?.. Ух, интересно, черт возьми,— вот сложилось!»

С того момента Федор полон был одною только мыслью, одним только страстным желанием — скорее увидеть Чапаева. И о чем бы ни заговаривал — сводил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом-Гаю нет, он туда только собирается ехать, но все равно, все равно... В Александров-Гай надо спешить немедленно. И Федор не стал дожидаться следующего дня, собрался часа через три. С Андреевым простились по-приятельски, сердечно и просто. Федор уехал, Андреев остался в Уральске один.

IV

АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ

Федору наговорили, что поездом докатят его к Алгаю (так коротко звали Александров-Гай) чуть ли не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту — пересадки. Три пересадки — шутка сказать! Кто езжал в 1919 году по железным дорогам, тот поверит, что выдержать в пути три пересадки — дело мучительное и вовсе не легкое. По приблизительным подсчетам, подгоняя к средней норме, Федор установил, что поездка эта отнимет недели полторы. Поэтому передумал, слез в Дергачах, взял лошадей и тронул на перекладных: тут напрямик до Александрова-Гая полтораста верст.

И снова степь, просторы, голубые горизонты, беспредельные простыни снега. Кой-где уж появились проталины — чернеют бугорки обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем солнце, тепло — значит, скоро весна закружит хороводами. По степи села здесь редки: двадцать пять — тридцать верст одно от другого; живут они сытой, замкнутой жизнью; тут и

невест по другим селам мало отдают,— обходятся своими, всех и на всех хватает вволю. Каждое село — будто небольшая республика: чувствует себя независимо, ни в ком и ни в чем не нуждается, имеет большую склонность к самостийности. Эти большие села, что приходится проезжать до Алгая, сыграли огромную роль в истории гражданской войны уральских степей: Осинов-Гай, Орлов-Гай, Курилово... Эти села дали не только отдельных добровольцев — они дали готовые красные полки. Верно, что из этих же сел немало кулачья ушло и к белым, но остается несомненным, что перевес всегда был на красной стороне. Когда в Курилово ворвалась в 1918 году казара и, по указанию местных кулаков, начала выхватывать советских работников, поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась, кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон и тогда же порешила создать свой особый полк: он был назван Куриловским. Примерно в подобной же обстановке созданы были другие местные полки: Домашкинский, Пугачевский, Стеньки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они создавались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные села; бойцами и командирами (комиссаров первоначально не было) являлись все свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная; тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения — в Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись: один убегал с белыми, другой вступал красноармейцем в родной полк; бывали случаи и еще более разительные, когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины: одна к белым, другая к красным.

Все эти местные полки, созданные для обороны своих сел, скоро вынуждены были ходом событий оставить родные места, уйти глубоко в уральские степи, оттуда на Колчака, от Колчака — снова в степи, из степей — на панский польский фронт.

В ряду других заслуженных, геройским полком считался мусульманский, насчитывавший четырнадцать национальностей; преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатиро-

вавшиеся зажиточным тунеядным казачеством, к которому питали неукротимую жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела: без снарядов, без патронов, скверно и недостаточно вооруженные, раздетые, необутые, они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против Советской власти уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца; в отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы: слабая дисциплина, своеобразное понятие о «воле», длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив, поступавших из центра,— все эти признаки еще долго-долго отличали от полков центральной России эти молодецкие добровольческие, сплошь крестьянские полки.

Александров-Гай мало чем отличается от других «гаев» — Орлова-Гая, Осинова-Гая, да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое: село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров-Гай был из ряду вон оживленным пунктом: здесь стояли штаб бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Бай-Турган и Порт-Артур, на Уральск — во все стороны шло оживленное движение, поддерживалась связь то с воинскими частями, то с руководящими центрами; непрестанно двигались повозки, уезжали и приезжали новые люди; куда-то спешили непоседливые кавалеристы, проползали на крестьянских подводах и качались на гордых верблюдах целые воинские караваны, увозили, привозили, разгружали, нагружали — всюду била жизнь: так она, верно, ни до того, ни после не била в Александровом-Гаю. Местная «интеллигенция» у площади и по главной улице каждый вечер устраивала гулянья наподобие ярмарочных, и тут, разумеется, не дремали красноармейцы, очаровавшие к тому времени добрую половину алгайского женперсонала.

Политический отдел бригады время от времени организовывал митинги как для красноармейцев, так и смешанные. На этих митингах освещался главным об-

разом стереотипный «текущий момент». Жителей втянуть в политическую жизнь, разумеется, было потруднее, чем красноармейцев,— эти шли охотно, слушали внимательно, просили созывать их чаще, рассказывать больше и подробнее. Желание отличное, но осуществлять его приходилось не всегда и не только по недостатку политических сил,— нет, сил для тех мест и времен, пожалуй, было и достаточно,— часто созывать на митинги и собрания не позволяла военная обстановка: кругом казаки, налететь могут внезапно, застигнут в сборе массу невооруженных бойцов, могут наделать немало бед.

Во главе политического отдела стоял тогда петербургский рабочий, Николай Николаевич Ежиков, человек еще совсем молодой, лет двадцати двух, но зрелый, умный и серьезный. Ежиков был в то время и комиссаром бригады. В селе не только командный состав и красноармейцы, но и жители относились к Николаю Николаевичу с величайшим уважением. Его любили за простую, умную, ласковую речь, за то, что обещаний зря не давал, а, раз сказавши, обещанное выполнял, за то, что в селе не было никаких беспорядков, и это по праву приписывалось его моральному воздействию на красноармейцев. А бойцы любили его — и всего больше любили за то, что в походах он был всегда с ними, в боях сам он лежал и бежал в цепи, держался как равный товарищ.

Надо сказать, что в те времена — в самом начале 1919 года — вообще в Красной Армии не была еще развернута как следует политическая работа. Форма и методы ее были неясны, и многие из политработников, особенно же из младших комиссаров, были попросту наиболее сознательными бойцами, которые личным примером показывали, как надо воину Красной Армии терпеть голодуху, стужу без обуви и одежды, как надо выносить трудности и лишения изнурительных походов, как надо сражаться отважно, а при случае — спокойно, честно умирать. Непрерывные бои не давали возможности неделями и даже целыми месяцами повести хотя бы сколько-нибудь сосредоточенную и систематическую работу. Ограничивались случайными «политналетами», а *настоящую* политическую работу откладывали до более удобного времени. Под Александровым-Гаем обстановка была не хуже,

не лучше, чем в других местах; резервы были крошечные, стояли они на отдыхе неподолгу, а главная масса бойцов неотлучно была на линии огня. Работники политического отдела, кроме тех, что вели «сидячую» работу, то и дело выезжали из политотдела на позицию, отвозили туда литературу, новые распоряжения, инструкции и руководства, сносились там с комиссарами, партийными ячейками, инструктировали тех и других; если удавалось, вели работу и среди красноармейцев, а если подходила нужда — оставив свои инструкции, брали винтовку и шли в бой. Как раз в те дни, самом начале марта, трое из сотрудников бригадного политотдела погибли в неравном бою, отступая по лощине с горстью красноармейцев под напором огромной лавины казаков.

Авторитет политических работников в крестьянских полках держался исключительно как авторитет отличных, мужественных и честных воинов Красной Армии. Николай Николаевич в этом отношении почитался чрезвычайно, и среди бойцов его все время ставили лучшим примером.

К началу марта позиции находились около Порт-Артура — крошечного и вдребезги разбитого поселка, стоявшего на дороге к станице Сломихинской (от Алгая на несколько десятков верст); через эту станицу можно было выйти к большому пути Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Армия, центр которой был в Уральске, предполагала на ближайшее время открыть общее наступление и путем комбинированных действий отогнать сначала казаков от Уральска возможно дальше, а потом и вовсе уничтожить казацкую армию. Со стороны Александрова-Гая удар должен был направиться на станицу Сломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чижинские болота, выходя на большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим маневром перерезался путь казачьим частям, отступающим под натиском красных войск, со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью.

Как только приехал в станицу, Федор направился к политотделу. Там провели его к Николаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, с мохнатейшей папахой на голове, в валенках, он сидел в пустом,

высоком, совершенно нетопленном кабинете. Сидел один и красными от холода, дрожащими пальцами рылся в ворохе бумаг, лежавших на столе.

Убранство в кабинете убогое: стол да стул — больше ничего. А на столе — огрызок дрянного грошового карандаша, лампадка с подозрительной грязнотцой, видимо — чернила, измызганная ручка, похожая скорей на восковую свечу, самодельное пресс-папье, две политические книжки, какой-то «деловой» журнал и целый ворох — беспорядочная рыхлая куча разнообразных бумаг. Поздоровались, познакомились. Федор показал ему телеграмму, в которой Фрунзе говорил, что «товарищ Клычков направляется для ведения работы в александрово-гайской группе». (Бригада развертывалась в группу, придавались новые части.)

Ежиков помотрел на бумажку как-то рассеянно и возвратил ее молча Федору. А потом неожиданно:

— Пойдемте-ка,— говорит,— я вас устрою. Чаю, што ли, напьетесь, да и отдохнете с дороги-то...

Федору хотелось теперь же повести с Ежиковым деловой разговор, выяснить общее военное положение, состояние политической работы, перспективы, принятые меры, возможности — словом, с места в карьер. Но Ежиков так его быстро и заботливо препроводил к себе на квартиру, так охотно раздобыл кипятку и хлеба, что деловой разговор пока что пришлось отложить. Комнату занимал он в огромной пустующей квартире; посредине — зал, с боков — комнатушки; в одной из них поместился и Федор. В зале стоял рояль, и Ежиков, лишь только усадил Федора за стол, подошел и одну за другой стал плохонько наигрывать революционные песни. В комнате было холодно и гулко.

Мало-помалу завязался разговор. Федор смотрел на моложавое бледное и суровое лицо Николая Николаевича, любовался им и чувствовал неизъяснимую радость от сознания, что такой хороший парень руководит здесь политической работой. Как это обычно случается, они в течение одного часа успели друг другу сообщить свои биографии, историю и обстановку своей минувшей партийной работы, как угодили на фронт и чего ожидают в близком будущем. Разговор как будто развивался вполне нормально, а Федору все

казалось, что Ежиков не то куда-нибудь торопится, не то нервничает, не то обижен чем-то и недоволен. По лицу было видно, что это прямой, открытый и простой человек, а тут он и в глаза-то Федору ни разу не посмотрел прямо,— все мигает да смотрит в землю, потирает руки, не сидит на одном месте, то и дело вскакивает, посмеивается искусственно и неискренне, слишком предупредительно и поспешно со всем соглашается...

«Что за черт, в чем тут дело?» — задал себе Федор вопрос и не знал, как ответить, как понять Ежикова.

Пришли в политотдел, в холодный кабинет, и здесь разговор сам собою принял почти официальное направление. Ежиков сам говорил мало и ни о чем не рассказывал, а только выслушивал Федоровы вопросы и коротко на них отвечал — неохотно, сухо, как будто даже пренебрежительно. Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ежиков встречал его обрадованно и затевал разговор бесконечно длинный и, по всей видимости, совершенно ненужный. Если бы в Ежикове вообще можно было предположить болтуна — чему ж тут было бы и удивляться? Но Федор правильно определил, что тот — даже вовсе наоборот — скуп на разговоры и особенно в деловой обстановке: тут он или отдает распоряжения, или осведомляет и объясняет лишь настолько, насколько требует само дело. Поэтому искусственная болтливость Николая Николаевича опять-таки показалась Клычкову ненормальной, и снова удивился он, почему бы это отвлекаться Ежикову от разговора с ним, Федором, и так радоваться первому входящему сотруднику?

Из коротких ответов можно было заключить, что партийные ячейки всюду существуют; товарищеские суды работают отлично; литература есть; лекции, собрания и митинги проводятся регулярно и успешно и т. д. и т. д.— одним словом, дело поставлено образцово, и Федору «ставить и развивать» работу, пожалуй что, и не придется, поскольку он приехал ко всему готовому.

Признаться откровенно, Федор и сам чувствовал себя довольно затруднительно, приступая к новому виду работы. Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал, и поэтому «учить» Ежикова не мог, да и приехал он с самым искренним желанием

работать — *не командовать, а работать:* вопрос о субординации вовсе его не занимал. С первой же беседы он об этом откровенно сообщил Николаю Николаевичу и по глухому мычанию того не разобрал, хорошо или дурно принял он его откровенность. Беседуя теперь в кабинете и получая скупые, выдавленные ответы, Клычков решил действовать сугубо осторожно и тактично, ибо заподозрил, что тот обижен его назначением, которое ставило Ежикова в подчиненное положение и сводило с пьедестала, на котором он укрепился как в бригаде, так и в самом Алгае. До сих пор он был *единственным* авторитетным политическим центром: к нему сходились все нити, у него все и всегда искали ответа — только у него одного, больше ни у кого. А тут вдруг приехал этот Клычков — политический голова целой группы, в которую бригада входила лишь как часть... Баста! Пьедестал может покачнуться. Клычков Ежикова может понемногу затемнить и оттеснить с господствующей позиции,— вот сомнения, которые, по мысли Федора, должны были волновать Николая Николаевича, вот причины, по которым он с нескрываемым недружелюбием стал относиться к Федору уже через полтора часа после их знакомства.

Насторожился Клычков, не стал дальше расспрашивать и чутьем организатора понял, что́ ему надо делать.

Во-первых, он решил ознакомиться фактически, по документам и отчетам, с работою в бригаде, если не через Ежикова, то через его помощников и сотрудников, добывая от них официальные отчеты и всякие сведения.

Во вторую очередь, он решил настоять на созыве небольших совещаний-конференций партийных ячеек, культкомиссий, контрхозкомиссий, собраний военкомов и т. д. Это поможет ему сразу многое увидеть и понять.

Дальше он собрался объехать части и посмотреть там доподлинную постановку работы и, наконец, в предстоящих боях хотел участвовать лично в качестве рядового бойца и тем заслужить себе имя хорошего товарища и храброго человека. Это обстоятельство могло иметь влияние на успех или неуспех всей его дальнейшей политической работы.

Ближайшие несколько дней, вплоть до наступления, Федор осуществлял настойчиво поставленные перед собою задачи. Он уже неоднократно беседовал и в организационном, и в культурно-просветительном, и в информационном отделениях, но всюду встречал тот же предубежденный и недружелюбный прием: влияние Ежикова чувствовалось всюду. С большим трудом удалось ему все-таки получить довольно подробный отчет о состоянии работы в целом. Доклад изобиловал общими местами,— с этим недостатком десятки, сотни раз встречался Федор и впоследствии, когда принял еще более широкую политическую работу. Как водится, изложение начинается с «Адама», затем идут указания на первоначальное «хаотическое состояние», дальше разъясняется, что «работа налаживается», но в некоторых своих частях еще «не на должной высоте»; заканчивается доклад указанием на обилие принятых «плодотворных мероприятий», которые, безусловно, упразднят все существующие недочеты.

В общем между гордых слов можно было рассмотреть, что по полка́м довольно исправно и усердно развозятся книжки и создаются библиотечки; школы грамоты вовсе прекратили свою деятельность из-за боевых операций, а когда они работали, то посещались слабо; всякие комиссии как будто существуют формально и организованы всюду, но точных сведений о работе их нет; митинги проводятся, но редко, зато вот спектакли любительскими кружками ставятся часто и посещаются охотно. В этом же роде весь доклад. Кое-какое представление о работе, конечно, давала и эта сухонькая реляция, однако же главные надежды Федор возлагал теперь на личный объезд частей и непосредственное ознакомление с работой на местах.

Попытался он созвать некоторых комиссаров — предубежденное отношение встретил и здесь; назначил собрание представителей ячеек — оно и вовсе не состоялось; назначил митинг, но политотдел оповестил худо, и собралась совершенно случайная публика, человек пятьдесят — шестьдесят.

Дело не клеилось. Долго продолжаться таким образом не могло, Федор ожидал только приезда Чапаева: этот приезд, верил он, разрубит гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшегося положения.

Послезавтра — наступление. Отчего же нет до сих пор Чапаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на Казачью Таловку, к Порт-Артуру, последние части; до момента наступления они будут в исходных пунктах.

В штабе назначено последнее заседание,— окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Поведено оно будет одновременно с трех пунктов: рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось, но сам в обсуждения и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему «спецу» и думал:

«А это — неужто предатель? И неужели весь этот пафос — одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату? А завтра, лишь только все будет готово, неужто обернутся они из друзей врагами?»

И особенно пристально, с притихшим дыханием всматривался он в лицо полковника, командира бригады.

«Неужели?»

Но лицо у комбрига было из тех, что не внушают опасений,— сразу к себе располагает, заставляет верить.

«А все-таки ты, комиссар, будь начеку!»

Заседание «Совета» окончено. Все уходили из штаба.

Весь этот день и целый вечер один за другим транспорт за транспортом, караван за караваном уходили на Казачью Таловку. Пустел Александров-Гай. Назавтра уйдут последние: он останется осиротелый и беззащитный.

V

ЧАПАЕВ

Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.

— Здравствуйте. Я Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

— Клычков. Давно приехали?

— Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью на фронте шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли.

«Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, не большой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева.

Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. Скоро шумною ватагою ввалились приехавшие с ним ребята; закидали все углы вещами: на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же, среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелые, суровые, мужественные лица; грубые густые волосы; угловатые, неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У иных манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто они все время бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашивают, так же резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком...

От разговоров и споров загудел весь дом: приехавшие живо и всюду «распространились», только к Ежикову в комнату не попали — она была заперта изнутри.

Через две минуты Федор видел, как один из гостей развалился у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене, закурил и пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой привалился к «туалетному» слабенькому столу, и тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то овчинным грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб, и когда его стали потом есть, воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнату крепкий, здоровенный шумливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не разрастался,— гудел-гудел все с той же силой, как вначале: то была нормальная, обычная речь этих свежих степных людей. Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто подчиненный. Даже намеков нет: обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет никакой видимой привязанности одного к другому или предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайших случаях,— нет ничего. А в то же время видите и чувствуете, что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита она другими узлами, только отчеканилась она в своеобразную форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лишений и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка,— вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.

Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он не выглядел столь примитивным, не держался так, как все: словно конь степной, сам себя на узде крепил. Отношение к нему было тоже несколько особенное,— знаете, как вот по стеклу ползает муха. Все ползает, все ползает смело, наскакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг на-

скочит на осу и в испуге — чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются меж собою — полная непринужденность; могут и ляпнуть, что на ум взбредет, и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапогом, плеснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев — этих вольностей с ним уже нет. Не без боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.

Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при Чапаеве ни держались, как бы ни шумели, ни ругались шестиэтажно: лишь соприкоснутся — картина меняется вмиг. Так любили и так уважали.

— Петька, в комендантскую! — скомандовал Чапаев.

И сразу отделился и молча побежал Петька — маленький, худенький черномазик, числившийся «для особенных поручений».

— Я через два часа еду, лошади штобы враз готовы! Верховых вперед отошлешь, нам с Потаповым санки — живо! Ты, Потапов, со мной!

И властно кивнул головой Чапаев желтолицему сутулому парню. Парню было годов тридцать пять. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний кряк. При могучей, коренастой фигурище были странны мягкие, словно девичьи движенья.

Потапов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева — враз остыл, стушил, как свечу, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьезно Чапаеву в глаза ответным взглядом и глазами ему сказал:

«Слышу!»

Тогда Чапаев скомандовал дальше:

— Кроме — никого! Комиссар вот еще поедет да конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру!

— Слушай...— оглянулся Чапаев кругом и увидел, что нет, кого искал.— Да... услал же его... Ну, ты, Кочнев, иди посмотри в штабе. Если все собрались — скажешь.

Кочнев вышел. Он показался Федору гимнастом — такой быстрый, легкий, гибкий, жилистый. Короткая телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапчонка на затылке, на ногах штиблеты, до колен обмотки.

Годов ему меньше тридцати, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий и влажный, он им шмыгает и как-то все плутовски его набок искривляет. Зубы белые, волчьи, здоровеннейшие, когда смеется — хищно оскаливает, будто собираясь изгрызть в лоскутья.

Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжими бровями, пышными багровыми усами, крокодильей пастью, монгольскими скулами; как пиявка, налитая кровью, отвисла нижняя губа, квадратом выпер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне, потный и рыхлый нос. Под рыжими рогожками бровей, как угли, Чековы глаза. Широка и крута у Чекова грудь, тяжелого веса лапы-лопаты. Чекову сорок лет с пустяком.

Возился с чайниками, резал хлеб, острил впропалую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал Теткин Илья, заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый, охотник до песен, до игры, до забавы. Годами чуть постарше Петьки: двадцать шесть — двадцать восемь.

Рядом стоит и ждет терпеливо, молча, хлеба от Теткина Вихорь — лихой кавалерист, горячий командир конных разведчиков, на левой руке без мизинца. Это обстоятельство — мишень для острот:

— Вихорь, ткни его мизинцем, беспалого хрена!

— А мизинчик покажешь — цигарку дам...

— Девятипалая брында... Кобель девятиногий.

Вихоря трудно возмутить: от природы таков, всегда таков и в бою таков. Много молча может сделать человек!

Больше всех толкался, крепче всех бранился и шумел Шмарин,— в дубленой поддевке, в валенках (все зябнет, больной), с хриплым, как у Потапова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, изо всех самый старший: ему под пятьдесят.

Кучер Аверька, парнишка,— тут же со всеми, оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо у Аверьки багровое, нос — что луковица, глаза с мороза осоловелые, губы обветренные, в трещинах, на шее намотан платок,— с ним и спит.

Из вестовых постоянный и любимый — Лексей, давний знакомый Чапаеву, дотошный, изворотливый

парень. Когда что надо достать, посылается Лексей,— все добудет, все приготовит и принесет. Перекусить ли надо, чеку на повозку али ремешок к седлу, лекарства домашнего раздобыть — никого не посылают, кроме Лексея: самый ловкий кругом человек.

И что за народец собрался! Как только лицо — так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму. У каждого свое. Нет двоих, чтобы одно: парень к парню, как камень к камню. А вместе все — перевитое и свитое молодецкое гнездо. Одна семья! Да какая семья!

Вошел Кочнев:

— Командир бригады в штабе, можно идти...

Зашумело легкое шевеленье — любопытство осветило не одну пару на Чапаева устремленных глаз.

— Идем!

И Чапаев мотнул головой Потапову, ткнул пальцем Шмарину и Вихорю. Зазвенели шпорами, грузно застучали обитыми в подковы каблуками, вышли. Федор вместе с ними. Федору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивал со своею «свитой». Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска, и он вспомнил, как рассказывали про Чапаева, будто в 1918 году, во время боя, когда он был с войсками окружен, а некий комиссар порастерялся, отхлестал его Чапаев нагайкой на возу... Вспомнил — затревожило скверное чувство. Знал, что могли все это и выдумать, могли и преувеличить, тогда и времена были не те, и сам Чапаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий! Федор шел сзади, и уже одно то, что шел он сзади, было неприятно.

С командиром бригады Чапаев поздоровался наскоро, отрывисто, глядя в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом подвытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. О Чапаеве был он очень наслышан, только больше все со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае — знал про Чапаева-чудака, а дельных дел за ним не слыхал, степным летучкам про геройство чапаевское не верил.

Изо всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей «домашние», когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышался о Чапаеве страхов раз-

ных не только один комбриг. В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет?.. Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступления. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

— Циркуль.

Ему дали плохонький, оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал — не нравится:

— Вихорь, поди, у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклевывать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах.

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развертывались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.

Чапаев шел в наступление!

Когда окончил вымеривать — указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно, иной раз смеясь тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихорю, то к Потапову, то к Шмарину.

— А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет говорю?

Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присутствии, да и мало что можно было им доба-

вить: так подробно и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили:

«Чапаеву всегда не мешай... Ему вот так: «Ум хорошо, а два хуже...»

Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бранится, клянет себя. И не забыть еще ребятам одного «совещания», когда они в горячке наговорили бог знает что. Чапаев слушал, долго слушал, и даже все поддакивал:

— Так, так... Да... Хорошо... Вот-вот-вот... Оч-чень хорошо...

Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили:

— Ну, ладно,— говорит,— вот што надо делать: на все, што болтали, плюнуть и забыть. Никуда не годится. Теперь слушайте, што стану я приказывать!

И зачал...

Да так зачал, что вовсе по-другому дело повернул — и похожего не осталось нисколечко из того, про что так долго совещались.

На совещании том были все трое, помнили его, и теперь уж лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя:

«Иной раз и совет, может, следует подать, это верно, а то и словом одним беды натворишь!»

Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор: он-то не цепко еще разбирался в военных вопросах и кой-какие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял,— это уж потом, через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью, а теперь — чего же со «шляпы гражданской» было и спрашивать.

Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засматривал глубокомысленно на карту и на чертеж, то схмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный. Со стороны можно было подумать, что он тут всем равноценный собеседник. Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать вначале разговоров чисто военных, чтоб не

показаться окончательным профаном; повести с ним политические беседы, где Федор будет бесспорно сильнее; вызвать его на откровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... потом зарекомендовать себя храбрым воином,— это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом пролетит, никакая тут политика, наука, личные качества не помогут! Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и Чапаев пораскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока — пока держаться осторожно! Не были бы предупредительность и внимательность поняты и приняты за подслуживание к «герою». (Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно.) Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора, может быть, чему-нибудь у него учиться,— лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору — нини: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке, интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебрежением.

Все эти приготовления Клычкова отнюдь не были пустяками, они помогли ему самым простым, коротким и верным путем войти в среду, с которою начинал он работать, а во имя этой работы срастись с нею органически. Он не знал еще, *где* будут границы «срастания», но отлично понимал, что Чапаев и чапаевцы, вся эта полупартизанская масса, и образ ее действий — такое сложное явление, к которому зажмурившись подходить не годится. Наряду с положительными, тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и неослабно.

Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?

Федор, еще работая в тылу, слыхал, конечно, и читал многократно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался — видел, что большинство их из крестьянства и очень мало из рядов городских рабочих. Герои-рабочие всегда были в ином стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда несколько косо посматривал на полуанархические, партизанские затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться, восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда оставалась у него опаска. Так и теперь.

«Чапаев — герой,— рассуждал Федор с собою.— Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара! Да не какого-нибудь прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...

Рабочие — там другое дело: они *не уйдут никогда, ни при какой обстановке,* то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками. Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело.

А в этой вот чапаевской партизанской удали, ой, как много в ней опасного!»

При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Федора желание самым тонким способом установить свои отношения с новой средой,— с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а, наоборот, взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя — с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание...

Петька — так почти все по привычке звали Исаева — высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Потапова и сунул ему записку. Там значилось:

«Лошыди и вся готовые дылажи Василий Иванычу».

Петька знал, что в некоторые места и при некоторой обстановке вваливаться ему нельзя — и тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приемом дел отняла немного времени.

— Я командовать приехал,— заявил Чапаев,— а не с бумажонками возиться. Для них писаря есть.

— Василь Иваныч,— шепнул ему Потапов,— вижу, ты кончил. Все готово, ехать можно.

— Готово? Едем!

Поднялся Чапаев быстро со стула.

Все расступились, и он вышел первый так же, как первым вошел сюда.

На воле, у крыльца собралась толпа красноармейцев,— услыхали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году, многие знали лично, а слыхали, конечно, все до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей.

— Да здравствует Чапаев! — гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошел с лестницы.

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла.

— Товарищи! — обратился Чапаев.

Вмиг все смолкло.

— Мне некогда сейчас говорить,— еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь — прощайте!..

Раскатились новые раскаты «ура». Чапаев уселся в санки, за ним поместился Потапов. Трое конных ждали тут же. Федору подвели вороного шустрого жеребца.

— Айда! — крикнул Чапаев.

Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так шпалерами и ехали до самой окраины Алгая.

Степная снежная пустыня однообразна и скучна. В прошедшие теплые дни бугорки оплешивились было до самой земли, а теперь и их занесло; всю степь позавеяло, схрустнуло морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Потаповым сидят почти спинами один к одному, можно подумать — переругались: обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четырех шагах за повозкой поспевают всадники, ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянии, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит в карьер. И любо скакать по степи, благо конь так легок, охоч на скок.

«Завтрашним днем,— думал он, едучи зыбкой рысью,— открывается полоса боевой, настоящей жизни... И завертит-покатится она — надолго ли? Кто может знать судьбу ее? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днем, день за днем в походах проскачут, в боях, в опасностях, в тревоге... Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные палестины, кто останется здесь по черным логовам, по снежным пустырям степей?»

И полезли в голову житейские воспоминания, встали милые знакомые лица... И сам себе представлялся убитым: лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным виском. Даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный, смешком посыпал свою смерть.

Так прошло часа два с половиной. Чапаю[1], видимо, надоело сидеть недвижно,— остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.

— Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?

— Вместе,— ответил Федор и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным.

[1] Близкие часто его звали просто Чапай.

«Тряхнуть покрепче — вот и полечу,— подумалось ему.— Вот Чапаев, глянь-ка,— этот уж нипочем не выскочит».

— Вы давно воевать-то начали?

И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония: «Знает, дескать, что на фронте я только-только, ну и подшучивает».

— Теперь вот начинаю...

— А то по тылам были? — опять спросил Чапаев.

И опять вопрос язвительный.

Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву,— это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.

— По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали...— с деланной небрежностью обронил Федор.

— Это за Москвой?

— За Москвой, верст триста будет.

— Ну, и што там, как дела-то идут?

Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью, и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.

— Выходит, плохо живут,— согласился серьезно Чапаев,— а все из-за голоду. Кабы голоду не было — на-ка, да тут все и дело по-другому пошло б... А жрут-то как, сукины дети, не думают, небось, о том...

— Кто жрет? — не понял Федор.

— Казачьё... Ништо ему нипочем...

— Ну, не все же казачество такое...

— Все! — вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там... д-да!

Чапаев нервно забулькал в седле.

— Не может быть — все,— протестовал Федор.— Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами.

Да постойте-ка,— вспомнил он с радостным волненьем,— хоть бы и у нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

— В бригаде? — чуть задумался Чапаев.

— Да-да, у нас, в бригаде!

— А это, надо быть, городские... здешние вряд ли,— с трудом поддавался на доводы Чапай.

— Я уж не знаю, городские ли, но факт налицо... Да и не может быть, товарищ Чапаев, чтобы казачество, ну, *все* было против нас. По существу-то дела, этого не может быть...

— Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...

— Нет, сколько бы ни был я — все равно не поверю!

Голос у Федора был крепок и строг.

— Про отдельных чего говорить,— стал слегка сдаваться Чапаев.— Конечно, попадают, да мало...

— Нет, не отдельные... Вы это напрасно... Вот пишут из Туркестана — на целую там область казацкие полки установили Советскую власть... А на Украине, на Дону... да мало ли?

— Надейтесь, они вот покажут... сукин хвост!

— Ну, чего же надеяться, я не надеюсь,— пояснил Чапаю Клычков.— И в вашем мнении правды много... Это верно, что казачество — воронье черное, верно... Кто ж против того? Царская власть на то о них и заботилась... Но вы посмотрите на казацкую молодежь,— эта уж не старикам чета... Из молодежи-то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело, труднее мириться с Советской властью... во всяком случае, теперь трудно, пока не понял он ее... Ведь думают черт знает что про нас и всему-то верят: церкви, говорят, в хлевы коровьи превращаем, жены у нас у всех общие, жить загоняем всех вместе, пить и есть — вместе за один стол непременно... Где же тут помириться казаку, если он из рода в род привык и к церкви и к своему сытому, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной своевольной жизни?

— Иксплататоры,— выговорил с трудом Чапаев.

— Именно,— сдержал Федор улыбку.— В эксплуатации-то вся суть дела и есть. Богатые казаки эксплуатируют не только ведь иногородних или кирги-

зов, они и своим братом казаком не побрезгуют... Тут вот разлад-то и происходит. Только старики, хоть они и обиженные, помирились с этим, считают, что сам бог так устроил, а молодежь — эта проще, посмелее на дело смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Стариков — этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять...

— Оружием-то оружием,— встряхнул головою Чапаев,— да воевать трудно, а то бы што...

Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разуметь что-то надо особое под этими словами... Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьет свою мысль.

— Центры наши — вот што...— бросил неопределенно Чапаев еще одну заманчивую темную фразу.

— Какие центры?

— Да вот, напихали там всякую сволочь,— бормотал Чапаев будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал.— Он меня прежде под ружьем на морозе целыми сутками держал, а тут пожалуйте... Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, можете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками дерутся...

Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — о штабах, о генералах, приказах и репрессиях за неисполнение,— вопрос, в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву и не только Чапаевым.

— Без генералов не обойдешься,— буркнул ему успокоительно Клычков,— без генералов что же за война?

— Как есть обойдемся...

Чапаев крепко смял повода.

— Не обойдемся, товарищ Чапаев... Удалью одной большого дела не сделаешь — знания нужны, а где они у нас? Кто их, знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они и нас должны учить... Будет время — свои у нас учителя будут, но пока же нет их... Нет или есть? То-то! А раз нет, у других учиться надо!

— Учиться? Д-да! А чему они-то научат? Чему? — горячо возразил Чапаев.— Вы думаете, скажут, что делать надо?.. Поди-ка, сказали!.. Был я и сам в ака-

демии у них, два месяца болтался, как хрен во щах, а потом плюнул да опять сюда. Делать нечего там нашему брату... Один — Печкин вот, профессор есть, гладкий, как колено,— на экзамене:

— Знаешь,— говорит,— Рейн-реку? — А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?

— Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты,— говорю,— знаешь Солянку-реку?

Он вытаращил глаза — не ждал этого, да.

— Нет,— говорит,— не знаю. А што?

— Значит, и спрашивать нечего... А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... што мне твой-то Рейн, на кой он черт? А на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому што с казаками мы воюем тут!

Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и подумал:

«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенческие мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо...»

— Мало побыли в академии-то,— сказал Федор.— В два месяца всего не усвоишь... Трудно это...

— Хоть бы и совсем там не бывать,— махнул рукой Чапаев.— Меня учить нечему, я и сам все знаю...

— Нет, оно как же не учиться,— возразил Федор.— Учиться всегда есть чему.

— Да, есть, только не там,— подхватил возбужденный Чапай.— Я знаю, што есть... и буду учиться... Я скажу вам... Как фамилия-то ваша?

— Клычков.

— ...Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим... Да вон, надо быть, и Таловку-то видно...

Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали Потапова. Через десять минут въезжали в Казачью Таловку.

VI

СЛОМИХИНСКИЙ БОЙ

Казачья Таловка — это крошечный, дотла сожженный поселок, где уцелели три смуглые мазанки да неуклюже и долговязо торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами,— они прибились здесь в ожидании похода.

Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших разговору.

Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизкое чайное блюдце, сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступления. Чапаев сидел посредине лавки. Обе руки положены на стол: в одной — циркуль, в другой — отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом — то облокотились, то склонились, перегнулись над столом и все всматривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломаным шагом — маленьким белым циркулем. Федор и Потапов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу сказать, никакого совещанья и не было,— Чапаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить.

Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные указания и советы. В серьезной тишине только и слышно было чапаевский властный голос, да свисты, да хрипы спящих бойцов. Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед грязной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спросонья — не мог ничего сообразить.

— Тише ты, брюква,— погрозили парню сердито.

— Ково тише?

И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.

Парня привели в себя, дав тумака в спину; он поднялся, протер глаза, узнал, что тут Чапаев, и сам, приподнявшись кротко на носки, до самого конца

вслушивался внимательно в его речь, может и не понимая даже того, что говорит командир.

Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы. Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.

Чапаев продолжал поучение:

— ...если не сразу — не выйдет тут ничего: непременно враз! Как наскочил — тут ему некуда шагу подать... Всех отсюда спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до зари надо быть. Штобы все в темноте, когда и свету нет настоящего,— понятно?

Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:

— Поняли... Конешно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...

— Приказ у вас на руках,— продолжал Чапаев,— там у меня часы все указаны, где остановиться, когда подыматься в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не ходи лучше... Я указал только часы да места, на этом одном не победишь,— самому все надо доделать... И первое дело — осторожность: никто не должен узнать, што пошли в наступление, ни-ни... Узнают — пропало дело... Коли попал на дороге казак али киргиз, да и мужик, все одно,— задержать, не пущать,— потом разберем.

— Есть таковые,— молвил кто-то из угла.

— Есть и держи,— подхватил Чапаев весело.— Ты на него, на казака-то, оглядывайся со всех сторон. Знаешь, какой он есть: выскочил враг с-под стола... Он тута дома, все дорожки, овраги все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком... будешь сусолить, он тебя сам в жилу вытянет...

— Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной...

Деловая часть беседы кончена.

Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахару — шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным, чугунным сном, попросыпались недоуменные: кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью —

как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток минут отодвинули столик на середку, а вокруг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, приникли на полу. Церковная желтая свечушка поблескивала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да восковые пятна вместо лиц.

Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной, новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар — так что ж из того?! В военном деле он указать пока ничего не мог; политикой тут не время пока заниматься,— откуда же его и заметить? «Будет время, сойдемся,— подумал он про себя,— а теперь можно и в тени постоять».

Он даже одиноким себя почувствовал среди этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них — вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок,— и он тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова. А как они все чтили своего Чапая! Лишь только обратится к которому — обалдеет человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли похвалой подарит малой — хваленый ее никогда не забудет. Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быль сдобряя чудесной небылицей.

Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. Слушал.

Запел сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которым пел он любимые песни. Любимых было немного, всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его товарищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежели перекричит — охрипнет и дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная

обстановочка, что ему измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда,— непременно выкроит хоть десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать — не сыскать: ему песни были как хлеб, как вода. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную не отставали от Чапая.

Ты, моряк, красив собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?

Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бессодержательная. И любил ее Чапаев больше за припев — он так паялся хорошо с этой партизанной, кочевою, беспокойной жизнью:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!
Эх, по морям-морям-морям,
Нынче здесь, а завтра там!

Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу, неистово ржал над степями. Потом про Стеньку любили, про Чуркина-атамана и о том, как:

Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...

Тут пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись кто где словчился,— уснули.

Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться — чуть станет светать. Наступали с трех сторон полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре, ударял на самую станицу; два других с флангов огибали полукруг.

Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отправить вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно, и нет нигде мрачнеющих знаков близкого боя.

Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло,— нет, не уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветру, что гудит неуемно в груди в эту первую ночь перед первым боем.

Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешеченные пулями сквозь,— им что! И ничего для них тут нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких ночей отхрапели немало, эти ночи не отличимы для них от других тихих ночей. Но у каждого, непременно у каждого была здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь»! И тогда он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных противоречий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств.

Не спалось. И не только не спалось — тяжело было необъяснимой, небывалой тяжестью. Посмотрит кругом: при мертвенном взблеске церковного огарка видно, как разбросались, скорчились, перевились на полу бойцы в общей куче, без разбору.

«Так же вот на поле битвы, верно, валяются трупы, в беспорядке, в агонией скрученных позах, то грудками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулеметами бойцов».

В полумраке и лица казались бледней, как в мертвецкой, и храпы, то срываясь залпами, то раскатываясь протяжными свистками и вздохами, напоминали стоны...

Федор вышел из халупы, чувствовал, что не заснуть. Не лучше ли на ядреный воздух морозной ночи? А ночь тихая, черная, степная. Высоко в небе зеленые звезды. Ветер легкий и вольный, какой бывает только в степи.

Среди развалин сожженной станицы, под открытым небом расположился полк. Кое-где у догоравших костров можно было рассмотреть склоненные фигуры одиноко сидевших бойцов: то дежурные, то, как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей, не знающие, как перед боем скоротать ненасытное время. Они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи,— дров в степи не достать,— озабоченно шевелили уголья, чтобы не стух костер, не остаться бы в черной глухущей тьме. Там, где сомкнулись трое-четверо вокруг костра, идет возня с котелками, там варят похлебку и чай, пропадает дальним громом рокочущий хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предпоходные часы.

А ночь темнущая-темная. И строгая. Оползла кругом, опоясалась страхами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов,— они только жгуче заострили молчание степи.

В степи, у развалин, будто привиденья, ворочались плавно и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры и так же внезапно, быстро исчезали в черную бездну ночи. Во всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя!

Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в ожидании утреннего боя, все они, эти ночи, похожи одна на другую своею строгою серьезностью, своим углубленным и сумрачным величием. В такую ночь пройдешь по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданиях, об этих вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются безвестные на полях гражданской войны.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зерковые ямки, нарытые впопыхах крошечным заступом или просто отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет: они, безмолвные и недвижные, останутся лежать на пустынном поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев воронью,— такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов,— каждый из них отдал все, что имел, и без остатка и молча, без барабанного боя, никем не узнанный, никем не прославленный,— выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»

Федор увидел, как здоровенный кудрявый парень склонился над огнем, возится с картошкой, перевертывает, прокалывает ее на холодеющих угольях костра... Он нет-нет да и сунет в пепел штык, выхватит оттуда пронзенную картошку, пощупает пальцем, роб-

ко к губам ее поднесет — из огня-то! И живо отплюнет, сошвырнет с острия обратно в пепел: он весь поглощен своим невинным занятием. Верно, и у него в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспоминаний... О чем он думает так сосредоточенно, вперившись неотрывным взором в потухающий костер? Уж непременно о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фронта и к которой вернулся бы,— ах, вернулся бы с какой радостью и охотой! Да мало ли что передумает он в эту ночь?.. А вот поутру привезут его, может, сюда же — с оторванной ногой, с пробитой грудью, с расколотым черепом... И будет страшно хрипеть, медленно и напрасно, с зубовным скрежетом, распрямлять перебитые хрусткие члены, будет страшен и дик, весь залитый кровью, весь облепленный кровавыми багровыми сгустками... Снимут эту вот, кем-то нежно любимую черную шапку кудрей, обреют широкую круглую голову и станут копаться в чутком окровавленном теле стальными ножами и иглами... Брр...

А сосед, вон этот мужичок, что с рыжей бородой, уж немолод — ему под сорок годов. Тоже не без думы сидит. И ничего-то, ни словечка единого не говорят они друг с другом: оба полны своими особыми думами, у каждого теперь обостренно, учащенно пульсирует собственная, связанная со всеми и ото всех особенная жизнь... Не до разговоров — тут речь не к месту. Он сидит, рыжебородый мужичок, будто смерз и остыл в недвижной позе: руки скрестил по животу, вобрал под себя охолоделые ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру — и думает. Завтра он также, быть может, без движения останется лежать на снежной равнине, среди других, как он, трупов, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре... Только в одном, в единственном месте, около виска, снег пробуравит черною дыркой алая кровь... больше не будет кругом никаких следов.

Эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе — они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взор будет так же не-

подвижен, как теперь: мертвый, остывший взор похолоделого трупа.

Федор живо себе представил эти мертвые картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат...

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свой, товарищ...

— Пропуск?..

— Затвор...

Часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку, пожал от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.

Федор вернулся в халупу — там неистовый метался храп и свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами, изловчился, протиснулся, изогнулся, лег... Лег — и уснул.

Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали «Порт-Артуром» это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.

Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели, обернулся Чапаев к Федору:

— Началось...

— Да...

И снова смолкли и ни слова не говорили до самого поселка. Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волненьем, которое овладевает всегда при сближении с местом боя и независимо от того, труслив ты и робок или смел и отважен: *спокойных* нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть *совершенно спокойные в бою, под огнем,* — этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть *казаться* спокойным, можно держаться с достоинством, можно *сдерживать себя и не поддаваться* быстро воздействию внешних обстоятельств, — это вопрос иной. Но *спокойных в бою* и за минуты перед боем нет, не бывает и не может быть.

И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок,— оба полны были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не ужас смерти, это высочайшее напряжение всех духовных струн, крайнее обострение мыслей и торопливость — невероятная, непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот особенно спешить — этого не сознаешь и не понимаешь, но все порывистые движенья, все твои слова, обрывочные и краткие, быстрые чуткие взгляды,— все говорит о том, что весь ты в эти мгновенья — стихийная торопливость. Федор хотел что-то спросить Чапаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но увидел серьезное, почти сердитое выражение чапаевского лица и промолчал. Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли обозы; на пепелище сожженного поселка сидели кучками обозники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно так, сытно, аппетитно завтракали. Чапаев соскочил с коня, забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка, и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. Сумерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли несколько минут, и снова на коней,— поскакали дальше. Навстречу крестьянская подвода, в ней что-то лежит, укрытое старенькой, истрепанной сермягой.

— Што везешь, товарищ?

— А вот солдатика поранило...

Федор взглянул в повозку и рассмотрел под сермягой контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше.

— Тяжелый?

— Тяжелый, батюшка... И голову ему и ноги...

— Перевязан ли?

— Завязали, как же, весь укрыт.

В это время раненый застонал, медленно высунул из-под серого покрывала обинтованную окровавленную голову, открыл глаза и посмотрел на Федора мутным, тяжелым взором, словно говорил:

«Да, браток. Полчаса назад и я был здоров, как ты... Теперь вот — смотри... Сделал свое дело и ухожу... Изувечен... уж пусть другие — очередь за ними... А я честно шел и... до конца шел... Сам видишь: везут...»

Обрывки этих мыслей проскочили у Федора в голове. И было невыносимо тяжело оттого, что это *первый*... Будут другие — ну, так что ж? На тех спокойнее будет смотреть — на то и бой. Но этот *первый* — о, как тяжела ты, первая, свежая утрата!

И так же быстро, как эти мысли, промчались другие — не мысли, а картинки, недавние, вчерашние, там, в Казачьей Таловке, у костра... Быть может, он тоже, как тот, вчера только, да и не вчера, сегодня ночью, сосредоточенно пропекал где-нибудь у костра полугнилую картошку, напарывал ее на штык и вытаскивал, проверяя горячую, раскаленную... губами?

Федор поскакал догнать Чапаева, но тот, видимо, взял стороной. Они встретились только в цепи.

И впереди, к фронту, и с позиции тянулись повозки: одни со снарядами, с патронами, пустые — за ранеными, другие, навстречу им, только с одним неизменным и страшным грузом: с окровавленными человеческими телами.

— Далеко наши? — спросил Федор.

— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...

Справа за рекой Узенем стоят киргизские аулы,— казаков отсюда выбили огнем. Видно через реку, как бродят там взад и вперед дозорные — два красноармейца. Они засматривают в лощинки, проверяют за грудами камня и кизяка, не завалился ли где раненый товарищ... Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетливей рвутся снаряды... Вот уж и цепи чернеют вдали. Какие же пять тут верст? — почитай, двух-то не было. Долга, видно, показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!

Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шел командир полка, они о чем-то серьезно, спокойно говорили:

— Посылал — не воротился,— отвечал на ранний вопрос комполка.

— А еще послать,— рубанул Чапаев.

— И еще посылал — одинаково...

— Опять послать,— настаивал Чапаев.

Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом загорелось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились, как зверь в чаще.

— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.

— И оттуда нет.
— Давно?
— Больше часу.

Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял: речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выяснилось, что бойцы усомнились в своем командире — он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел. И не пошли, надолго задержались, все галдели да выясняли, пробузили самое горячее время.

Федор шел рядом с Чапаевым, лошадей вели на поводу. Тут же, неслышный, очутился Потапов, невдалеке — Теткин Илья, рядом с Теткиным — Чеков. Когда они тут появились, Федор не знал: за суматохой, когда из Таловки выехал с Чапаевым вдвоем, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они в ночи, после песен.

До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступленье остановили. Но пурга крутила недолго — через полчаса цепи снова были в движенье. Клычков с Чапаевым разъехались по флангам,— теперь они были уж в первой цепи. Показался справа хутор Овчинников.

— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указывая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...

На этот раз Чапаев ошибся: гонимые казаки и не вздумали цепляться в хуторишке, они постреляли только для острастки и дали теку, не оказав сопротивленья.

Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая широкая равнина, сюда из станицы бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему они молчат? Это зловещее молчанье страшнее всякой стрельбы. Не идет ли хитрое приготовленье, не готовится ли западня? Схватывались лишь на том берегу Узеня, а здесь — здесь тихо.

Федор ехал впереди цепи, покуривая, и бравиро-

вал своим молодечеством: вот, мол, я храбрец какой, смотрите — еду верхом перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля...

Это выхлестывало ребячье бахвальство, но в те минуты и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно: когда едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро,— об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но возможна эта лихость, конечно, только перед боем; когда открылся огонь и начались перебежки, тут долго не нагарцуешь.

Чапаев носился стремглав,— он был озабочен установкою связи между полками, хлопотал о подвозе снарядов, справлялся про обозы...

Федор проехал из конца в конец, воротился к правому флангу, слез с коня и сам пошел в цепи, держа коня на поводу. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока она молчала, шел Федор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к этаким делам: он разыгрывал чуть ли не старого ветерана, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещение,— что с «гражданской шляпы» и спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут.

Подпустив саженей на триста, казаки ударили орудийным огнем. За артиллерией с окраинных мельниц резнули пулеметы. Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охолодело, будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного отделился, приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.

Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как неживые. Так, прячась, и он перебежал раза два, а там вскочил в седло и поскакал. Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел — только отсюда, из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой, страшной опасности. Он поскакал

вдоль цепи, но теперь уже не перед нею, а сзади, помчался зачем-то на крайний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везет какое-то очень, очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу.

На пути встретился Потапов — этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, за тем же, зачем и Федор скакал на левый? Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь: за делом ли вывернулся человек или страх отшиб ему разум, и вот он тычется без толку, обалделый, в поисках спасенья. Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами:

— Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев, как его найти?

Вопросы были для отвода глаз.

Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что два эти всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников вокруг снарядами — все ближе, ближе, ближе...

Один упал саженях, может, в двадцати пяти, другой — в пятнадцати, третий — и того ближе. Ясно было: станица берет на прицел! Снаряды ложились кольцом. Кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях.

— Надо скакать! — шепнул торопливо и слышно Потапов.

Лопнул близко новый снаряд.

Федор ничего Потапову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл, прочь от цепей...

Потапов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра, за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толкался с Потаповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудящий вой несшихся снарядов, и лишь только вой этот близился, Федор пластом вмиг прилипал к обмерзшему снежному скату и так ничком лежал недвижный. Потом медленно опасливо подымал голову и, страдая, следил, не гудит ли где мимо

и близко новый. Долго ли пролежал он здесь, кто же знает? Да, именно здесь он, верно, и был бы убит шальным снарядом, изувечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но еще прежде того Федор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохшимся шепотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому:

— Где пулеметы? Где тут пулеметы?

— Какие пулеметы?

— Нам пулеметы нужны: с левого фланга казаки лавой идут...

Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в ту сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг, с холодом в груди, несущуюся невдалеке черную массу... Волосы шевельнулись на голове.

— Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он, хлестнув коня и помчался в обоз.

Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались,— чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору, и не до него, может быть, мужичкам,— смеялись и шутили они, чтобы прошли, ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди неведомо как долго. Стой и жди, с места не трогай, до приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертв. Шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз. Это только в смех говорят, будто в обозы трусов сплавляют служить.

А ты сам послужи, тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо — обоз! Хорошо солдату в цепи,— там у каждого винтовка, там грудью идут сотни и сотни разом, там у сотен этих своих впереди пулеметы, там пулеметчикам орудья брешут в подмогу. В цепи что?! Там есть о кого толкнуться, к кому пришиться, кругом — подмога в цепи. А ты огляньсь на обоз: двести возов, двести мужиков, а на двести на всех... одиннадцать винтовок! Винтовок одиннадцать, а патронов и вовсе мало. Пулемет в запасе стоит, да и тот чинить требуется. К тому же на двести — полторы сотни стрелять толком не умеют. А те, что умеют,— калеки да слабомощные; другому и винтовку в плечо

не взять, только и дела может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз! А казак обозы любит: чего же его не взять пустыми руками! И как налетела сотня — кто ж оборонит, на кого опереться, откуда подмога? Скачут казаки меж возами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат — вышибли разом казаки из рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо; обозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает!

Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно: обозный страх куда будет пострашнее того, что треплет бойца в цепи!

Горела на воре шапка, закатала-замучила Клычкова стыдобушка, не мог он с мужичками в смех, в разговор вступить, а уехать тоже — куда теперь? Так и болтался неприкаянным средь обозов часа полтора: спрашивал прикуривать, справлялся про фураж, про колесную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню: дальние, мол, али ближние? И все это не удавалось, не получалось. Слова были пустые и глупые, никому не нужные. Казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходили прочь от него небрежно и оскорбительно. Как ядовитые черви, медленно и кропотливо проползали минуты; они истерзали, изъязвили, изрешетили Федору сердце, будто мстили за трусость, за позор.

Орудия ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свисте и в реве шли веселые цепи, ободренные огнем. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья летевшей по ветру, из конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг и быстро исчезала его худенькая фигурка, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал приказанья, сообщал необходимое, задавал вопросы. И командиры, так хорошо знавшие своего Чапая, кратко, быстро сообщали нужные сведения — ни слова лишнего, ни мгновенья задержки.

— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.

— Целы! — кричал ему кто-то из цепей.

— Сколько повозок снарядных?

— Шесть...

— Где командир?

— На левом...

Он мчал на левый фланг.

Цепи кидались стремительным боем. В тот же миг срывались с цепей казачьи пулеметы. Цепи падали ниц, впивались в снежную коросту — лежали замертво, ждали новую команду.

Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно отдавал приказанья, ловил ответы.

Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи:

— Бить по мельницам!

— Все пулеметы с мельниц скосить!

— Станицу не трогать, пока не скажу!

И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче и злей заговорили орудия. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг разорвались, как лаем, сухим колючим треском: были спущены все пулеметы враз. Обе стороны крепили огонь. Но с каждой минутой ближе и ближе красноармейцы, все точней падают-рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу...

Возбужденный, с горящими глазами мечется Чапаев из конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам, и видят бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал.

— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.

— На левом...

— Много?

— Так точно...

— Пулеметы на месте?

— Все в порядке... Послали за подмогой...

И он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась опасность. Казаки несутся лавой... Уж близко, видно скачущих коней... Подлетел Чапай к командиру батальона.

— Ни с места! Всем в цепи... Залпом огонь!

— Так точно...

И он пронесся по рядам припавших к земле бойцов.

— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... подпустить — и огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!

Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с ними. И верят, что не будет беды...

Как только лава домчалась на выстрел, ударил залп, за ним другой... кинулась нервная пулеметная дрожь...

Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменно пулеметы.

Ах... ххх! Ах... ххх! Ах... ххх! — вторили четкие, резкие, дружные залпы...

Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновенье.

Ахх!.. Ахх!..— срывались сухие залпы... Еще миг — и лава не движется... Еще миг — и кони мордами повернули вспять. Казаки мчатся обратно, а им вдогонку:

Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!.. Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!

Сбита атака. Уж бойцы от земли подымают белые головы. У иных на лицах, неостывших и тревожных, чуть играет пуганая улыбка... Цепи идут под самой станицей... Чаще, чаще, чаще перебежки... Пулеметный казацкий огонь визгом шарахает по цепи. И лишь она вскочит, цепь,— бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волнующая рябь пулеметной суеты. Уж бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где за буграми, где у забора — все глубже, глубже, глубже — в станицу...

И вдруг взорвалось нежданное:

— Товарищи! Ура... ура... ура!!!

Цепь передернулась, вздрогнула, винтовки схвачены наперевес — это порывистой легкой скачью неслись в последнюю атаку.

Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте пулеметчики. По станице — шумные волны красноармейцев... Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники.

Красная Армия вступила в станицу Сломихинскую...

Жалкий и смущенный выезжал Федор Клычков из своего позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там делается, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь и вовсе стала.

«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем, может быть и иное: наши были окружены, побились-побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами. И вместе с обозом возьмут его, комиссара». О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль?

Совершенно уничтоженный сознаньем своего преступленья, он чуть рысил в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами, там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников.

За бугорком ровная долина — здесь и шла наша цепь. Но где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу Узеня? Может быть, туда загнали ее казаки? Через станицу ли сквозь прогнали?

Он терялся в догадках, в предположениях.

В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молол что-то вздорное и бессвязное. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одною болезнью.

— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.

— А вот сам ищу,— брезгливо ответил Федор и застыдился. Они друг друга поняли до самого позорного днища.

— Может, в станице уж они? — деланно зевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец.

— Может быть,— согласился Федор.

— Ну, так што же, едем, што ли?

— Куда?
— В станицу-то.
— А как там казаки?
— Едва ли... Верно, вошли... А впрочем...
— То и дело-то: попадешь в лапы — не помилуют!

В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь исподволь узнать, осторожно: кто занимает теперь станицу.

За разговорами все плыли и плыли вперед, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельницы их давно и отлично видать, что деться все равно никуда нельзя и даже в случае преследованья едва ли имелся смысл удирать: пулеметы с мельниц достанут вослед!

Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше.

Совсем неподалеку от крайних халуп увидели мальчугана годов десяти.

— Малец, эй, малец, вошла тут Красная Армия али нет?!

— Вошла,— прозвенел мальчишка весело.— А вы откуда приехали?

— Беги, беги, мальчуган, гуляй! Про военные дела рассказывать нельзя,— урезонил отечески Федор его баловливое и неуместное любопытство.

Спутник, лишь только услышал, что опасности нет, куда-то нечаянно и вмиг пропал. Клычков, спокойный, но все такой же приниженный и смущенный, въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уже не тот...

И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность

схватывать обстановку и быстро разбираться в ней... Но это пришло не сразу,— надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное.

Расспрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь,— вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали, и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причины возбужденья не в этом — не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же?

Он подъехал незаметно к штабу — к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все: Чапаев, его ребята, Ежиков. Особенно запомнился Федору Ежиков.

Он, видимо, понял, в чем дело, и встретил гуляку чуть сдержанной улыбкой:

— Тылы подтягивали... товарищ... Клычков? — А глаза золотистые и смеются-смеются у дьявола — насмехаются.

— Да... Позадержался там...— неловко пробурчал Федор и обратился к Чапаеву: — Армию известили?

— Сейчас вот собираемся... Из Уральска вести добрые — там двинули вперед, дорогу ко Лбищенску чистят...

— То-то бы дело... А нам тут как, относительно Сахарной-то?

Спросил и смутился: слова показались излишней болтовней, как и сам себе казался он здесь почти что лишним...

«Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка, через два часа пожаловал!»

Угрызения совести шерстили сердце, полымянной мукой кидались в лицо.

Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в штаб. В окно было видно, что их не пустят,— невозмутимый, усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело, узнал, что они жаловались на

новых своих гостей — красноармейцев, которые-де растаскивают имущество. Федор немедленно отправился с ними на место, расспросил, осмотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее.

Грабежи были — этого никак нельзя отрицать. Федор многократно впоследствии имел возможность наблюдать как на своих, на красноармейских, частях, так и на войсках врага. Это — нечто стихийное, с чем трудно бороться, что в корне уничтожить немыслимо, пока существует война. Военные грабежи пропадут только с войной. Это так. Однако же это вовсе не значит, будто с ними нельзя бороться уже теперь и бороться даже очень, очень успешно.

Федор наткнулся на целый ряд грабежей вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идет, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом.

— Что у тебя? Покажи.

Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу, развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пеленки, игрушки разные, тряпки, платьица...

— На что это тебе, дружина?

Молчит. Сам видит, что ни к чему.

— Зачем брал-то, спрашиваю?

— А мы все кому што: взял и понес.

— Зачем же все-таки?

— Почем я знаю...

— А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть...

— Может, оно... Пущай берет,— согласился парень без жалости.

— Не «берет», а отнести надо,— внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков.

— И отнести можно,— согласился тот.— Конешно, отнести, чего ей, бабе, барахтаться? Ты укажи, я сам снесу.

Федор узнал, где тот хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принес, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча.

Федор встретил другого. Этот голову всунул в плетеную детскую колясочку — может, в печку тащил,

а может, и просто позабавиться. Бывало и это, по-разному забавлялись.

Сгребут бывало здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого Михрютку, у которого сапожищи потяжелее да грязи на них в аршин, у которого в ляжках три пуда да полпуда в льняных кудрях,— сгребут и волокут его в такой вот что ни на есть ангельской колясочке. Визжит-брыкается Михрютка, страстным воем пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне али в городе — игра везде одинаковая. Как ни визжи, а забава состоится: в подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки веревкой заплетут, а потом выбирают, где горка покруче, да с горки его... на колесиках... кувырком!

Ха-ха-ха! То-то забава молодецкая!

И тут результат был один: колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом...

Многое разыскали, многое возвратили, станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались, жестким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдется из украденного. Что будет отобрано, все сносить в определенное место, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но... только бедноту: ни одному «буржую» чтобы не было отдано ломаного гроша. Это имущество пойдет в полковые кассы, которые создать надо теперь же, немедленно! Тех, кто сами снесут вещи, не трогать, не арестовывать... Кроме этого всего, собрать через два часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить «сам Чапаев» — так и наказывал передать: «Сам Чапаев говорить, мол, будет!»

Два часа спустя Петька Исаев докладывал Чапаеву, что собрались на площади и ждут его красноармейцы. Тут же пришел командир одного из полков,— вместе направились к площади. Командир дорогой пояснил Чапаеву настроенье бойцов.

Чапаева Федор слушал впервые. От таких ораторов-демагогов он давно уже отвык. В рабочей ауди-

тории Чапаев был бы вовсе негоден и слаб, над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись. Но здесь — здесь иное. Даже наоборот: речь его имела здесь огромный успех! Начал он без всяких вступлений и объяснений с того вопроса, ради которого созвал бойцов,— с вопроса о грабежах. Но дальше он зацепил попутно и огромную массу ненужнейших мелочей, все зацепил, что случайно пришло на память, что можно было хоть каким-нибудь концом «пришить к делу». В речи у Чапая не было даже и признаков стройности, единства, проникновения какой-либо одной общей мыслью: он говорил что придется. И все же при всех бесконечных слабостях и недостатках от речи его впечатление было огромное. Да не только впечатление, не только что-то легкое и мимолетное — нет: налицо была острая, бесспорная, глубоко проникшая сила действия. Его речь густо насыщена была искренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью. Вы слушали и чувствовали, что эта бессвязная и случайная в деталях своих речь — не пустая болтовня, не позирование. Это страстная, откровенная исповедь благородного человека, это клич бойца, оскорбленного и протестующего, это яркий и убеждающий призыв, а если хотите, и приказание: во имя правды он мог и умел не только звать, но и приказывать!

«Я,— говорит,— приказываю вам больше никогда не грабить. Грабят только подлецы. Поняли?!»

И на это приказание отозвались оглушительные, и приветственные, и благодарственные, от глубины сердца радостные крики многотысячной толпы. Был неописуемый восторг. Красноармейцы клялись, веруя в слова, честно клялись своему вождю, что никогда не допустят грабежей, а виновных будут сами расстреливать на месте.

Увы, они не знали, что это *невозможно* сделать, что с корнем вырвать это на *войне* нельзя, но клялись они убежденно, и нет сомненья, что *сократили* грабежи до последней фронтовой возможности.

Помнятся обрывки чапаевской речи.

— Товарищи! — крыл он площадь металлическим звоном.— Я не потерплю того, што происходит! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый *этой* вот расстреляю

подлеца,— и он энергически в воздухе потряс правой рукой.— А я попадусь — стреляй в меня, не жалей Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо — так разбуди. Я навсегда с тобой, я поговорю, скажу, што надо... Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — чай пить садись. Вот какой я командир.

Федору стало неловко от беззастенчивого, ребячьего бахвальства, а Чапаев, минутку подождав, крыл невозмутимо:

— Я к этой жизни привык, товарищи. «Академиев» я не проходил, я их не закончил, а все-таки вот сформировал четырнадцать полков и во всех них был командиром. И там везде у меня был порядок, там грабежу не было, да и не было и того, штобы из церкви вытаскивали рясу поповскую. Што ты — поп? Оденешь, што ли, сукин сын? На што украл?

Чапаев грозно обернулся в одну, в другую сторону, даже перегнулся назад, глянул пронзающе и быстро, словно хотел узнать среди многотысячной серой массы того злодея, о котором теперь говорил.

— Поп, известное дело, врет,— отвесил Чапаев крепкую мысль.— Он и живет обманом, а то какой же поп, коль обману нет? Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет гуся в масле жрать, только кости потрескивают. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует — этим попы и опостылели нам... Это верно, а все-таки веру чужую не трожь, она не мешает тебе. Верно ли говорю, товарищи?

Место было выигрышное. Чапаев это знал и потому именно в *этом месте* поставил свой хитрый вопрос.

Красноармейцы-крестьяне, раскаленные чапаевской речью, словно давая исход задушевному долгому молчанию, прорвались буйными криками.

Только этого и ждал Чапаев. Симпатии слушателей были теперь всецело на его стороне: дальше речь как ни построй — успех обеспечен.

— Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того все твое... Раз окончится война, куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров — сотне крестьян отдадим по корове. Отняли

одежу — и одежу разделим поровну... Верно ли говорю?!

— Верно... верно... верно...— рокотом катилось в ответ.

Вспыхивали кругом оживленные лица, рыщут пламенеющие восторгом глаза... Красноармейцы летучими обрывками слов, кивками, смешками, веселым глазом выражают друг другу острое сочувствие, согласие, довольство. Чапаев держал в руках коллективную душу огромной массы и заставлял ее мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам.

— Не тащи!..— выкрикнул он, резко поддав левой рукой. На минутку встал, не находил нужного слова.— Не тащи, говорю, а собери в кучу и отдай своему командиру, все отдай, што у буржуя взял. Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу. Ранят тебя — вот получи из этой кассы сотню рублей... Убили тебя — раз тебе на всю семью по сотне! Што, каково? Верно говорю али нет?

Тут уж случилось нечто непредставимое — восторг перешел в бешенство, крики перешли в исступленный, восторженный вой...

— Все штобы было отдано,— заканчивал Чапаев, когда волненье улеглось,— до последний нитки отдать, што взято. Там разберем, кому отдать, у кого што оставить, вам же на помощь. Поняли? Чапаев шутить не любит: пока будут слушать — и я товарищ, а нет дисциплины — на меня не обижайся.

Он закончил речь свою под отчаянные рукоплескания, под долго не смолкавшее «ура».

На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец, мигом распахнул шинель, задрал гимнастерку и быстрым движеньем расстегнул стягивавший штаны массивный серебряный казацкий пояс.

— Вот он, товарищи,— кричал парень, потрясая поясом над головой,— семь месяцев ношу... в бою достался... сам убил, сам с убитого снял... А отдаю. Не надо... на што он мне? Пущай на помощь идет на общую. Да здравствует наш геройский командир товарищ Чапаев!

Толпа задрожала в приветственных восторгах.

Федор видел, какое глубокое впечатление произвела чапаевская речь, он радовался этому эффекту, но только все тревожился вот относительно «сотни ко-

ров» да одежи, которую будут делить «пополам»; потом и с комиссиями этими полковыми тоже не все было ладно.

— Товарищ Чапаев,— обратился он,— мне охота теперь же ознакомиться с красноармейцами, да и рассказать бы я им хотел вкратце насчет нашей общей обстановки в стране, только скажите-ка им сами, что будет, мол, говорить комиссар, товарищ Клычков...

Чапаев — тут же на ящик, предупредил, и Федор стал рассказывать про борьбу на других фронтах — с Колчаком, Деникиным, со всеми вожаками белых армий. Коснулся коротко международной обстановки, остановился в двух словах на экономической жизни государства. В разных местах, как бы попутно и в виде иллюстраций, он привел чапаевские примеры, остановился на них и, не отвергая прямо, дал такие к ним «объяснения», что от положений остался только легкий душок...

Федор подходил к разрушению чапаевских положений крайне осторожно и все время подпускал выражение вроде того, что «хорошую и верную мысль товарища Чапаева о нашем *общем* имуществе враги наши истолковали бы, конечно, так, будто мы берем, тащим и делим кому и что и как вздумается... Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым, да и вы, конечно, думаете не так»,— и Федор подкапывал и сваливал с ног ту «дележку», которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Во всяком случае так можно было развить и понять его знаменитый пример: «...сотню отобранных коров мы разделим сотне крестьян — каждому по корове...» Без разъяснений такие положения оставить было невозможно.

Пребывание, правда, очень краткое, в группе анархистов, крестьянское прошлое Чапаева и удалая его натура, невыдержанная, бесплановая, недисциплинированная — все это настраивало его на анархический лад, толкало к партизанским делам.

Да, великое дело — слово: ни грабежей, ни бесчинств, ни насилий в станице больше не было.

Как только окончился митинг, Федор разыскал Ежикова и хотел с ним посоветоваться: сегодня ли создать ревком в станице или отложить до утра. Но Ежиков промычал нечто непонятное и от прямого ответа уклонился. Федор решил действовать один: опо-

вестил жителей, чтобы собрались теперь же к помещению станичного управления, пригласил с собой троих политических работников, наметил вопросы, решился сам попытать счастья в новом деле,— ревкомов в полосе военных действий ему создавать еще не приходилось. Станичников собралось немало — помещение не могло вместить пришедших. Когда Ежиков узнал, что ревком все-таки будет и без него создан, он явился сам. Федор этого маневра сразу не понял, догадался он только потом. Ежикову очень, очень хотелось собрать побольше материала о бездеятельности Федора, о его непригодности, слабости и т. д., чтобы того отозвали, а его, Ежикова, оставили комиссаром группы. Он и ревком хотел создать самостоятельно, а Федора поставить перед совершившимся фактом. Да не успел.

Собравшиеся держались неуверенно, как вообще это бывает в подобных случаях. И чему тут удивляться? Вчера были казаки, вчера собирали их здесь же и выбирали свою власть. Сегодня красные пришли, ревком назначают, а завтра, может быть, опять вернутся казаки,— что тогда? Не будут ли сняты головы у станичников, посаженных править станицей?

В ревком никто работать не шел — робели. Те, что не робели и понимали события во всей их сложной и серьезной совокупности, давно уже покинули станицу, ушли по городам, включились в Красную Армию.

Назначили в ревком своих политработников. Стали говорить о работе: что делать в первую очередь, что — во вторую, с чем можно обождать. Решили на первоначальные расходы собрать с присутствующих кто чем может, а потом с шапкой пройтись и по всей станице. Затем связаться с Уральском, получить оттуда указанья-распоряженья, а может быть, и материальную подмогу.

Федор им усердно разъяснял задачи ревкома, попутно разъяснял и задачи Советской власти. Слушали сельчане, соглашались, одобряли... В станице утверждена была Советская власть. Над крылечком казачьей управы утвержден был красный небольшой флажок.

К вечеру пустая воротилась разведка. Она тыкалась в разные стороны, вынюхивала, выщупывала, вы-

сматривала, но чижинские разливы не позволяли и думать о проезде на санях до большого Уральского тракта. Это верно, что по утрам примораживало крепко. Это верно, что степь была в рыхлом, в липком снегу. Но уж дороги приметно окисли и распустились, а теплые мартовские дни и вовсе их оплешивили. Надо было приостановить дальнейшее наступление, ждать новых распоряжений. В большом доме купца Карпова собрался весь командный состав. Чапаев приказывал расставлять охрану, подтягивать обозы, наводить порядок в советской станице... Тут же приводили пленных. Долго и безрезультатно допрашивали киргиза, захваченного в степи. Стало известным, что у Шильной Балки — селения в нескольких десятках верст — пошаливают казаки и чуть ли не заняли самый поселок; туда надо было перебросить немедленно часть имеющихся сил, и это обсуждали. Да мало ли разных дел, где про все передать!

Свисли черными туманами сумерки. Истомленные походом и тревогами отгремевшего дня, спали командиры. Заснул и Федор. Чапаев скоро разбудил его — подписать приказ. Проснулся, подписал, опять уснул. И опять разбудил его Чапаев. Всю ночь, до утра, без сна просидел этот удивительный человек. Проснется Федор и видит, как сидит Чапаев один, только светит скупая лиловая лампешка. Сидит он, склонившись грузно над картой, и тот же любимый циркуль с ним, что был в Александровом-Гаю: померит-померит — запишет, опять смерит и снова запишет. Всю ночь, до петушиного рассвета, мерил он карту и слушал молодецкий храп командиров. У дверей, сжав винтовку в руках, дремал часовой и серым лбом долбил по черному ребру штыка.

В Сломихинской пробыли четыре дня. Фрунзе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросает на оренбургский фронт. Обстановка скоро заставила изменить и это решение,— перебросили бригаду не к Оренбургу, а в Бузулукский район. Для детальных переговоров Чапаева и Клычкова Фрунзе вызвал в Самару — к себе.

Собрались в четыре минуты. Знали, что больше сюда не вернутся. Побросали в санки походные саквояжики. Не стоит на месте борзая тройка: выбрали ядреных, самолучших коней!

Аверька уже сидит, готовый в степную скачь, и вожжи подобраны, как старушечьи губы — сухо и крепко! На крыльце Потапов, Чеков, Теткин Илья, вся братва чапаевская — высыпали провожать.

— Да скорей бы нас отсюда, товарищ Чапаев...

— Как приеду, вызову враз!

Тройка тронула.

Сверкнули в снежную пыль прощальные крики. С крыльца — как в зеркальцах — плеснулась в глаза разлучная тоска. Кто-то взвизгнул, кто-то кнутом взмахнул, кто-то шапку вскинул до крыши... В серой тоске и в снежных заметах пропало крыльцо...

Степи — степи! Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые.

А по степи ветер, как вздох, ходит пахучими и холодными валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями, пропадает в чистую синь раннего мартовского неба!

От Сломихинской путь держали обратно на Александров-Гай — по тому самому пути, где шли еще так недавно с полками...

Ехали и молчали. Степь ездоку как люлька — гонит в усладный сон.

Вот уж и Казачья Таловка. Ну, давно ли здесь готовились к бою, изучали и циркулем вспарывали карту, совещались, мозговали — как бы в орех расколотить казару! И ночь — с песнями, с веселым разговором, а потом — с мертвой тишью, здоровенным храпом усталых, крепко-накрепко уснувших бойцов...

Федор припомнил костры и у костров рыжебородого того мужичка и рослого кудрявого парня, что повертывал на угольях картошку и выхватывал на штык. Где они теперь? Остались ли живы?

Так до самого Александрова-Гая — в воспоминаньях о пережитом, в отчетах перед собою за свои поступки.

В Алгае были недолго: передохнули, перекусили — и в путь. Крыли степь перекладными тройками вплоть до самой Самары.

VII
В ПУТИ

Чапаев был из тех, с которым сойтись можно легко и дружно. Но так же быстро и резко можно разлететься. Эх, расшумится, разбунтуется, зло рассечет оскорбленьем, распушит, распалит, ничего не пожалеет, все оборвет, дальше носа не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. Отойдет через минуту — и томится. Начинает трудно припоминать, осмысливать, что наделал, разбираться, отсеивать важное и серьезное от случайной шелухи, от шального чертополоха. Разберется — и готов пойти на уступки. Но не всегда и не каждому: лишь тогда пойдет, когда *захочется,* и только перед тем, кого уважает, с кем считается. В такие моменты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. На удочку шел Чапаев легко, распахивался иной раз так, что сердце видно.

Человек он был шумный, крикливый, такой строгий, что иной, не зная, подойти к нему боится: распушит-де в пух, а то — чего доброго — и двинет вгорячах!

Оно и в самом деле могло так быть — на незнакомого да на робкого. Чем в тебе больше страху, тем горше свирепеет сердце у Чапаева: не любил он робкого человека. И поглядеть со стороны — зверем зверь, а поближе приглядись — увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханью, и от этого дыханья каждый раз вздрагивает оно радостно-чутко. Присмотрись — и поймешь, что за этой пыльной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не остается, ни малого камушка у пазухи,— он все выстреливает разом, подчистую. И когда отговоришь с ним,— согласен ты или не согласен,— знаешь зато и чувствуешь, что исчерпал вопрос до донышка. Неконченных дел и вопросов с Чапаевым никогда не останется — у него всегда все кончено. Сказал — и баста!

Голову свою носил Чапай высоко и гордо — недаром слава о подвигах его громыхала по степи. Та слава застлала Чапаю глаза, перед самим собою рисовала его непобедимым героем, кружила ему голову хмелем честолюбия.

Подручные хлопцы в глаза и за глаза больше всех шумели про подвиги чапаевские. Это они первые распускали и были и небылицы, они их размалевывали яркими мазками, это они раньше всех пели Чапаю восторженные гимны, воскуряли фимиам, рассказывали про его же собственную, чапаевскую непобедимость. Когда Чапаю превосходно врали и даже льстили, он слушал охотно, облизывался, как кот с молока, сам поддакивал и даже кой-что прибавлял в речь враля. Зато пустомелю и мелкого подхалима. не умеющего и соврать путем, выгонял в момент. И впредь наказывал — не пускать к себе.

Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка: он по-детски верил слухам, всяким верил — и серьезным и пустым, чистейшему вздору.

Верил тому, что в Самаре, положим, на паек выдают по десять фунтов махорки, а вот на фронте и осьмушки нет.

Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовное пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы и что они ежесекундно нас предают врагу.

Верил тому, что снаряды, обувь, хлеб, винтовки, пополненье, чтобы там ни было,— все это опаздывает по злой воле отдельных лиц, а не из-за общей нехватки, расстройства транспорта — порчи мостов, положим, и т. д. и т. д.

Верил, что тиф заносят птицы: чем больше птиц, тем больше тифу; верил, что сахар растет чуть не целыми головами; что коня не бить — он испортится...

Чему-чему только не верил он по простоте, по чистоте сердечной!

Или вот товарища берет, ну, Потапова, что ли. Потапов — комбриг. Потапов — парень сам герой и был с Чапаевым во всех переделках, ходил в атаку не раз, не раз прострелен, контужен — одним словом, не зря комбриг.

И вот какой-нибудь случай в боях: не успел Потапов обозы стянуть в срок, не успел на помощь другой бригаде подойти, отступил, положим, на пяток верст, да с тем, чтобы десять разом нагнать, и уж кто-то шепчет доверчивому начдиву:

— Трус Потапов-то... Побежал... Зря не помог —

растерялся вовсе... Да пьянствовал, подлец, всю неделю... Против тебя, Чапаева, слово говорил... Зависть имеет...

И слушает, внимает жадно и верит доверчивый Чапай, распаляется гневом.

— Да я ему, подлецу!.. Да я голову оторву!.. Расстреляю за пьянство!.. Это што, людей у меня губить... а сам пьянствовать! А Чапаев отвечай... Позвать немедленно!

И ждет, взбесованный, когда приедет Потапов, побросав дела, услыхав про грозовье. Прискакал Потапов, в коридоре справляется:

— Сердит?

— У-ух, как сердит...

— Все на меня?

— На тебя одного...

— Поди, наговорил кто?..

— Да уж не без того...

— Ну, пронесет, бог даст...

И, наспех стянув ремни, оправив штаны, кобуру, подтянувшись по-военному, входит Потапов:

— Здравья желаю, товарищ Чапаев.

А тот и не глядит. И не отвечает. Бешеные глаза под тяжелым свесом ресниц упали вниз. Дергает усы Чапай, молчит целую минуту. А потом — как пробка выскочит из бутылки:

— Опять пьянствовать!

— Да я и не...

— Молчать! Распустились, сукины дети!..

— Товарищ Чапаев, я...

— Молчать!.. Расстрелять тебя мало, подлеца! В такой обстановке и до чего распустились, дьяволы! Это што? Это што такое? Это подо што Чапаева подвели?

Потапов молчит. Он знает, что выскочит газ — и пробку вынимай спокойно. Он знает, что выкричит Чапаев гнев свой — и притихнет. А как притихнет, тут ему и докладывай, рассказывай, как было, опровергай клевету и вздорные слухи... Сначала поартачится, все еще по упрямству не станет слушать, но ты иди, иди, иди настойчиво и прямо к цели.

Только ему краешком поколыхай ту веру и клевету — обмякнет, как ситный, посмотрит тебе ласково в глаза и скажет виновато:

— А я, понимаешь ли...

— Понимаю, понимаю...

— Да-да, так вот я, понимаешь ли... Ну, говорят, отступил... Ну, говорят, пьянство опять же...

— Ну да, ну да.

— Так я и поверил — как же не поверить? А ты бы вместо меня разве не поверил? Как же. Того гляди — тут каждый поверит!

И уж Чапаев смеется. И уж ласково треплет Чапай Потапова по плечу. Чай пить с собой усаживает, не знает, как окупить вину...

Прошло два дня, прошло три дня — случилось с Потаповым то же и так же,— так же от начала до конца будет верить Чапаев клевете и вздорному слуху, станет бушевать, кричать, грозить, а потом — потом ласкаться виновато...

Он был доверчив, как малое дитя. Оттого и сам много страдал, но перемениться не мог.

Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство.

— Никакой враг против меня не устоит! — заявлял он гордо и твердо.— Чапаев не умеет отступать! Чапаев никогда не отступал! Так и скажите всем: отступать не умею! Наутро же гнать неприятеля по всему фронту! Передать, что приказал! А кто осмелится поперек идти — доставить в штаб ко мне... Я живо обучу, как ж...у назад держать надо!

В своем деле и в своем масштабе Чапаев был большой мастер и знаток; он знал превосходно всю свою дивизию — ее бойцов, ее командиров; меньше знал и почти вовсе не интересовался политическим ее составом. Он превосходно знал ту местность, где развертывались боевые операции,— знал ее то по памяти, от юности, то от жителей, по расспросам, то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него свежая, цепкая — так все и заклещит, не выпустит, пока не надо. Знает он жителей, особо крестьянскую ширину; городом интересовался меньше; знает, что́ тут за мужик, чего можно ждать от него, на что можно надеяться, в чем опасность прогадать. Все, что надо, знал: про хлеб, про обувь, про одежду, сахар, патроны, снаряды, махорку — про все знал: ни с каким его вопросом не застанешь врасплох.

Зато вот по вопросам другого порядка — по политическим, и особенно тем, что идут за пределами дивизии,— по этим вопросам не понимал, не знал ничего и знать не хотел. Больше того: многому вовсе не верил.

Международность рабочего движения, например, он считал сплошным вымыслом, не верил и не представлял, что оно может существовать в такой организованной форме. Когда же ему указывали на факты, на газетные сведения, он только лукаво ухмылялся:

— А газеты-то — сами же пишем... Чтобы веселее было воевать, вот и выдумали.

— Да нет, тут же лица, города, числа, цифры. Тут неопровержимые факты.

— А што они, цифры,— цифру я и сам выдумать могу...

Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся.

Потом после частых и длительных бесед с Клычковым и на это он изменил свой взгляд, как изменил его на многое другое.

Дальше он считал, например, всю возню с анархистами ненужной и глупой затеей.

— Анархисту надо волю дать, он тебе вреда не принесет никакого,— говаривал Чапаев.

Программы коммунистов не знал нисколечко, а в партии числился вот уже целый год,— не читал ее, не учил ее, не разбирался мало-мальски серьезно ни в одном вопросе.

Наконец припоминается отношение его к «штабам»,— так он называл все органы, откуда получал приказы, директивы, а равно людей, патроны, одежду,— все, что полагается. Ему до конца в этом вопросе удавалось привить очень мало: Чапаев был глубочайше убежден, что в «штабах» засели почти исключительно одни царские генералы, что они «продают налево и направо», а «народ», под руководством таких вот вождей, как он сам, Чапаев, не дается на удочку и, поступая *поперек* штабных приказов, обычно не проигрывает, а *выигрывает*. Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная, и редко-редко где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из «низших чинов». Впрочем, были и такие из офицеров

(очень мало), которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался.

Не чтил и интеллигенцию. Тут ему не нравилось главным образом *разглагольствование* о делах и отсутствие видимого, *живого* дела, до которого он сам был такой охотник и мастер. Тех же из интеллигенции, которые умели *дело делать,* считал редчайшим исключением. Из этого отношения его к офицерству и к интеллигенции вполне естественно вытекало у Чапая стремление всюду поставить *своих* людей: во-первых, потому, что они — люди не слов, а дела, и надежды; во-вторых, с ними ему легче, и, наконец, как говорил он многократно:

«Учить надо крестьянина и рабочего теперь же, а учить можно только на деле... Я ему приказываю быть начальником штаба — отказывается, дурак, а сам того не знает, что для него же делаю. Прикажу, поставлю, почихает неделю, а там, смотришь, и заработает, хорошо заработает, никакому офицеру так не сработать!»

Эта линия — выдвигать повсюду своих — была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои, больше того — высоко чтившие его командиры.

Все эти особенности чапаевского характера Клычков рассмотрел довольно быстро и, рассмотрев, только больше убедился, что прежде надо завоевать у него авторитет и лишь потом перекрещивать, обуздывать его, направить на путь сознательной борьбы — не только слепой и инстинктивной, хотя бы и красочной, героической, такой шумной и славной.

Чем же завоевать авторитет? Надо взять его, Чапаева, в духовный плен. Разбередить в нем стремление к знаньям, к образованию, к науке, к широким горизонтам — не только к боевой жизни.

Здесь Федор знал свое превосходство и убежден был заранее, что лишь только удастся *пробудить,* песня Чапаева, анархиста и партизана, будет пропета, его исподволь, осторожно, но упорно будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Федора было много.

Чапаев из ряда вон, он не чета другим — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня; но... и диких коней обуздывают!.. Только надо ли? — вставал вопрос. Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравирует, играет, как многоцветный камень!

Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы.

Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит...

И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Пусть не удастся, не выйдет,— ничего: попытка не пытка, хуже все равно от этого не будет...

Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!

Только отъехали от Александрова-Гая, как в задний ряд отошли из памяти и Сломихинская, и недавний бой, и все события этих последних дней. Вставало новое — то неведомое, огромное дело, по которому спешили теперь в Самару. Они еще не представляли себе всей мучительной опасности, что создалась на колчаковском фронте, и не были осведомлены о серьезности наших последних поражений под Уфой. Но уж и без того ясно было, что не попусту вызывают их столь срочно на переговоры: подготовляется, видимо, большое дело, и в этом деле им придется играть не последнюю роль.

— Как думаете, зачем? — спросил Клычков.

— В Самару-то?

— Да.

— Перебрасывать... На другом месте нужны,— уверенно ответил Чапаев.

Точно оба ничего не знали, гадать попусту не хотели... разговор оборвался сам собой. Каждый думал втихую — бескрайные невысказанные думы...

Приехали в первое попутное село. Остановились у Совета. Крестьяне, лишь только заслышали, что приехал Чапаев, набились в избу, теснились, проталкивались, жаждая взглянуть на прославленного ге-

роя. Скоро о приезде узнало и все село. На улице все закружилось, все спешили застать, взглянуть на него. У крыльца сгрудилась многолюдная толпа: ребятишки, бабы, наползли даже седобородые, сухие, белые старики. Все с ним здоровались, с Чапаевым, как с хорошо и давно знакомым, многие называли по имени-отчеству. Оказалось, что и здесь, как под Самарой, нашлись старые бойцы, воевавшие с ним вместе в 1918 году. И плывут, плывут умилительные медовые улыбки, играют радостью серые чужие лица. Иные смотрят серьезно и пристально, словно хотят насмотреться досыта и отпечатать навеки в памяти своей образ геройского командира. Иные бабы стояли в смешном недоумении, ничего не зная и не понимая, в чем тут, собственно, дело и на кого и почему так любопытно смотрят: побежали мужики к Совету, побежали с ними и они. Мальчишки не галдели, как галдят всегда, стояли смирно, терпеливо чего-то ждали. Да и все чего-то ждали,—хотелось, видно, послушать, как Чапаев станет говорить. Отдельные, случайно пойманные слова прыгали из уст в уста по толпе. Их перевирали, их перепутывали, но гнали дальше, дальше и дальше...

— Сказал бы нам што-нибудь, товарищ командир,— обратился к нему председатель Совета.— Мужичкам же, видишь, охота послушать умную речь.

— Чего скажу? — улыбнулся Чапаев.

— А как там живут, скажи, кругом-то... Чего-нибудь да надумай...

Чапаев ломаться не любил. Охоту послушать у мужичков знал и видел сам— чего же не поговорить?

Пока запрягали лошадей, он обратился к крестьянам с речью. Трудно сказать что-нибудь про главную тему этой чапаевской речи,— он повторял самые общие места про революцию, про опасность, про голод. Но и эти слова были по душе: шутка ли, сам Чапаев говорит! С напряженнейшей внимательностью выслушали они до последнего слова замысловатую, сумбурную его речь, а когда окончил, сочувственно покачивали головами, пришептывали:

— Это вот так да!

— Ну, так ищо бы!

— Ай, и молодец!

— Много хорошего сказал, вот спасибо, братец. Вот так уж спасибо.

Сколько сел и деревень ни проезжали, Чапаева знали всюду, встречали его везде одинаково почетно, радостно, местами просто торжественно. Деревня высыпала целиком посмотреть на него, мужички вступали в разговоры, бабы охали и шептались, мальчишки долго-долго кричали и бежали за санями, когда уезжали. Кое-где произносил он «речи». Эффект и успех были обеспечены: дело было не в речах, а в имени Чапаева. Это имя имело магическую силу: оно давало знать, что за *«речами»,* быть может бессодержательными и ничего не значащими, скрываются значительные, большие дела.

Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так: случайному и подчас *глупому* слову известного и славного человека всегда придается больше весу, чем бесспорно *умному* замечанью какого-нибудь бледненького, незаметного «середняка».

На одном из перегонов разговорились про частные дела, кто откуда, чем занимался, в какой среде вырос,— словом, на темы бескрайные. Федор рассказывал про черный рабочий город, где родился, получил первые детские впечатления, понял впервые, что жизнь — суровая борьба. Потом — кочевая жизнь, и так вплоть до самой революции. Когда он кончил свою коротенькую автобиографию, Чапаев стал рассказывать о себе. Чтобы не забыть, Федор в первой же деревушке на память записал чапаевскую повестушку.

БИОГРАФИЯ ЧАПАЕВА

«...Мне Чапаев рассказывал про себя,— писал Клычков.— Верить ли — не знаю. Во всяком случае на иных пунктах берет меня сомнение, например на его родословной,— очень уж явственно раскрасил. Мне думается, что в этом месте у него фантазия, однако ж передам все так, как слышал, отчего не передать? Вреда не вижу, а кому захочется точно все установить, пусть-ка пошатается по тем местам, про которые говорю,— там сохранились у Чапая и друзья и родственные люди. Они порасскажут, верно, немало про жизнь и борьбу степного командира.

— Знаете, кто я? — спросил меня сегодня Чапаев, как сидели в санях, и глаза у него заблестели наивно и таинственно.— Я родился от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана...

Я было предположил, что он «шутить изволит», но, выждав минутку и не услышав от меня крика изумленья, продолжал Чапаев:

— Знаю, что поверить трудно, а было... все было, как есть... Он, цыган-то, увлек ее, мать, да беременную бросил — как знаешь сама. Ну, куда же бедняжке деваться? Туда-сюда, а матери не миновала. Мать-то вдовой уж была. «Дедушки» моего, губернатора, в живых тогда не стало... Приехала это к матери да тут же при родах и умерла. Я остался щенок щенком. Куда, думают, укрыть этакое сокровище? Да и придумали. Зовут это дворника, а у дворника-то брат в деревне жил,— этому брату и подарили, словно игрушку какую. Живу, расту, как все ребятишки росли. У него же своя семья в целую кучу! Раздеремся бывало, верещим — святых выноси... Про малое детство почти што и не помню ничего, да, надо быть, и помнить-то нечего — оно в деревне у всех одинаковое. А подрос к девятому году — в люди отдали, и шатался я по этим людям всю мою жизнь... Перво-наперво дали свиней пасти, и я практику на них вымыкал: большую скотину сразу не дают. Когда на свиньях наловчился, пастухом сделался настоящим, а из пастухов-то артель меня плотничья взяла, своему делу зачала учить... С ними и работал, по нарядам ходил, а потом из плотников в лавчонку угодил к купцу... Торговать учился, воровать норовился, да не вышло ничего,— очень уж не по душе был мне обман... Купец — он чистым живет обманом, а ежели обмана не будет в купце, жить ему сразу станет нечем. Вот я тогда это все и понял, а как понял, ничем тут меня. не вразумишь: не хочу да не хочу, так и ушел... Што теперь я злой против купца, так все оттого, што знаю я его насквозь, сатану: тут я лучше Ленина социалистом буду, потому што на практике всех купцов разглядел и твердо-натвердо знаю, што отнять у них следственно все, у подлецов, подчистую разделать, кобелей. Плюнул я на торговлю в тот раз и подумал промеж себя, чего же, мол, делать-то я стану, сирота? А в годах был — по семнадцатому.

Мерекал-мерекал, да и выдумал по Волге ходить, по городам народ всякий рассмотреть, да как кто живет — разузнать самолично... Купил шарманку опять же себе... И была тогда со мной *девушка* Настя... «Пойдем,— говорю,— Настя, по Волге ходить: я петь да шарманку вертеть, а ты плясать почнешь. Зато уж и в Волгу-то мы насмотримся и все города-то мы обойдем с тобой!» И пошли... В разных местах, как зима зажмет, и подолгу живали с ней, работать даже принимались на голодное живье... Да што тут за работа — услуженье одно... по зимнему делу... А как оно на апрельских зеленях покатится, солнышко, как двинет матушка льды на Каспийское море,— подобрали мы голод в охапку да берегом, все берегом, бережком... И музыка шарманная, и жаворонки поверху свистят, да Настя тут, да песня тут... Эх ты, не забыть тебя — не забуду! Ну ж и красавица ты по весне плывешь!

И вдруг опустилась Чапаева голова, стих печально веселый голос:

— Много в апрелях солнца, а кроме солнца — преет апрелем земля... И от прелости той не уберег я ее, касатку... Свернулась, как листик зеленый. И осталась пустая моя шарманка... А плясунку в Вольском на берегу схоронил... А сам цыгану шарманку загнал, и остался я будто вовсе один... Да, жисть-то, она всегда такого подбирает — подобрала и меня: царская служба к годам подошла... Коли служба подошла — служить пошел, а служить пошел — война пришла... До самых тех пор и выходу нет из-под ружья. Вот она какая...

— Вы были женаты? — спрашиваю я Чапая.— Помнится, вы что-то и насчет ребятишек...

— А, да... Я это перед войной... Это верно, что женат-то был, только недолго оно. Как германская стукнула, враз забрали... Приехал как-то на побывку — неладное говорят о жене. Я и так и не так: скажи, говорю, как это все произошло обнаковенно?

«Ни при чем,— говорит,— я, Вася, все это злой наговор людской». Так-то оно так, што злой наговор, а все же я промеж прочего и на самом деле узнал, как она в полном бесчестье происходит. Ну, што же, говорю, змея зеленая, хоть и любил я тебя, а иди же ты, сука, на четыре стороны, не хочу я больше

знать тебя в жизни. Детей же беру с собой... И больно уж обида меня взяла! Два ведь года не видел ее, а других штобы баб — пальцем не шевелил. Я никогда этого... Все ждал, што к ней ворочусь, только для нее и берег себя... Ну, и как же тут сердцем не встревожиться! Прибыл муженек, а она — вон што!

Поехал я назад, на позицию, да с горя так и лезу, так и лезу под огонь. Один, думаю, конец, раз в жизни ничего не выходит... Всех Георгиев четырех заслужил, унтером сделался, в фельдфебеля вышел, а пуля не берет... Уж и ранетый был не единожды, а все вот цел да цел... Только одна и жила беда: воевать умел, а грамоты не знаю никакой. И так-то мне тошно, стыдобушка берет, да и зависть погрызла: читают ребята, пишут кругом, а я и знать не знаю ничего... Как-то, помню, «серым чертом» прапорщик меня обозвал, а я его как шугану по-русски в три этажа,— зло уж больно взяло... Так все лычки у меня и ободрали, остался я опять на солдатском низу. Зато грамоте тут обучился: читать и писать, все как есть заучил. Дело делом, война врастяжку пошла, а вот и революция подоспела — гонют меня в Саратов, в гарнизонный полк.

Што ты, думаю, шут те дери? Кругом и разговоры умные, и знают люди, што говорят, отчего-почему движенье народа произошло, а я один того не знаю. Дай, в партию поступлю... Одного толкового человека упросил — он меня к кадетам все приноравливал, только оттуда я скоро... есером стал: робята, гляжу, как раз на дело идут... Побыл с есерами и на собрания ихние хаживал — и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где! Люди зараз всего достигают, и стеснения притом же нет никакого — каждому своя воля... А Керенский организовывал в то время добровольцев отряд, из сербов. Меня командиром ставили. Да я же его и развалил, отряд-то весь,— против Керенского сам обернул. Тогда меня, голубчика, разжаловали, в Пугачев отправили, командиром роты назначили. А времена же ведь какие тогда? В Пугачеве совнарком был свой, и председатель этого совнаркома был парень — ну, одним словом, настоящий... Я ему что-то полюбился, видать, да и мне по сердцу! Как послушаю, аж самому охота

умным жить. Он-то меня, совнаркомщик, и стал выучивать да просвещать. С тех пор уж все я по-другому разумею. Да и всю анархизму кинул — сам в большевики ступил... И книжки пошли у меня другие — читать же я больно охотник. Ту войну, как грамоте обучился, лежу в окопах и читаю, все читаю... Ребята смеяться начнут: псаломщиком будешь, мол, зачитаешься, а мне и смеху нет. Про Чуркина-атамана читал, Разина, Пугачева Емельку, Ермака Тимофеевича, доставал про Ганнибала, тоже читал Гарибальду итальянского, самого Наполеона... Я, знаете, все больше люблю, штобы воевать человек умел, да и сам бы себя не жалел, коли надо бывает... Всех я этих знаю. И к тому ж других читал... Тургенева, говорили, хорошие сочинения, да не достал, а у Гоголя все помню, и Чичкина помню... Эх, кабы мне да побольше образоваться — тут по-другому голова б работать стала. А то чего же, как есть темный человек! Был темный, темный и остался...

Да некогда было и учиться мне: на Пугачи, так и гляди, казаки наскочут... Как где надо притом же хлеб доставить али бунт какой усмирить — завсегда меня посылали.

— Здесь Чапаев?

— Здесь,— говорю.

— Поезжай.

И больше ничего: учить меня не надо, знаю сам...

Довел Чапаев свою автобиографию до самого Октябрьского переворота.

Все ли у него так рассказано, как было, откуда мне знать? Прихвастнуть любил — этот грех за ним водился,— может, и тут что приплел для красного словца... Только и приплел ежели, так пустяк какой [1].

Биография как будто самая рядовая, нет в ней ничего замечательного, а в то же время — присмотритесь: всеми обстоятельствами, всей нуждой и событиями личной жизни он толкаем был на недовольство и протест».

У Федора и еще было кое-что приписано, да мы уж остановимся на этом и рассуждения его о Чапае-

---

[1] Относительно «губернаторского» происхождения, по-видимому, сплошная выдумка, в этом все потом сомневались.

ве приводить не будем. Что у Чапаева за жизнь была после Октября, об этом сведений одинаковых нет: слишком красочна была эта полоса. Он, как вихрь, метался по степи. Его сегодня видели в одном селе, а назавтра — за сотню верст в стороне...

Казаки трепетали от одного имени Чапаева, избегали вступать с ним в бой,— так были околдованы его постоянными успехами, победами, молодецкими налетами.

До Самары ехали четыре дня. Сел и деревень по пути перевидали множество. И где бы ни произносилось имя Чапаева, оно всюду производило одинаковый эффект. Сам Чапаев держал себя с неподражаемым апломбом. Был такой случай: к какому-то селу подъехали поздним вечером, народу нет по улицам, про Совет спросить не у кого. Хотели толкнуться в избу к кому-нибудь, да вылезать неохота на морозе; поехали прямо на церковь, в расчете, что найдут Совет «там, где-нибудь на площади».

Наконец попадается встречный.

— Товарищ, где здесь Совет?

— Там вон, за оврагом...— показал он в другую сторону.

Повернули, приехали. Огромнейшее здание, похожее на сарай, старое, глухое, дикое, да и в месте совершенно диком — за оврагом, на отлете села, так, видно, что в забросе... Стучали-стучали, насилу отперли. Выходит дряхлейший глухой старикашка.

— Чего,— говорит,— надо, соколики?

— Где дежурный? — сердито спрашивает Чапаев.

— А нету никого... по домам все, тут днем только ходют... Нету никого...

— Позвать немедленно председателя...

Федор в таких случаях никогда не протестовал против настойчивости и даже резкости обращения: по тем временам особой вежливостью мало чего можно было добиться. Иной раз видят, что мямля человек, так его и метят затереть, забить, не дать ему ничего... Суровое было время, по-суровому тогда и поступать приходилось, коли хотел какое-нибудь дело делать, а не слова долбить.

За председателем послали — тот еще по дороге

от вестового узнал, что вызывает его «сам Чапаев». Подходит оробелый, снимает шапку, кланяется.

— Это што же, братец, Совет-то тебе — свинюшник, што ли? — грозно встретил его Чапаев.— Куда ты его к черту на кулички выбросил — места тебе нет посреди-то села, а?

— Да народ не дает,— робко заметил председатель.

— Какой народ? Не народ, это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем... Ишь ты, уступчивый какой...

— Да я хотел...

— Чего хотел! — оборвал Чапаев.— Тут делать надо, не хотеть... А властью называешься... Завтра же перевести Совет на площадь, занять там дом хороший и сказать, што Чапаев приказал. Понял?

— Понял,— промямлил тот.

— Я поеду обратно из Самары, смотри — если застану в этой дыре...

Бессловесный и, видимо, никчемный председатель из числа «подставных» засуетился, забегал насчет лошадей... Даже и ночевать не стали «в таком селе», ночью же укатили.

Приехали в Самару. Явились к Фрунзе. По-товарищески позвал он Чапаева и Федора зайти к нему вечером на квартиру — дотолковаться как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил о том, как решительно надо теперь действовать, какие нужны командиры по моменту... Когда Чапаев по каким-то делам отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Федора:

—Дело серьезное, товарищ Клычков... Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем — сами знаете... Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали...

Федор высказал ему все, что думал,— хорошее высказал мнение, оттенил только незрелость политическую.

— Я и сам того же мнения,— заключил Фрунзе.— Человек он, бесспорно, незаурядный... Пользу может дать огромную, только вот партизанщиной все еще ды-

шит жарко... Вы постарайтесь... Ничего, что горяч: они, и горячие-то, ручными бывают...

Федор коротко пояснил Фрунзе, что в этом направлении как раз и ведет свою работу, что симпатию и доверие Чапаева уже безусловно заслужил и думает, что в дальнейшем сойдется с ним еще ближе.

Вошел Чапаев. После короткой беседы Фрунзе сообщил ему о назначении и сказал, что ехать надо теперь же на Уральск и там ждать распоряжений, так как общий план предстоящей операции все еще довольно неясен. Простились. Ушли. Через два часа уезжали из Самары. Перед отъездом Чапаев попросил разрешения заехать в Вязовку — свое родное село; Фрунзе согласился. Поехали на Вязовку.

— У вас кто в Вязовке-то? — спросил Федор.

— Все в Вязовке... Старики там, отец с матерью — названые... Двое парнишек, девчонка — эти живут со вдовой одной... У той, видите ли, двое своих, вот вместе все и живут...

— Знакомая хорошая?

— Да, хорошая знакомая... Очень знакомая,— Чапаев хитро улыбнулся.— Друг у меня помер, а она осталась, друг-то и завещал, штобы оставалась со мной...

В Вязовке встретили с большим триумфом. Председатель Совета сейчас же созвал заседание в честь приезда дорогого гостя. Там Чапаев говорил свои «речи»... Вечером в народном доме его имени «местными силами» поставили спектакль. Играли безумно скверно, зато усердие было проявлено колоссальное: артистам хотелось заслужить чапаевскую похвалу... Переночевали, а наутро — марш в Уральск!..

Федору показалось, что с ребятишками Чапаев обходится без нежности; он его об этом спросил.

— Верно,— говорит,— с тех пор, как у меня эта щель семейная объявилась, ништо мне не мило, и детей-то своих почти што за чужих стал считать...

— А воспитывать как же станете?

— Да што же воспитывать: мне вот все некогда, тут — кто их знает как, я даже и не спрашиваю об этом... Посылаю из жалованья, и кончено...

— Да жалованья мало...

— Мало, знаю... притом еще за ноябрь с декабрем у меня не получено... Вон где ноябрь... А теперь март за половину. Не платят.

— Плохо дело...

— Каждый теперь што-нибудь теряет, товарищ Клычков, каждый,— проговорил серьезно Чапаев.— Без этого, знать, и революции быть не может: один имущество свое теряет, другой — семью, иной, глядишь, вот ученье погубит, а мы — мы и жизнь-то, может, вовсе утеряем.

— Да,— задумался Федор,— может, и жизнь... А интересно, в самом деле: конца войны нет... Все новые и новые враги со всех сторон... И кругом в опасности... Мы вот с вами долго ли наездимся вместе? А близки ведь уж и новые походы...

— И думать не думаю про это,— отмахнулся рукой Чапаев.— Кто его знает, конец-то... Иной раз в такую кашу засыпался — и выходу, кажется, нет никуда, ан, жив. Лучше не думать наперед. Я единожды к чехам в деревню по ошибке прикатил, в 1918 еще году было... Своя, думаю, да, своя деревня-то, а шоферу что! — он увезет, куда хочешь... Только въехали — батюшки: чехи! Ну, говорю, Бабаев (шоферу-то), закручивай, как знаешь, а у самого пулемет на руках... Крути, говорю, на улице, а я стрелять стану... Успеешь закрутить — спасемся, а то — поминай как звали... Он крутит, а я палю, он крутит, а я палю... Как завернул, да как даст ходу, а кавалеристов тут человек пятнадцать на нас выехало, вот и началось вдогонку-то... Обернулся я лицом назад — пыль дугой, не видно ничего, только стреляют, слышу, на скаку-то: они на нас, а я все туда да туда... Обе ленты расстрелял... Ну-ка, лопни тут шина, што от меня осталось бы?.. Чех за мою голову и тогда награду обещал: принеси, говорит, голову Чапаева, золота дадим... У меня хлопцы прочитают эти бумажки, смеются над чехом-то, а один раз написали: «Приходите, мол, к Стеньке Разину в полк, мы вам и без золота отдадим...» Написали, запечатали в письмо да мальчишке деревенскому дали отнести... У меня много бывало всяких *происшествиев.*

— И сохранен вот...— сказал Федор.— Чем сохранен: случайностью ли обстоятельств, своею ли находчивостью, кто знает? А поди, десятки раз на волоске от смерти был.

— Так вот,— отозвался охотно Чапаев,— именно десятки и есть, и даже многие десятки. Я себе все сам задаю этот вопрос: што это я какой живучий, словно нарошно кто меня оберегает? А другому, как только первая пуля полетела,— хлоп, и нет человека.

— Ну, так что же,— спросил Федор,— сами-то вы все-таки как думаете: случайность тут или другое что?

— Да нет, случайность где же — везде голова нужна... ой, как нужна голова! Ведь бывает, што всего одну минуту переждал, и нет тебя, да не одного тебя — сто человек можно загубить... Нас, сонных, чех захватил в деревне... А я на другом конце ночевал, вскочил в одних штанах, да «ура-ура»... А и нет у нас ничего — оружия-то никакого, да обрадовалась ребятня, да как кинулась — разом отняли у кого што. И не только пленных своих отняли, а ихних в плен набрали... *Находка* нужна, товарищ Клычков, без находки разом пропадешь на войне.

— А пропадать-то неохота? — пошутил Федор.

— И тут неодинаково,— серьезно ответил Чапаев.— Вы думаете, каждому человеку жизнь свою жаль? Да не только што, а и один не всегда ее любит как следует. Я, к примеру, был рядовым-то, да што мне: убьют аль не убьют, не все мне одно? Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят сколько хочешь. И жизнь свою ни в грош я не ставил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаню, на-ка, выкуси... А то и плясать начну, на бугре-то. Даже и думушки не было о смерти. Потом, гляжу, отмечать меня стали — на человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему-то, как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...

— А в дело? — спросил Федор.

— В дело? Вот вам клянусь,— горячо сказал Чапаев,— клянусь, чем хотите, што в *деле* трусом не буду никогда... Ежели в дело — тут всякие другие мысли пропадают... А вы думали — што?

— Да нет, я ничего не думал, так спросил...

— Так ли? Может, в *штабе* про меня?

Федор не понимал, о чем он говорит.

— С полковничками? — продолжал Чапаев, и в голосе чувствовалось едва сдерживаемое раздражение.— Там, конешно...

— Да нет, серьезно же говорю вам,— успокоил его Клычков,— ни с какими «полковничками» ничего я не говорил, да и чего мне?

— А то они понаскажут...

— Не любят? — спросил Федор.

— Ненависть имеют ко мне,— медленно и внушительно сказал Чапаев.— Я телеграммы да писульки им такие отсылал, что в трибунал хотели... Только вот война помешала, а то, чего доброго, и на суд попадешь. Ему там у стола сидеть — малина: полезай, говорит, на рожон... А я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь... На-ка, разыскались командиры... Патронов, коли тебе надо — так нет их, а на приказы — ишь, гораздые какие... Ну, и шил я их почем зря... Хулиган, говорят, партизан, чего с него взять...

— Так, товарищ Чапаев,— изумился Федор,— что же вы думаете, полковниками у нас, что ли, Красная Армия управляется?

— А то што?

— Да как что: а реввоенсоветы, комиссары наши, командиры красные...

— «Ревасовет», выходит, што ничего и не понимает в другой раз, а наговорят ему — и верит...

— Нет, это не то, совсем не то,— возражал Федор.— У вас неправильное представление о ревсоветах... Там народ свой сидит, и понимающий народ, вы это напрасно...

— А вот увидите, как в поход пойдем,— тихо ответил Чапаев, но в голосе уж ни уверенности, ни настойчивости не было.

Федор рассказал ему, как организовались реввоенсоветы, какой в них смысл, какие у них функции, какая структура... И видел, что Чапаев ничего этого не знал, все эти сведения были для него настоящим откровением... Слушал он чрезвычайно внимательно, ничего не пропускал, все запоминал — и запоминал почти буквально: память у него была знаменитая. Федор

всегда удивлялся чапаевской памяти: он помнил даже самомалейшие мелочи и нет-нет — ввернет их где-нибудь к разговору.

Федор любил эти долгие, бесконечные беседы. Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои — так, в разговоре с кем-нибудь посторонним, как бы невзначай. Федор видел, как тот почувствовал в нем «знающего» человека и, видимо, решил в свою очередь использовать такое общение. От вопросов об управлении армией, о технике, о науке они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности. И договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства... Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму. Не пришлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после; бывало едут на позицию вдвоем, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему.

— А мы заниматься хотели,— скажет Федор.

— Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять-то можно...— скажет Чапаев с горечью, с сожалением.

Видел Федор, как жадно ухватывался Чапаев за всякое новое слово,— а для него многое-многое было новым! Он целый год состоял в партии, кажется, дело бы ясное по части религии, а тут как-то Клычков вдруг увидел, что Чапаев... крестится.

— Что это ты, Василий Иваныч? — обратился он к Чапаеву.— Коммунист господень, да в уме ли ты? (Они уже через две недели знакомства перешли на «ты».)

Чапаев смутился, но задорно отвечал:

— Я считаю — и коммунисту, как он хочет. Ты не веришь — и не верь, а ежели я верю, так што тут тебе вреда какого?

— Не мне вред, я не про себя,— напирал Федор.— Я тебе-то самому изумляюсь — как ты, коммунист, и в бога верить можешь?

— Да, может, я и не верю.

— А не веришь, что крестишься?

— Да так... хочу вот... и крещусь...

— Ну, как же можно... Разве этим шутят? — увещевал его серьезно Клычков.

Тогда Чапаев рассказал ему «историю» из времени далекого детства и уверял, что эта именно история и дала всему начало.

— Я мальчишкой был маленьким,— рассказывал он,— да и украл один раз семишник от иконы,— у нас там икона стояла одна чудотворная... Украл и украл... купил арбуз да наелся, а как наелся, тут же и захворал: целых шесть недель оттяпал... Жар пошел, озноб, поносом разнесло, совсем в могилу хотел... А мать-то узнала, что я этот семишник украл,— уж она кидала-кидала туда... одних гривенников, говорила, рубля на три пошло, да все молится-молится за меня, чтобы простила, значит, богородица... Вымолила — на седьмой неделе встал... Я с тех пор все и думаю, што имеется, мол, сила какая-то, от которой уберегаться надо... Я и таскать с тех пор перестал,— яблока в чужом саду не возьму, все у меня испуг имеется... Под пулями ничего, а тут вот робость одолевает... Не могу...

Федор на этот раз говорил немного, а потом неоднократно подводил разговор к теме религии, рассказал о ее происхождении, о так называемом боге. Больше Чапаев никогда не крестился... Но не только креститься он перестал, а сознался как-то Федору, что «круглым дураком был до тех пор, пока не понимал, в чем дело, а как понял — шутишь, брат: после сладкого не захочешь горького...»

В результате этих нескольких бесед Чапаев совершенно по-иному стал рассуждать о вере, о боге, о церкви, о попах; впрочем, попов он ненавидел и прежде, только крошечку все-таки и насчет них робел думать: все казалось, что «к богу они поближе нас, хоть и подлецы порядочные».

Чем дальше, тем больше убеждался Федор, что Чапаев, этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан, может быть, как ребенок, прибран к рукам: из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы — только осторожно, умело надо подходить к этому, знать надо, что «примет» он, чего сразу не захочет принять... Основная плоскость, на которой можно было его особенно легко вести за собою,— это плоскость науки: здесь он сам охотно, любовно шел

навстречу живым мыслям. Но и только. В другом — неподатлив, крепок, порою упрям. Условия жизни держали его до сих пор «в черном теле», а теперь он увидел, понял, что существуют новые пути, новое всему объяснение, и стал задумываться над этим новым. Медленно, робко и тихо подступал он к заветным, закрытым вратам, и так же медленно отворялись они перед ним, раскрывая путь к новой жизни.

VIII
НА КОЛЧАКА

Ожидая распоряжений, в Уральске пробыли десять дней. Тоска была мертвая, дела никакого. Толкались в штабе Уральской дивизии, стоявшей здесь, поддерживали связь с бригадой своей дивизии,— эта бригада в те дни еще не переброшена была в Бузулукский район. Скучали — мочи нет. Только один раз, и на самое короткое время, увиделся Федор с Андреевым,— тот почти непрерывно разъезжал по фронту и в Уральск заглядывал только налетами. Он осунулся, пожелтел, глубоко ввалились и казались почти черными его чудные синие глаза — видимо, что недосыпал часто, много волновался, а может, и с питанием не все было ладно. Клычков его встретил в коридоре штадива, совершенно одетого, готового к отъезду, несмотря на то, что приехал он сюда всего полчаса назад. Друг на друга посмотрели долгим, испытующим взглядом, как будто спрашивали:

«Ну, что нового дала тебе эта новая жизнь: что приобрел и что потерял?»

И, кажется, оба заметили это *новое,* что ложится неизгладимой печатью на взгляд, на лицо, на движенья у того, кого уже коснулась боевая жизнь.

Поговорили на ходу всего несколько минут и распрощались до новой встречи...

Чапаев нервничал выше меры — он без дела всегда был таков: как только на день, на два бывало придется остановиться и ждать чего-нибудь, Чапаева не узнать. Он в таком состоянии привязывается ко всем

безжалостно, бранится по пустякам, грозит наказаниями...

Внутренняя сила, его богатая энергия постоянно ищет выхода, и когда нет ей применения в делах, она разряжается по-пустому, но разряжается непременно.

Уральская дивизия в это время фронт свой имела где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо: без больших поражений, но и без значительных побед. Вдруг — несчастье: в неудачном бою погибло что-то очень много народу. Фронт за Лбищенском колыхнулся. Новоузенский и Мусульманский полки были растрепаны; им на помощь срочно послали куриловцев. Целая катастрофа. И все так неожиданно. Как гром среди ясного неба. Не ждали, не предполагали, не было никаких признаков. Начальник Уральской дивизии — хладнокровный, испытанный командир,— и тот растерялся, не сразу освоился с происшедшим, не знал вначале, что надо предпринять. Советовался с Чапаевым, вместе порешили — как быть.

Но восстановить фронт уже не удалось,— Уральск вскоре был окружен кольцом и в этом кольце продержался целые месяцы.

Как только получена была весть о катастрофе и передана в центр, Фрунзе приказал немедленно особой комиссии расследовать причины поражения; в комиссию входил и Чапаев, председателем назначили Федора. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство поручено не ему, а комиссару, но это сказалось лишь потом. Чапаев и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, может быть, не меньшую, если не бóльшую роль могли играть обстоятельства политические; так, видимо, взглянул на дело центр, потому и поручено всем делом руководить Клычкову.

Приступили немедленно к собиранию всяких материалов, документов, копий различных приказов и распоряжений, сводок, телеграмм... Чапаев взял у Федора бригадный приказ, который говорил о столь неудачном наступлении на поселок Мергеневский,— в этом приказе была канва для объяснения происшедшего, поэтому значение приказу Клычков придавал исключительное. Чапаев внимательно его рассмотрел,

составил «критическое свое мнение», сидит, диктует машинисту. Входит Федор.

— Рассмотрел приказ-то, Василий Иваныч?

— Ну, рассмотрел. Так што же?

— Я над ним тоже подумал довольно... обсудим,— предложил Федор.

— Можно прочитать, вот напечатано...

В голосе и манере Чапаева чувствовались плохо скрываемая небрежность и какое-то недовольство, пока совершенно непонятные Федору.

— Прочитай-ка,— заметил он,— потолкуем, может, изменения какие внесем...

— Да уж без изменений,— отрезал Чапаев.— Ты у себя изменяй, а я как написал, так и отошлю.

— Это почему? — изумился Федор и почувствовал, как его больно кольнул этот недружелюбный ответ.

— Да потому... Раз «председатель», так свое мнение и докладывай... А я «спец»... Я только «спец»...

Он дважды с обидой выговорил это слово.

— Ну, чего ты молотишь? — обиделся Федор.— Чего молотишь зря? Разбиваться-то зачем: обсудим вместе, вместе и отошлем.

— Да нет уж,— упирался Чапаев.

Клычкову не хотелось дальше толочься на этом вопросе.

— Ну, читай,— опустился он на стул.

Чапаев прочитал свою критику на бригадный приказ Уральской дивизии,— разбор был довольно толковый, тщательный, серьезный. От обсуждения Федор уклонился — мнение свое решил послать отдельно.

— Как скажешь? — спросил Чапаев.

— Да хорошо, по-моему,— сквозь зубы процедил Федор.

— А то плохо? — повысил вдруг тон Чапаев.— Плохо-то плохо, да не у меня... да! Мы знаем, што делаем, а вот там финтифлюшки разные... шкура поганая!..

Федор не понял, по чьему адресу отливает Чапаев такие эпитеты.

— Стервецы...— продолжал он со злобой.— Затереть человека хотят... Ходу не дают... Ну, мы управу найдем, мы о себе скажем!..

Это Чапаев измывался по поводу «проклятых штабов», которые считал скопищем дармоедов, тру-

сов, карьеристов и всяких вообще отбросных элементов...

— Постой, Чапаев, чего ты срамишься? — полушутя обратился к нему Федор.— Ни с того, ни с сего — какого черта? Белены объелся, что ли?

— Давно объелся, давиться начал,— и в голосе Чапаева послышалась укоризна.— Давиться... Да... А взять-то нечего... У меня, брат, никуда не подкопаешься, Чапаев своему делу хозяин...

— Про что ты?

— Про то, все про то, што в академьях мы не учены... Да мы без академьев... У нас по-мужицки и то выходит... Мы погонов не носили генеральских, да и без них, слава богу, не каждый такой *стратех* будет...

— Не хвались, не хвались, Василий Иваныч, это тебе не к лицу... Пусть тебя другие... А сам-то...— И Федор приложил палец к губам. Давешнее неприятное чувство так и подмывало его чем-нибудь язвнуть Чапаева, так сказать, отомстить ему. Чем же? А самым уязвимым местом, знал Федор, является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблестей, способностей, военного таланта, особенно если к этому подпустить что-нибудь о «штабах». Момент был таков, что даже и бередить не приходилось,— Чапаев был уже неспокоен без того.

— Молчи лучше насчет стратегии-то,— выпалил Федор.

— Што же это молчать? Молчи сам,— негодующе передернулся Чапаев.

Переломив себя, стараясь казаться совершенно спокойным, Клычков сказал ему тихо:

— Вот что, Чапай... Ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только! Будем откровенны. Имей мужество сознаться сам: по части военной-то мудрости слаб... Ну, какой ты стратег? Посуди сам, откуда тебе быть-то им?

Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза.

— Стратег плохой? — почти крикнул он на Федора.— Я плохой стратег? Да пошел ты к черту после этого!

— А ты спокойнее,— злорадствовал Федор, довольный, что хоть немножко пронял его за живое,—

чего тут нервничать? Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии,— да пойми ты, что всему этому учиться надо... А тебе некогда было, ну, не ясно ли, что...

— Ничего мне не ясно... Ничего не ясно...— оборвал его Чапаев.— Я армию возьму и с армией справлюсь.

— А с фронтом? — подшутил Федор.

— И с фронтом... А што ты думал?

— Да, может быть, и главкомом бы не прочь?

— А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкну — и справлюсь. Я все сделаю, што захочу, понял?

— Чего тут не понять.

У Федора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которою ставил он вопросы,— эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьезно.

— Что ты веришь в силы свои, это хорошо,— сказал он Чапаеву.— Без веры этой ничего не выйдет. Только не задираешься ли ты, Василий Иваныч? Не пустое ли тут у тебя бахвальство? Меры ведь ты не знаешь словам своим, вот беда!

Еще больше возбудились, заблестели недобрым блеском глаза: Чапаев бурлил негодованием, он ждал, когда Федор кончит.

— Я-то!..— крикнул он.— Я-то бахвал?! А в степях кто был с казаками, без патронов, с голыми-то руками, кто был? — наступал он на Федора.— Им што? Сволочь... Какой им стратег...

— А я за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я сволочь? — изловил его Федор.

Чапаев сразу примолк, растерялся, краска ударила ему в лицо; он сделался вдруг беспомощным, как будто пойман был в смешном и глупом, в ребяческом деле.

Федор умышленно обернул вопрос таким образом исключительно в тех целях, чтобы отучить как-нибудь Чапаева от этой беспардонной, слепой брани в пространство... И не только потому, что это «нехорошо», а все это было для Чапаева крайне опасно: услышат недруги, запомнят, а потом со свидетелями да с документами припрут его к стене — деться будет некуда,

сквернейшее создастся положение. А у Чапаева сплошь и рядом можно было слышать, как он косит сплеча и штабы, и реввоенсоветы, и ЧК, и особые отделы, и комиссаров — всех, всех, кто по отношению к нему может проявить хоть малейшую власть. Шумит, бранится, проклинает, грозит, а все впустую: объясни ему, и все поймет, согласится, даже отступится иной раз от своего мнения — хоть медленно, туго и неохотно. Отступать не любил даже в том, что сказал. Говоря к слову, он и приказов своих никогда не менял; в этом заключалась их особенная, убеждающая сила.

Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Федор решил процесс *обучения* довести до конца, уйти и оставить Чапаева в раздумье:

«Пусть помучится сомнениями, зато дольше помнить будет...»

И когда Чапаев, оправившись немного от неожиданности, стал уверять, что «не имел в виду... говорил только о них» и так далее, Федор простился и ушел.

Когда в полночь Клычков возвратился, он в комнате у себя застал Чапаева. Тот сидел и смущенно мял в руках какую-то бумажонку.

— Вот, почитайте,— передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку. Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на «вы». Федор это заметил теперь в его обращении, то же увидел и в записке.

«Товарищ Клычков,— значилось там,— прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет, о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла, а если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняясь вашим присутствием, и говорю все, что на мысли против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас, как друга. Чапаев».

Вот записка. От слова до слова приведена она, без малейших изменений. Последствия она могла иметь самые значительные: рапорт был уже готов, через ми-

нуту Чапаев показал и его. Если бы Федор отнесся отрицательно, если бы даже промолчал, дело передалось бы «вверх», и кто знает, какие бы имело последствия? Странно здесь то, что Чапаев совершенно как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы — все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера: без оглядки, сплеча, в один миг приносить в жертву даже самое дорогое, даже из-за совершенной мелочи, из-за пустяка.

А подогреть в такой момент — и «делов» еще, пожалуй, наделает несуразных.

Прочитал Федор записку, повернулся к Чапаеву с радостным, сияющим лицом и сказал:

— Полно, дорогой Чапаев. Да я не обиделся вовсе, а если расстроен был несколько, так совсем-совсем по другой причине.

Федор промолчал и лишь на другой день сказал ему про настоящую причину.

— Вот телеграмма,— показал Чапаев.

— Откуда?

— По приказу из штаба выезжать надо завтра же на Бузулук... В Оренбург не едем... Кончить все дела и ехать...

Подумали и порешили до утра не откладывать, а прикончить все теперь же и ночью выехать,— окончательный разбор неудачной операции Уральской дивизии все равно в один день не закончить: надо выезжать на место, достать еще некоторые документы и т. д. Решено. Сейчас же в штадив. Вызвали кого было надо. Переговорили. Через полтора часа уезжали из Уральска в Бузулук.

В те дни на пути к Самаре творилось нечто невообразимое. К Кинелю то и дело мчались и ползли составы от всех сторон: от Уфы и Оренбурга, ближние и дальние, одни с войсками, со снарядами, с провиантом, бронепоезда. Другие — встречные: то пустые поезда, то санитарные, и опять составы с войсками, войсками, войсками... Тянулись обозы с Уральска, и оттуда шли войска.

Совершалась спешная перегруппировка, перебрасывались огромные массы, вводились новые и свежие, отводились в тыл потрепанные, деморализованные,

временно непригодные к делу. Колчак уже взял Уфу и приближался к Волге. Обстановка создавалась грозная, Самара была под ударом; вместе с нею под ударом были и другие крупные поволжские центры. Обстановка допускала возможность отхода на Волгу. Это был бы тяжкий удар для России. Красное командование не хотело этого отхода, горячо взялось за оборону, во что бы то ни стало решилось устоять, переломить создавшееся положение, вырвать у врага инициативу и погнать его вспять от центра Советского государства. В Бузулукском районе готовился мощный кулак: отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чапаевской дивизии поручалась большая задача — ударить Колчака в лоб и, в кругу других дивизий, гнать его от Волги, имея ближайшей целью захват Уфы.

Кроме тех частей, что двигались от Сломихинской, кроме действовавшей под Уральском и спешно переброшенной к Бузулуку, в район Сорочинской, бригады Сизова — талантливого молодого командира,— в 25-ю дивизию включалась бригада под командой какого-то офицера, через две недели перебежавшего к белым. В этой бригаде, сгруппированной неподалеку от Самары, в районе Кротовки, находился и Иваново-Вознесенский полк.

Колчак двигался широчайшим фронтом на Пермь, на Казань, на Самару,— по этим трем направлениям шло до полутораста тысяч белой армии. Силы были почти равные: мы выставили армию, чуть меньшую колчаковской. Через Пермь и Вятку метил Колчак соединиться с интервентами, через Самару — с Деникиным; в этом замкнутом роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию.

Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре: здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколочены его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника — ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали

полки Каппелевского корпуса — цвет и надежда белой армии; они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, встречаемая торжественно измученным и разоренным населением.

Железнодорожные станции и полустанки похожи были на бутылки с муравьями: все ползут, спешат, сталкивают один другого, срываются, подымаются и снова спешат, спешат, спешат... Приходили поезда — с них соскакивали, как сумасшедшие, целые толпы красноармейцев, мчались в разные стороны, гурьбой сбивались у маленьких кирпичных сараюшек, выстраивали очереди, звенели чайниками, торопились, бранились, негодовали, топтались на месте, ожидая кипятку; другая половина ударялась врассыпную по станции и окрестному поселку, закупала спички, папиросы, воблу — что попадало под руку, выпивала у торговок молоко, закупала хлебища, хлебы, хлебцы и хлебушки... Никогда не убывающей и отчаянно протестующей толпой хороводились у коменданта, проклинали порядки и непорядки на чем свет стоит, костили трижды несчастного коменданта, просили невыполнимого, клялись несуществующим, ожидали несбыточного: то требовали немедленно «бригаду», машиниста ли, паровоз ли новый, теплушки другие или обменять теплушки на классные... Когда в комендантской сообщали, что «нет, нельзя, не будет», к буре протестов и оскорблений присоединялись угрозы, клялись отомстить самолично или наслать какого-нибудь своего грозу-командира.

Вдруг звонок.

— Который?

— Третий.

И целая ватага протестантов как оголтелая срывается от комендантской решетки и мчится куда-то по путям, сбивая встречных, вызывая то изумление, то проклятия и угрозы.

Три звонка... Свисток... Эшелон трогается — и вот еще долго ему вдогонку мчатся партиями и в одиночку отставшие красноармейцы, повисая на подножках, ухватываясь за лесенки и приступки, взбираясь на крыши. Или, измучившись, махнув рукой, присядут на рельсах, усталые, и будут болтаться до нового попутного состава — может, день, а может быть, и два, кто

знает, сколько? — одного состава не заметил, другой не взял, третий ушел перед носом...

В теплушках тьма: ни свечки, ни лампы, ни фонарика. На голых досках, замызганных лаптями, грязными сапогами, сальными котелками, политых щами и чаем, заплеванных, забросанных махорочными цигарками, лежат красноармейцы. Долги ночи — долго лежать во тьме, в холоде, чуть укрывшись дрянной дырявой шинелишкой, ткнув в изголовье брезентовую сумку. На станциях долго таскают взад и вперед, переставляют, передают, с кем-то соединяют, от кого-то отцепляют, немилосердно бьют буферами, до содрогания мозгов... Кричат и бранятся в темноте какие-то люди с крошечными ручными фонариками... Где-нибудь на далеких задних путях поставят «отстояться». А там сгрудились такие же составы, и в них также битком набиты красноармейцы,— выглядывают из верхних крошечных оконцев, соскакивают, выбегают, залегают, карабкаются вверх. Движение около «замороженного» эшелона всегда идет круглые сутки: одни торопятся «по делам», другие просто побегать — согреться, третьи высматривают, где плохо спрятаны шпалы, дрова, ящики,— все, чем можно топить, иные «так себе» болтаются совершенно безмятежно целую ночь около станции и ищут, не будет ли каких приключений.

После многих дней пути, после долгих мытарств, изнурительных стоянок, скандалов, может быть, драк и даже перестрелки — приехали! В широко распахнутые двери теплушек живо выбрасываются вещи; накидают их высокую груду, двоих со штыками оставят сторожить, остальные — в подмогу... Там сводят по подмосткам коней, спутывают, увязывают, сгоняют табуном, окружают, сторожат — не разбежались бы. Медленно скатывают орудия, повозки с разным имуществом, автомобили — все, что имеется.

Готово! Опорожненный состав, как сирота, смотрит пустыми, теперь еще более холодными теплушками. Гвалт, перебранка, путаница, неразбериха, случайная, разрозненная команда, которую никто еще не слушает. А вот настоящая:

— В поход!

И начинается беганье — заботливое, торопливое, разыскиваются роты, взводы, отделения... Наконец

все построено... Тронулись. И заколыхались рядами — широкими, стройными, застучали, загремели повозки, заржали, зафыркали отстоявшиеся кони, залязгало оружие, то здесь, то там срывается случайный выстрел. Первые версты — ровными рядами, первые версты — бодро и четко, со звонкими, сильными песнями, а дальше... дальше отсталых, перемученных больных посадят на повозки, перепутаются ряды, и не слышно больше песен: теперь только бы на отдых поскорее... Вот он и отдых, привал: одни через минуту будут молодецки храпеть в мертвом сне, другие, неугомонные, и теперь останутся песни петь, гармонику слушать, плясать плясовую — вприсядку, с гиканьем «под орех»... С привала до привала, с привала до привала и — в окопы.

Начинается боевая жизнь.

Бригаду, что пришла к Бузулуку, получил Потапов; Сорочинской командовал Сизов, а Шмарину, несколько позже, вручили ту, из которых к белым убежал ее бесславный командир. Дивизия сосредоточилась. Сосредоточились другие дивизии, сосредоточились, нацелились армии, замер весь фронт в ожидании первых ударов.

«Быть или не быть» — вот какую цену этим первым ударам придавали многие в ту пору.

«Если не вырвем инициативу, если будем отброшены за Волгу и Колчак замкнет на юге и севере роковое кольцо (а это так возможно) — быть или не быть тогда Советской России?»

Да! Все опасности эти были тогда серьезнее и ближе, чем многие думали. Вятка, Казань, Самара, Саратов уже захлестывались первыми брызгами огромной белогвардейской волны.

Путь на Самару у Колчака был самый желанный, самый важный, самый серьезный: отсюда ближе всего к сердцу России.

Недаром на вагонах у него значилось:

«Уфа — Москва».

Передовые разъезды уж близко показывались под Бузулуком — в последние дни потерян был и Бугуруслан. Все напряженней обстановка, все ближе враг, все опасней положение.

Кое-что у нас еще не готово, не все подвезли, не все в сборе, не хватает снарядов, неудобна весенняя

распутица, да некогда ждать, каждый день сгущает тучи, близит страшную, черную грозу...

Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью Красная Армия... Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий... Ждет сигнала... По этому сигналу — грудь на грудь — кинется на Колчака весь фронт и в роковом единоборстве будет пытать свою мощь...

28 апреля... незабываемый день, когда решилось начало серьезного дела: Красная Армия пошла в поход на Колчака.

IX

ПЕРЕД БОЯМИ

Бузулук и не думал эвакуироваться. Все поставлено было на ноги: готовились к схватке. Партийный комитет, исполком, профессиональные союзы сомкнулись вокруг стоявшей здесь дивизии, отдавая все силы Красной Армии. Суровый лозунг «Все для фронта» осуществляли здесь настойчиво — вероятно, таким же образом, как сотни раз осуществлялся он в других осаждавшихся центрах.

Бузулук был под ударом; неприятельские разъезды показывались всего в нескольких десятках верст от города. Сюда бежали со всех концов, а главным образом со стороны Бугуруслана, одиночные советские и партийные работники, которых не успели захватить колчаковские разъезды, не успела выдать своя сельская белая шкура. Многие тут же вступали в армию рядовыми бойцами, потом доходили с победоносными полками до своих сел и снова брались за работу, а иные уже не оставляли полков и уходили с ними в безвестную даль — бойцами, рядовыми красноармейцами.

В атмосфере, насыщенной нервными настроениями, кровью и порохом, чувствовалось приближение целой эпохи, новой полосы, большого дня, от которого начнется новое, большое расчисление. Отдавались последние подготовительные распоряжения, все напрягалось, собиралось, устремлялось к единой цели. В городке, обычно таком скромном и сонном, засвистели

трепетные мотоциклы, проносились автомобили, по всем направлениям скакали конные, проходили четким и сильным ходом колонны бойцов.

Штаб дивизии помещался на углу двух главных улиц: в этом центре оживление не уменьшалось ни ночью, ни днем,— здесь, как в фокусе, собиралась и отражалась вся напряженная, шумная и торопливая жизнь последних дней.

Чапаев с Федором, тесные друзья и неразлучные работники, у себя на квартире были редко: жизнь проходила в штабе. Из центра то и дело поступали приказы и распоряжения; с мест, от своих частей, тоже приходили разные сведения и запросы, шли бесконечные «собеседования», по телефону, по прямому проводу... Самыми долгими и самыми скандальными переговорами были, конечно, те, что кружились около всяких нехваток. Но в ту пору нехваток было столько, сколько и самих вопросов, поэтому отношения с частями (да и с центром) обычно проходили в повышенных тонах и полны были то уверениями, то просьбами, то угрозами «дать делу совсем иной ход». Чапаеву думалось, что стоит только нажать на «разные там совнархозы» — и мигом появится в изобилии все необходимое. Увидит он или узнает про какие-нибудь два-три десятка телег, про четыре бочонка колесной мази, узнает, что где-нибудь на складе хранится аршин полтораста сукна, сколько-нибудь шапок, валенок, полушубков,— и мечет громы-молнии, домогается, чтобы все это было отдано в армию. Лозунг «Все для фронта» он понимал слишком уж буквально. И думалось Чапаеву, что этими крохами и лоскутьями можно будет накормить и прикрыть всю нашу многомиллионную армию. Об экономической разрухе и неизбежных недостатках он говорил многократно, а вот представить себе дело в его конкретной сущности, видимо, еще не мог, не умел и выводов из слов своих не сделал никаких. От претензий и легкомысленных попыток его обычно отговаривал Клычков и, надо сказать, отговаривал без большого труда: Чапаеву всегда было достаточно привести пару серьезных доводов, для того чтобы он с ними молча согласился.

Молча, только молча! А чтобы отказаться от слов своих, взять их обратно, признать неправильным что-

нибудь и открыто *заявить о том,*— ну, уж этого не ждите, этого Чапаев не сделает никогда! Больше того, ему и самые доводы должны быть представлены категорически и убедительно,— он терпеть не мог стонущих и мямлящих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою ни означали.

Любил человек сильное, решительное, твердое слово. А еще больше любил решительное, твердое, умное дело!

Через два дня бригада Сизова выступила в поход. Надо было ее навестить: стояла от Бузулука всего в сорока верстах.

Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность спокойно мыслить и говорить, в двадцать два года казавшийся стариком — таков был командир бригады Сизов.

Он еще в 1917 году бросил в деревне свое незамысловатое хозяйство и поступил в Красную Гвардию. Скоро судьба столкнула его с Чапаевым, которому пришелся Сизов по душе умной речью, быстрым делом и поразительной смелостью, доходившей до безрассудства. Чапаев назначил его командиром пешей разведки. И были случаи, когда втроем-вчетвером подбирался Сизов к спящим казакам, а чаще всего — к чехословакам. Откроет пальбу, нагремит, обезоружит и пригонит, глядишь, разом десятка полтора. Этих дел за ним числилось множество — таких же лихих, фантастических операций, которые выделывал и так любил сам Чапаев. На Иргизе, в Гусихе, в бою с чехами Сизову пробило ногу: похворал-похворал, отлежался. Чуть рана поджила — он опять в строй. Побыл недолго — в новом бою пробило руку. И не страшна была рана, не пугали операция, боль, мучительное лечение — это все бы пустяки, а вот жалко оставлять боевых товарищей. И тут не долежал — воротился раньше времени.

Непрерывные жаркие бои на Уральском фронте отняли последние силы, растрепали и без того слабые нервы. Его мускулистое загорелое лицо то здесь, то там подергивается нервной рябью; широкие ноздри дрожат, как у дикого зверя; растрепались мочальные русые волосы, испачкан чернилами красный — увы, уже морщинистый — высокий лоб; сухим, металличе-

ским блеском горят воспаленные серые глаза; на широких, рабочих ладонях — заскорузлые мозоли, ворот рубахи все время отстегнут, как будто жарко, душно ему; голос нервный, дрожит в разговоре, срывается на высокий, пронзительный фальцет. Когда говорит Сизов, с ним говорит весь его худенький, мускулистый, упругий организм: в такт сюда и туда подергивается голова, топают ноги, стучат кулаки. Сизов себе цену знает и в обиду себя никогда, никогда никому не даст, даже своему командиру.

Его коснулась и разбередила стихийная и какая-то сказочная слава, которая выпала в степях на долю Чапаева. Закружилась от зависти голова, захватило от жарких надежд и желаний дыханье.

«А отчего бы и мне не быть Чапаевым?»

И он все время был полон этим чувством, которое отымало теперь в их встречах и искренность и теплоту, омрачало так еще недавнюю чистую дружбу. Чапаев чувствовал в Сизове эту перемену, но никогда не согласился бы отпустить его от себя: он знал, что на таких Сизовых родилась, держится и ширится его личная слава. А Сизов не оставил бы Чапаева за славу, лучи которой падали и на него, за широкий путь, который тот открыл перед ним и на который увлекал за собою в неудержимом красочном порыве.

Встретились приятельски. Не пропустив ни одной минуты — сейчас же за стол, к карте, к приказам, прямому проводу, телефону... Гонцов за командирами полков, за начхозами, врачами, комиссарами... Картина установлена точно. Как будто все-все теперь предусмотрено, ничто не должно сорваться, только бы разыграть все, как по написанным нотам... Надо быть большим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам! Сизов был мастер на этот счет выдающийся, и уже через три дня слышно было, как он искалечил целую вражью дивизию. Сидели и вымеривали, вымеривали и обсуждали, обсуждали и спорили, не соглашались, предостерегали друг друга, потом договаривались, мирились на том, что всем казалось разумным.

— Теперь собраться надо с полками,— сказал Чапаев.— Кой-што, может, и им объясним...

— А... мигом!

Поднялся комбриг и всем командирам наказал привести немедленно бойцов в самый просторный кинематограф...

— Да сказать, что товарищ Чапаев доклад станет делать! — крикнул он вдогонку.— Пусть приготовятся слушать.

Не понять, зачем сказал: вправду ли, в шутку ли, в насмешку ли над охотником «докладывать» Чапаевым? По тону ничего нельзя было понять: у него на шутки и на команду одинаковая речь.

Через полчаса в огромном, сыром, неприютном зале кинематографа среди серых шинелей — яблоку негде было упасть; еще больше осталось за дверями, не уместилось. На эстраде стол, на столе, как водится, графин с водой, стакан, блестящий звонок с деревянной ручкой... Как только показался Чапаев — зашушукали, откашливались наспех, поправляли шапки, сами хотели казаться молодцами. А как сказал он первое слово, такое могучее и любимое: «Товарищи» — сомкнулась тесно безликая толпа, онемела, напряглась в ожидании желанных слов.

— Товарищи!— обратился Чапаев.— Идем воевать на Колчака. Много побили мы с вами казаков в степи — не привыкать к победам. Не уйдет от нас и адмирал Колчак...

Бурей неудержимых восторгов, криков и оглушительных аплодисментов прорвалась молчавшая толпа. Атмосфера сразу накалилась. Через две минуты все воспринималось острей и горячее. Грошовому слову алтын была цена, алтынное слово ценилось на рубль. У Чапаева было в запасе несколько выигрышных фраз — он не упускал никогда случая вставить их в свою речь. Это, по существу, были совершенно безобидные и даже вовсе не красочные места, но в примитивной, подогретой и сочувственной аудитории они производили невыразимый эффект.

— Я, товарищи, не старый генерал...— грозил протестующий Чапаев.— Этот генерал бывало за триста верст дает приказ взять во што бы то ни стало такую-то вот сопку. Ему говорят, што без артиллерии не дойдешь, што тут в тридцать рядов завита колючая проволока... А он, седой черт, приказ высылает: гимнастику вас учили делать? прыгать умеете? Вот и прыгайте!..

В этом месте аудитория всегда разражалась дружным хохотом и шумно выявляла оратору свое сочувствие: безобидная элементарная картина приходилась по сердцу, попадала в точку.

— А я не генерал,— продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус,— я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадает мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, штобы все вы были целы, да самому не погибнуть напрасно... Вот мы как воюем, товарищи...

В этих словах и в этих тонах выдерживал он всю свою речь. Впрочем, надо к чести его сказать, долго болтать не любил: не то что не мог, а понимал превосходство коротких речей.

Когда окончил, трудно уже было выступать Сизову, да и Федор произвел не ахти какое впечатление. За речами — концерт. Он был такой чудесной импровизацией, какую можно было встретить лишь в те дни, и, верно, только на фронте.

Едва умолкли последние слова последнего оратора,— еще, казалось, стояли они в воздухе и все ждали следующих, других слов,— как грянула гармошка. Откуда он, гармонист, когда взгромоздился на эстраду, никто не заметил, но действовал он, бесспорно, по чьей-то невидимо-неслышимой команде. И что же грянул? «Камаринского»... Да такого разудалого, что ноги затряслись от плясового зуда. Чапаев выскочил молодчиком на самую середину эстрады и пошел и пошел... Сначала лебедем, с изгибом, вкруговую. Потом впритопку на каблуках, чечеткой. А когда в неистовом порыве загикала, закричала и захлопала сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку и отхватывал вприсядку — только шпоры зазвенели да шапка сорвалась набекрень. Уж как счастлив был гармонист— вятский детина с горбатым лоснящимся носом и крошечными, как у слона, глазами на широком лице: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь!

Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка — и Чапаев отскакивает в сторону, вытаскивает

изрядно засаленный дымчатый платок, отирает довольное, веселое, мокрое лицо.

Целый час не пустовать эстраде: плясуны теперь выскакивают даже не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолгу бесцеремонно гонят: отплясал, дескать, свое — давай место другому!

За плясунами пошли рассказчики-декламаторы: такую несли дребедень, что только ахнуть можно. Не было еще тогда на фронте ни книжек, ни сборников хороших, ни песенников революционных,— на фронт все это попадало редко, красноармейцы мало что знали, кроме собственных частушек да массовых военных песен.

За рассказчиками надрывались певцы: тоже не задумывались долго над песнями, распевали, что раньше взбредет на ум. Канитель!.. Но веселая, сочная, многоцветная, искренняя канитель. От походов, от боевой страды, от окопной напряженной скуки, от полуголодной жизни — с какой охотой и радостью отдыхали бойцы! Потом весь день по изгибам или кучками на грязных оттаявших улицах, за столом, в конюшне, за семечками — везде только и разговору было, что про веселый митинг-концерт. И в центре всех разговоров-воспоминаний стоит Чапаев: такой-то вот командир и люб бойцам... Сегодня на заре по холодному туманному полю пусть ведет он цепи и колонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером под гармошку пусть отчеканивает с ними вместе «камаринского»... Знать, по тем временам и вправду нужен, необходим был именно такой командир, рожденный крестьянской этой массой, органически воплотивший все ее особенности.

Вырастет масса — отпадет и в этом нужда. Уж и тогда не нужен был бы такой вот Чапаев, положим, полку иваново-вознесенских ткачей: там его примитивные речи не имели бы никакого успеха, там выше удали молодецкой ставилась спокойная сознательность, там на беседу и собрание шли охотнее, чем на «камаринского», там разговаривали с Чапаевым, как с равным, без восхищенного взора, без расплывшегося от счастья лица. Поэтому меньше всего любил Чапаев бывать в полку ивановских ткачей, таких скупых на триумфы и восторги.

Когда Федор впервые явился в политический отдел дивизии, он почувствовал недоброжелательное, холодное, видимо, предубежденное отношение. «В чем может быть дело?» — недоумевал он и не думал, что неблагосклонное отношение политработников к «партизану и мордобойцу» Чапаеву переносилось механически и на него, «чапаевского комиссара».

Больше того, здесь, в политическом отделе, уже было известно о приятельских отношениях между Клычковым и Чапаевым, а объясняли это очень просто. Или «наш комиссар» подпал под чапаевское влияние, ходит перед героем на задних лапках и является механической фигурой, выполняющей бессознательно не свою — чужую волю. Или же «нашему комиссару» и под влияние-то попадать нечего: сам такой же партизан и «удалец»...

Одни предполагали так, другие — по-другому, но все сходились, что «комиссара надо одернуть» с первого же шага. Поэтому, когда Федор пришел в подив, там ему начальник со злорадством, ни слова не говоря о работе, о нуждах, о планах, сунул в руки какую-то бумажку и стал насмешливо, глядя прямо в глаза, следить, какое произведет она впечатление. Бумажка оказалась повесткой,— трибунал вызывал Клычкова «в качестве обвиняемого». Он сразу не понял, в чем дело, а потом вспомнил и рассмеялся. Рыжиков (начальник политотдела) недоумевающе смотрел на Федора и, видимо, ожидал совершенно иного эффекта.

— К суду за что-то! — процедил он сквозь зубы Клычкову.

— Знаю... Пустяк... Не поеду... Это, видите ли, так случилось. В прошлый наш приезд в Самару идем с Чапаевым по дороге,— кругом высокие сугробы нанесло, узко, тесно, некуда с дороги ткнуться, кроме как в снег... И вдруг на саночках мчится какой-то фертик — комиссаром связи, что ли, оказался, не помню... Только холеный такой... видно, что в партию протерся случайно... Мчится, подлец, и хоть бы ха! Прижал нас, заставил в снег заскочить, чтобы не угодить под лошадь... Ну, я ему вгорячах-то, кажется, затрещину посулил за такую подлость... Остановил лошадь, слез, расспросил, записал и Чапаева. Ну, вот и все... В трибунал подал...

По мере того как Федор непринужденно рассказы-

вал эту пустейшую историю, лицо Рыжикова все более и более утеривало свое торжествующее и злорадное выражение. Выходило, что «история» действительно глупейшая и радоваться совсем не приходится тому, будто «комиссар наш так и есть... что-то уж там натворил... В трибунал вызывают...»

Все оказывалось чепухой. А с другой стороны, и самый вид Федора, такой простецкий и дружеский, и манера держаться, и весь разговор свидетельствовали о том, что это совсем не «какой-то партизан и мордобоец». У Рыжикова мнение о Федоре поколебалось уже после первой с ним встречи, а дальше и окончательно переменилось: насколько подозрительным и нехорошим было оно вначале, настолько искренним и доверчивым стало впоследствии.

В трибунал Федор ответил, что дело мелко, ехать некогда, а тут бои открываются и здесь он считает себя нужнее.

«А впрочем, любому заочному постановлению,— писал он,— конечно, считаю себя обязанным подчиниться, но извещаю, что дело все обстояло следующим образом...»

И он сообщил дело подробно, от начала до конца. В трибунале поняли, поверили, согласились — больше Федора не тревожили. Было слышно, что фертика этого при последующих чистках из партии выгнали как случайный элемент.

У Клычкова с Рыжиковым, а через Рыжикова и со всеми политработниками очень быстро установились отличные отношения. Клычков скоро убедил их в том, что про Чапаева наговорено им много всякого вздора, а на самом деле он, Чапаев, совсем-совсем не таков.

Лишь один раз, да и то в самом начале, произошел неприятный и резкий разговор — о полномочиях. Вопрос о полномочиях и распределении функций между комиссаром и начальником политотдела дивизии на всем протяжении гражданской войны был вообще одним из скандальнейших и туманнейших вопросов. Чему же удивляться, если он рассорил теперь, хоть и ненадолго, Рыжикова с Федором.

Рыжиков упирал на полную автономию политического отдела, на непосредственную связь его с армией, на полную безотчетность перед комиссаром, согла-

шаясь только на легонькое информирование. А Федор, наоборот, все вопросы повертывал в другую сторону и ссылался на разные инструкции и постановления, которыми обильно запасся в Самаре, внимательно рассмотрел, усвоил и теперь безжалостно опровергал Рыжикова «на законном основании». Вопрос разрешился очень легко, но разрешили его не полемика, не аргументы того или другого, не формальные основания, ссылки и разные «пункты» — разрешила сама боевая жизнь. Федору первые же дни и недели показали, что руководить агитацией и пропагандой, заниматься организационными вопросами политработы, направлять систематически и детально работу среди населения, следить за повседневной отчетностью, работою статистического и информационного отделения, связываться с ячейками, объять необъятную область культурно-просветительного дела — где же ему, когда же ему?

Все это — прямая работа политотдела, а следовательно, и его начальника. Комиссару, иной раз на пять-шесть дней отлучающемуся по бригадам и совершенно не бывающему в эти дни в дивизионных центрах,— ему только впору подметить на местах, что и как *делается,* что и как *надо делать,* что является делом первой очереди, что — второй, третьей, куда нужны силы, где их, на какой работе сосредоточить в данный момент.

Взвесив обстановку в дивизионном масштабе и шире, Федор ограничивался только намечиванием основных вопросов, перечислением неотложных дел и в этом духе давал политотделу директивы; там их получали и воплощали в жизнь своими силами, своими методами, своим аппаратом. На этом Федор не только помирился, но и сблизился с политическим отделом, и уже ни разу, до самого последнего дня, не было у него ни единого конфликта, даже ни одного разногласия. Он понял, что *не командовать* политотделом надо, а единственно *помогать* ему и следить, как воплощаются в жизнь основные директивы.

Политический отдел, как огромная губка, то и дело насыщался многочисленными сведениями, фактами, богатым опытом, притекавшим от частей и окрестного населения, и потом, переварив этот опыт внутри — во всяких совещаниях, заседаниях и просто

одиночных обдумываниях,— он испарял его в виде рассыпчатого кадра организаторов и агитаторов, в виде массы всяких листков, воззваний, инструкций и руководств.

И худо ли, хорошо ли, но всегда обслужено было политически даже население прифронтовой полосы — не только свои боевые части. По селам и деревням разъезжались верхами, расходились пешие, расползались в «красных кибитках» агитаторы-коммунисты и рассказывали населению, куда и зачем идет Красная Армия, для чего она создана, что творится в Советской России, что происходит за ее пределами. Часто и сами знали мало — неоткуда было узнать, часто и передать складно не умели, зато *главное* всегда доносили, были светочами, были рупорами, были учителями... А то спектакли ставить начнут, «живой» фонарь раздобудут, возятся с ним, картины показывают,— это ли не дивом было в какой-нибудь захудалой, глухой деревушке, где, к тому же, ютится половина татар, никогда не расходившихся по радиусу дальше как на тридцать — сорок верст?

С красноармейцами работать легче: эти всегда в сборе, готовы, организованы, да и сравнить ли их по развитию с деревенским населением? С красноармейцами и без политического отдела всегда ведет работу своя партийная ячейка; ей от политотдела потребна только материальная подмога да свежий материал,— с работой чаще умели справляться и сами.

А что за работа в полку? Разная: зависит от того, где полк находится и что делает. В тылу, на отдыхе — одно дело, тут можно и по системе заняться и безграмотность изо дня в день изничтожать, лекции ставить, хоть и не в очень крупном масштабе, чтения организовать по часам — да мало ли что можно сделать? И делали. А в походе, в боях — тут газета в руки неделями не попадала, тут не до лекций, не до митингов. В боях, так уж в боях! А на отдыхе — брякнуться, заснуть бы, что ли, поскорее, отоспаться, отдохнуть или заплатать вот дырявые сапоги, прикрутить отлетевшую подметку, оправиться, подготовиться к утреннему походу.

При объездах полков обычно случалось само собою — молчаливо, без предварительного уговора — так, что Федор не успевал перетолковать со всеми ко-

мандирами, а Чапаев не успевал ознакомиться с ячейкой и политической работой. Но что не успевал сделать один, непременно успевал другой. А когда ехали дальше и беседовали в пути, вся жизнь полка была как на ладони. Дружно, ладно жили. Ладно, дружно работали.

Когда открылось общее наступление на Колчака, была уже полная ростепель, начали трескаться и вскрываться реки на пригорках, и потом быстро в долинах обнажалась земля; ручьи и ручейки размыли дороги; по грязи, смешанной со снегом, по тонкому льду не только артиллерии — невозможно было ехать конному, а местами и пешему не пройти. Весна входила в полные права.

Движение было затруднено до последней степени — этим и можно отчасти объяснить первоначальное медленное продвижение красных войск. Но только отчасти,— причины были и в чем-то другом. От первых же столкновений передовые колчаковские войска остановились как бы в раздумье. А тут удар за ударом посыпались с разных сторон. Перешедший к нам полк имени Тараса Шевченко спутал у них в этом месте карты и сразу ободрил бившиеся здесь красноармейские части. Не давая врагу опомниться, все дружней, все настойчивей стали напирать красные войска. Неприятельский фронт был поколеблен. Инициатива была уже выхвачена. Поворотный момент чувствовался и был заметен уже не одному только прозорливому взору. Росли надежды. Прибавлялась сила. Развивавшееся наступление сулило победу.

X

В БУГУРУСЛАН

В памятный день открылся уже общий фронтовой поход, а отдельные схватки, разумеется, были и все время до того.

На фронте антрактов не бывает.

В двадцатых числах апреля, в пасхальные дни, произошли первые встречи с противником, он продолжал свое победоносное шествие от Бугуруслана на Бузулук. Бригада Сизова удерживала этот напор, разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда

полкам добраться стоило больших трудов: не позволяли распустившиеся дороги, бурные, глубокие весенние ручьи. Не только орудия везти было невозможно, даже пулеметы переправлялись в разобранном виде, ссыпанные в мешки. И как только добрались до Боровки, завязались бои, уже не прекращавшиеся все время, вплоть до самой Уфы.

В одной операции под Бугурусланом Сизов едва не попал самолично в лапы белым — спасла счастливая случайность. Он с Вихорем да человек семьдесят конных пробрались в неприятельский тыл и заметили двигавшуюся по лощине батарею. Поскакали, но лишь только приблизились, как артиллеристы-офицеры, поняв, что это за всадники, стали на картечь расстреливать красноармейцев. Видно уж было, как «номера» (стоявшие у орудий солдаты) отказывались стрелять, как офицеры колотили иных шашками и рукоятками револьверов, но невозможно было ничего поделать. И вот, отослав большую часть отряда в обход, отвлекши внимание, сам Сизов, Вихорь да кучка кавалеристов, пробравшись по другой лощине, во весь карьер вынеслись почти к самым орудиям. Опешившие офицеры вскинули было на руки маузеры, но уже было поздно: одному Вихорь с налета раскроил голову, другого сбило лошадью, а остальных свои же «номера», поваливши, мяли на земле или держали с закрученными за спину руками. Все совершилось с поразительной быстротой; «номера» будто только и ждали того, чтобы всадники подскочили к орудиям. Те, что держали офицеров, умоляющими взглядами просили о пощаде, остальные застыли с поднятыми руками. Офицеров не осталось, солдат не тронули ни одного. Батарею направили на полк, к которому она торопилась на подмогу, а полк этот, увидев безнадежность положения, сдался тем красным частям, что на него наступали. Этой операцией остался руководить Вихорь, а сам Сизов с десятком ординарцев поскакали дальше, в обоз, и когда мчались мимо повозок, груженных обувью и солдатскими гимнастерками, занимало дух от радостной мысли, что все это достанется красноармейцам. Обозники не сопротивлялись: одни обалдели от неожиданности, другие не понимали ничего, посчитав скакавших за «своих», подумав, что их повертывают куда-нибудь «по назначению»,— так

весь обоз в несколько сот возов и достался на поживу красным полкам.

Неподалеку от обозов стоял штаб дивизии; там поднялся переполох: в подобных случаях о размерах налета всегда создается преувеличенное представление — этим объясняется и паника, которая дает в руки «налетчикам» дешевую победу, а часто и обильную добычу. Точь-в-точь, как и всегда, получилось и теперь: никто ничего и никого не думал организовать, никто ничего не хотел, не стремился рассмотреть и разузнать — каждому впору было думать о спасении лишь собственной шкуры. Одним из первых выскочил на волю начальник дивизии, полковник Золотозубов; он вместе с дивизионным попом впрыгнул в дежурившую таратайку и бросился наутек. Всюду беготня, крики, путаница, торопливые ругательства, угрозы.

А десяток конных красноармейцев носился среди перепуганной штабной публики, гиканьем, стрельбой и криками о сдаче усиливая и без того неудержимую панику. За начдивом поскакал Сизов и уже застигал с занесенной шашкой, когда «батюшка» обернулся из пролетки и выстрелил: пуля попала коню в переднюю ногу, он захромал, начал отставать. Тогда остановилась и пролетка; полковник соскочил на землю и с руки начал бить из маузера. Вторая же пуля угодила коню в голову, он покачнулся и упал, только Сизов успел при падении высвободить ногу и как соскочил — ударился бежать в соседний перелесок. На самой опушке крестьянин в телеге правит парой здоровых рабочих лошадей. Сизов к нему. Тут растабаривать некогда,— показал ему дуло револьвера, вскочил на ближнюю упряжную, отрубил постромки и помчался прочь, назад, туда, где остались товарищи. Но уже паника улеглась, там поняли, что угроза наскочила нестрашная,— товарищей, видимо, угнали, а может, и переколотили,— не было никого; только проносясь мимо избушки, где был штаб, увидел Сизов одного из ординарцев без коня, с окровавленной щекой. Кинулся к нему и крикнул, чтобы вскакивал сзади на широкий круп здоровенной лошади. Не долго думая, тот с размаху влетел и уцепился за Сизова, чуть не сдернул на землю.

Так скакали вдвоем сзади обозов, сзади избушек, оборвав красноармейские значки, скакали на дальний

пригорок, к которому должен был подходить, по расчетам Сизова, свой полк. Впереди группа конных — стоят на самом пути, объехать некуда. Что за люди? Когда подскакали ближе, увидели, что свои: сбившиеся здесь из обоза не знают теперь, как через поляну, под обстрелом, пронестись к своему полку, колыхавшемуся на равнине. У Сизова конь хоть и здоровый, а для такого дела не годится. Понял это Яшка Галах — один из лучших храбрейших ординарцев.

— Товарищ командир,— говорит,— бери мою лошадь, а я слезу, пешком пойду. Ежели заберут — скажу, что мобилизованный, авось не тронут — бывает, что и не трогают...

Раздумывать нечего. Соскочил Сизов с широкой доброй кобылы, оставил на ней спутника, а сам пересел на шустрого Яшкина меринка. Вытянулись цепочкой и помчались. Остался Яшка Галах один, поплелся назад, уплел в обоз. Он воротился только через три недели, рассказывал, что скрывался у них же в обозе — солдаты-мужики не трогали и не доносили; убежать не удалось сразу, потому что угнали его на тех подводах, что успели скрыться от красного полка.

По полю мчались карьером. Как пчелы, звенели, шумели, свистели быстрые пули; двух всадников положили они на широком лугу, остальные доскакали. Доскакал и Сизов. Быстро перекинули с другого фланга конную разведку, и она впереди полка помчалась отрезать уходивший обоз. Часть успела отступить, но больше того досталось полку: этим добром тогда немало подкрепили босую, ободранную сизовскую бригаду.

. . . .

Нелишне будет заметить, что добычу свою полки, бригады и дивизии очень не любили передавать выше «для общего распределения» — оставляли обычно у себя, накапливали даже иной раз, удовлетворялись до насыщения (что было редко) и уже только безусловно ненужные, обременительные излишки передавали «вверх». Это относится не только к одежде, обуви, продовольствию — то же было можно наблюдать и по части винтовок, патронов, пулеметов и даже... орудий. Так складывалось иногда, что в одном полку еле-еле пулеметов с десяток наберется, а в другом, смотришь, под целую сотню подкатило — и молчат, никог-

да не скажут, что сотня у них, даже при ревизиях сумеют скрыть, а уж во всяких «отчетах и донесениях» и думать не думают о настоящих цифрах! Секретность тут была настолько большая, что даже ни один командир бригады «самому Чапаеву» правды не говорил. Да Чапаев, впрочем, никогда правды этой и не добивался, а, отдавая приказы — хоть про то официально и не заявлял,— постоянно имел в виду десятка два-три лишних пулеметов, а иной раз и «неучтенное» орудие, которое где-нибудь случайно заметил или про которое услышал от проболтавшихся полковых простофиль. Цифра наличного оружия подолгу оставалась в донесениях одна и та же. Но не следует думать, что не было никогда потерь — они были, только доносить о них было невыгодно, а пожалуй что и зазорно, поэтому про потери молчали и возмещали их из таинственных неисчерпаемых своих «резервов». Если ничего не говорили про потери, то не все говорили и про добычу — тут проявляли своеобразную «дальнозоркость»: не гнались за мимолетной славой, ради расширения «резерва» цифру добытого уменьшали вдвое, втрое, а то и больше, смотря по нужде.

Куда же девалось это накопление? Как отчитывались в нем?

А тут обычно появлялся всякий «брак, лом и хлам»: в дивизии сдавали только воистину негодное, а что получше — оставляли неизменно у себя. Когда этот прием стал известен и Федору, он уже меньше расстраивался при горьких воплях на всякие недостатки, зная, что вопли обычно идут «авансом», голосить начинают далеко перед тем, как подступает настоящая нужда. Понимать приходилось так:

«Дивизия, помогай! Нужда крадется к моим тайным резервам!..»

И действительно, вслед за воплями росла, усиливалась, близилась настоящая нужда.

Теперь вот свою добычу бригада Сизова тоже распотрошила почти сплошь у себя,— мало что досталось в дивизию, а про армию и говорить нечего.

Федор Клычков все это узнал и сделал свои выводы впервые лишь на этом примере сизовской победы.

«Во-первых,— подумал он,— это буду иметь в виду каждый раз при учете сил, а во-вторых, постараюсь сократить командирское вранье».

Забегая вперед, скажем, что примерно через полгода он и в самом деле кое-чего добился, но в общем мало, очень мало. Тогда же он отметил и другое обстоятельство: командир бригады Сизов с группой ординарцев работал в неприятельском тылу. Работал, правда, успешно: отбил батарею, ускорил гибель неприятельского полка, спутал все в обозе, едва не зацепил начальника белой дивизии.

Это все отлично, но... Уже тогда родилось у него это «но». И тогда же сделал он логический, неопровержимый, такой убедительный и ясный вывод: командиру никогда не нужно увлекаться частным делом, он всегда должен иметь перед собою *целое* — и операцию *целую* и войска свои *в целом,* а отдельные задачи кому-то поручать.

Личное мужество Сизова могло привести к печальному концу, может быть, целую бригаду, если бы только его подстрелил Золотозубов, а заместитель, скажем к примеру, не сумел бы справиться с управлением полками.

Эту мысль Федор крепко усвоил тогда же, он усвоил ее как-то отвлеченно, а на деле и сам от нее отступал неоднократно и никогда не порицал того, кому удавалась лихая затея,— пусть она была почти безрассудная, только бы окончилась хорошо. Так велико обаяние исключительного подвига!

Как только слышно стало, что у Сизова заварилось дело, поехали навестить его Чапаев с Федором, Кочнев, Петька Исаев, конных человек пятнадцать; в одиночку показываться тут было невозможно: шальные неприятельские разъезды могли объявиться в любом месте, да и кулачки деревенские не очень-то жаловали красноармейцев, тем паче «начальство».

День светлый, чистый, праздничный. По селам в ярких сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет зеленая молодежь,— даже удивительно все это видеть. На завалинках сидят, покряхтывают сгорбленные старухи, ради теплого праздника вырядились в тяжелые шубы, как жабы, выползли из нор, маячат здесь и там, словно мраморные черные статуи. У Совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное

время. Чапаев указал им верный путь, как избавиться от праздничной скуки. По деревням ручьи глубокими вымоинами изрезали во всех направлениях дорогу; на этих вымоинах приходилось застревать не одному десятку бригадных телег, порывая гужи, ломая колеса. В каждом поселке вызывали председателя Совета, давали ему распоряжение провести спешную мобилизацию и выправить дорогу. Подымался гвалт, протестовали, не брались, но уже на обратном пути было можно видеть, что дорога на самом деле устроена и починена. Так — от деревни к деревне, от села к селу — выправили весь путь до последних, дальних полков.

Сизова застали в штабе. По общему правилу, по привычке, он сейчас же раскинул по столу разукрашенную исчерченную карту и начал указывать разные пункты, где, по последним сведениям, расположился неприятель. Скоро к штабу подъехало человек десять конных, забрызганных грязью, мокрых,— видно, что крепко усталые... Оказалось, группа эта, во главе с комиссаром бригады Буровым, ходила в разведку, побывала на этом берегу в четырех деревнях, переправлялась даже и на тот берег вплавь через реку, привезла немало ценных сведений. Вытащив записную книжонку, припрятанную где-то под самым горлом, чтобы не замочило, Буров шаг за шагом развертывал присутствовавшим обстановку за рекой. Неприятель готовился предупредить наступление красной стороны, сосредоточивая свои силы, подвозил артиллерию, перегруппировывал части, гнал торопливо в разные стороны длинные тучные обозы. Маленькая книжонка раскрыла большие дела. Что узнали — передали дальше, через штаб дивизии, в армию.

Федор с гордостью, с радостью смотрел на комиссара — этого рослого сильного чумазого детину, оказавшегося питерским слесарем, добровольно ушедшим на фронт еще в прошлом, 1918 году.

Отошли в сторону, разговорились.

— Как политическая-то работа? — спросил Федор.

— Да што,— махнул комиссар,— скажу вам откровенно, товарищ Клычков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте — не ругайте, а некогда. Што бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить?.. За реку нужней.

— Верно,— сказал Федор.— Да я и не о том... Что обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда! — отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце цигарку.

— Это вы уж слишком...— недоверчиво возразил Федор,— слишком... Моменты бывают — неправда, их только ловить надо уметь...

— А попробуйте с ребятами-то нашими,— усмехнулся Буров.

— Это иной вопрос...

— Да што иной... попробуйте,— как бы донимал тот Клычкова.— Оно тово, скажу вам, очень тово...

И он знаменательно поднял палец вверх, как будто загнул загадку и ждал разрешения.

— Трудно?— спросил Федор участливо.

Тот молча наклонил голову, а потом брякнул:

— Не только трудно — нельзя! Совсем нельзя! Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем... Когда войну кончим, тогда и книжки, вот што...

— Так вот тут-то ваша задача и начинается,— не дал ему докончить Клычков.— Комиссар как раз должен убедить в другом: должен убедить, что без политики воевать нельзя... Что же за армия будет, коли не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти... не верю, что нельзя... Попробуйте... В будущий раз сами сознаетесь, что можно... Только расшевелите всех тут — полковых комиссаров, ячейки... Да и сам... От вас — ой, как много зависит...

— Я-то — видите,— он показал на мокрую, забрызганную грязью тужурку.

— Не только,— отмахнулся серьезно Федор.— Этого мало. Тут-то как раз ваша разница с командиром и начинается. Ведь получается впечатление, что вы — лишь вояка хороший, а больше и ничего...

— Им главное это,— убеждал комиссар.— Как с ними не будешь — фью. На черта ты им нужен. Говорить — говоришь, а сам, говорят, не делаешь. Сам, говорят...

— Да погодите, погодите,— остановил его Федор.— Снова повторяю: надо... *Но не одно это* надо, не одно... Кто же, кроме нас, армию-то просвещать будет? Поймите, что *мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным...*

И он стал доказывать Бурову необходимость и возможность ведения политической работы даже в самой сложной обстановке.

Тот не протестовал больше, но видно было, что результатов больших на этой задаче от него не будет... Командир? Да, командиром он будет отличным.

Через короткое время этому товарищу дали командную должность, а комиссаром на его место назначили другого.

Закончив разговор, пошли к столу. Сизов рассказывал вчерашний случай.

— ...Человек пятнадцать... Одеты как полагается, а отличий нет никаких: солдаты и солдаты. Только у командира звезда была красная — так в карман убрал. Приехали в деревню — к Совету: где председатель? А мужиков тут с полсотни набралось, шепчутся чего-то, в сторону норовят, боятся...

— Вы колчаки, што ли, солдатики? — спрашивают.

— Колчаки,— говорят ребята: прикинуться задумали, посмотреть, что из этого выйдет.

— А сюда пошто, воюете?

— Воюем, братцы, да красных вот ищем: где они тут, кому известно?

И стали мужиков расспрашивать, какие, дескать, тут воинские части у красных, да где они находятся, куда идут, как обращаются с крестьянами...

А те носы повесили, да и слова путного не говорят:

— Вот Иван Парфеныч пускай расскажет, он у нас знает все — в председателях сидит...

Иван Парфеныч показался в дверях, этак пудов на одиннадцать мужчина...— обвел рассказчик руками вокруг живота, показывая, какая была солидность у Ивана Парфеныча.

Все рассмеялись.

— Да, да,— подтвердил Сизов.— Тут по Советам сколько угодно таких встретишь... Не рассмотрели еще мужики, в чем дело, да и робеют... так, сволочь разную иной и выберут...

Так вот, спускается с крылечка... Даже и глазом не моргнул, не оробел Иван-то Парфеныч, шествует к «колчакам» за мое почтение, кланяется от самой двери, руку под козырек берет, улыбается. «Здравия,— говорит,— желаю».

— Ты председатель? — спрашивают ребята.

— Так точно,— говорит и опять смеется, сукин сын.— Посадили вон, подлецы,— говорит,— и сижу... Ждали вас, родных, на той неделе... Вот... слава богу, пришли — всю душу-то размотали...

А ребята как будто не верят, значит.

— Да что ты, дескать, нам дуру-то навертываешь — рассказывай дело: где «ваши»?

— Какие это наши? — вытаращил глаза председатель.

— Ну, што — какие: красные где? Рассказывай, красный черт.

Тут председатель в ноги, оправдывается: свидетелей троих из толпы-то (пудов по восемь); те за него. Да где же, мол... Иван Парфеныч — человек положительный, он никогда с этим не связывался, мужики его заставили в Совет залезть.

Ребята с коней, зашли в Совет, записали все его показания, дали подписать: хотим, говорят, господам офицерам материалы привезти...

Все подписал, подлец... Тут его с тремя-то защитниками на повозку — да и сюда. Как понял, так и завыл: я, Христом богом, говорит, сам в большевиках состою... А мужики перепугались — говорить не знают што... Совсем оробел народ,— махнул рукой Сизов в заключение рассказа.

— А где теперь? — спросил Федор.

— Всех четверых в трибунал послали... Што народ у фронта с толку сбился, это верно: на неделе по четыре раза встречали и белых и красных, спутались, кто первым приходил, кто последним, кто обижал крепко, а кто и не трогал... Лошадей што поугнали — и не счесть, а телег поломано, сараев сожжено, посуды разбито, растащено — лучше и не помнить. Со скотиной, положим, крестьяне узнали, как спасаться: загонят в чащу лесную целые табуны да так и не выводят оттуда, корм по ночам таскают. А солдаты придут: лошади где, коровы?

— Всех угнали... подчистую.

— Кто угнал?

Тут ежели белым — так на красных говорят, а красным — на белых. Сходило. Но не всегда и тут сходило, дознаваться потом стали, разведку по лесам

пускали... Отыщут табун — пригонят, а деревня — реветь... Только что же слезы поделают, когда и кровь нипочем?

...

По пути к полкам заехали в какое-то село:

— Совет есть?

— Совет? — ежились мужики.— Да был Совет...

— Где был?

— А, надо быть, в этом доме,— показывают на большой заколоченный дом.

— Теперь-то где?

— Теперь-то? А кто его знает... На селе... Там вон где-то... в конце...

— Так што же вы, ребята, неужто не знаете?

— Да чего нам... нет, не знаем ничего. Поезжайте вон на тот конец, там, может, скажут...

— Вы же сами — здешние?

— Как же — тут все живем.

— И не знаете, есть ли Совет?

— Надо быть, есть...

— А староста есть?

— И староста есть.

— А молоко есть?

— И молоко есть.

— Ну-ка, кринку, поскорее, да холодного!

— Это можно... Ванюшка, эй!

Отрядили мальчишку, послали за молоком, не знали, как держаться, о чем говорить. Нашлись двое — признали Чапаева. Но еще долго, упорно не верили, что приехавшие «не из офицеров будут». Наконец по разным признакам, по фактам, по общим воспоминаниям — поверили. Стали говорить охотно и легко. В разговоре сквозило сочувствие, но усталость, усталость... И перепуг... глубокий, хронический, заматерелый...

Мужички толковали про то, чтобы «оставили в покое — ото всех, мол, тошно, выходит... Война-то кругом тяжела мужичку...»

Отдыхая, проговорили больше часу, и, когда собрались уезжать, крестьяне провожали дружно, напутствовали по-товарищески...

На самом берегу Боровки, в деревне, остановился Михайлов со своим полком,— сюда проехать было

можно только берегом, а с той стороны, из-за сырта[1], где лежали неприятельские цепи, шла непрерывная пальба: как завидят — и пошла и пошла... До деревни оставалось уже совсем недалеко... видны были овины, когда неприятель усилил огонь... Зазвенели торопливые пули, одному из спутников пробило ногу. Ударили по коням — в карьер!.. Разбились гуськом, один от другого шагах в двадцати. Федору вспомнилось, как он спасался в сломихинском бою, и сразу почувствовал перемену: теперь уже не было того панического страха, как тогда... Пусть там разрывы, здесь пули; и пули бывают страшнее снарядов. Все страшно по-своему: «пуля — для тела, шрапнель — для души». Он скакал и никак не верил, не допускал, что пуля может задеть и его. «Соседа — конечно... может... а меня — едва ли...» Отчего были такие мысли, и сам не знал.

На скаку поранило двух лошадей, одному из ординарцев пробило шапку... Спрятались за высокие стога сена, спешились, один за другим от стога к стогу, от овина к овину начали перебегать в деревню. Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем, и к штабу явился последним.

Федор любопытствовал:

— Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином-то, словно трус, мотался?

— Пулю шальную не люблю,— серьезно ответил Чапаев.— Ненавижу... Глупой смерти не хочу!.. В бою — давай, там можно... а тут...— И он сплюнул энергично и зло.

К штабу было пройти нелегко: деревня обстреливалась с высокого заречного сырта. Как только заметят кого в прогоне меж домами, так и жарят по этому месту чуть не целыми пачками. Красноармейцы тоже в обиду не даются: залезли на овины, попрятались на крышах, за плетнями, понаделали дырок в стенах у сараев — наблюдают зорко, что делается на том берегу. И лишь зачернеет, запрыгает фигурка или

[1] Сырт — холм, небольшая гора.

голова где-нибудь высунется за бугром,— открывают огонь. Тут идет не сражение, а настоящая взаимная охота, огонь по «случайной цели». И — удивительное дело — по деревне гуляют девушки в праздничных цветных костюмах, местами песни поют, забавляются... Ребята тоже не зевают — вьются возле них, подпевают, а один так и с гармоникой подсыпается.

Надо сказать, что река тут неширока, и из-за сырта видно — боец идет или крестьянин, девушка ли подпрыгивает... Пальба в переулках шла только по красноармейцам. Крестьяне ходили как ни в чем не бывало — спокойно, неторопливые. И если бы не перестрелка, трудно было подумать, глядя на них, что кругом ежесекундно витает смерть: деревня будто где-то в глубочайшем тылу и в совершенном покое справляла свою традиционную пасху...

Михайлову хотели посоветовать, чтобы разведку сделал через реку, а он ее, оказалось, услал еще поутру, ждет теперь с минуты на минуту. Разведка действительно вернулась скоро, двоих похоронила на том берегу — убили их в последние минуты, когда уже спускались к броду. На фронте редко что дается даром! Сообщение выслушали, держали совет и порешили ночью же сделать налет. Знали, что брод этот будет охраняться,— надо было засветло искать другой. Операцией Михайлов брался руководить самолично. Надежд на успех было много, и главная надежда заключалась в том, что белые части уже наполовину были подготовлены, сагитированы заранее. Своеобразная агитация эта производилась простым и оригинальным способом: человек десять коммунистов выползают на животах почти с середины деревни и пробираются через те самые пролеты, в которые обстреливаются в деревне красноармейцы. Ползут и ползут, не подымая головы, не колыхаясь, не извиваясь в стороны, медленно и все в одном направлении. Доберутся до тына — здесь дыры еще ночью проделаны, устремляются в эти дыры и сползают к берегу. Перед самым тыном происходит небольшая маскировка, а иные проделывают ее и раньше, чем выползут, в деревне. Маскировка тоже незамысловатая: одному сучочков, палочек, елочек попритыкают, навешают со всех сторон, тряпок ли набросают, чтобы на человека не был похож. Такое-то безобразное существо и дви-

жется к воде. Бывает, сена набросают, соломой осыплют, рогожей накроют: всяк молодец — на свой образец... Десяток или полтора этаких чудовищ выползают на берег с разных концов и, прижимаясь то к бугоркам, то к кустарникам, к прибрежным всяким укрытиям, выравниваются вдруг и начинают кричать:

— Солдаты!.. Белые солдаты!.. Товарищи! Бейте офицеров!.. Переходите на нашу сторону!.. Вас обманули!.. Крестьян на крестьян гонят. Офицеры — господа... Они вам враги, мы ваши братья. Переходите, товарищи!.. Бейте офицеров! Переходите...

Река тут неширока, с берега на берег слышно отлично, а особенно звучно слышно по росе: выползают агитаторы, конечно, в сумерках — в вечерних или утренних, когда их продвижение не особенно заметно... Офицеры с той стороны посылали площадную брань,— уж так измывались, так измывались, что слов поганых не находили для проповедников-большевиков. Открывали и стрельбу, но куда же, в кого тут будешь стрелять,— не видно нигде никого.

Ругаться — ругались, а части на берегу все-таки подолгу оставлять боялись, меняли то и знай, все время были в перепуге, ждали каких-то страхов у себя изнутри. Белые солдаты близко к сердцу принимали убедительные простые слова, что доносились к ним из-за реки, и — говорили потом — не один десяток был расстрелян офицерами за подслушанные солдатские речи про «братьев-большевиков». Шпионская работа у белых чем дальше, тем больше развивалась и среди солдат; крестьяне начинали там понимать драматическое свое положение, когда их понуждали, гнали бороться против своего же дела, против своего же брата трудящегося. Все это в очень значительной степени облегчало борьбу красноармейских полков. А работа агитаторов и вконец разлагала белые части.

Попалят-попалят офицеры — бросят, а агитаторы так же медленно, тихо, без колыханий, отползают обратно в деревню.

Вечером, накануне предполагавшегося ночного налета агитация была проведена особенно успешно: в отдельных местах белые солдаты, рискуя жизнью, даже перекликались с агитаторами, задавали разные вопросы, указывали на трудности перехода, на строгость надзора, на жестокость расправ.

Ночью Михайлов с отборным отрядом направился осуществлять задуманное дело.

На следующий день в бригадный штаб пришла его телеграмма:

«Отобрав двести человек, ночью вброд, а частью по бревенчатому мосту, сделанному наспех, пробрался на другой берег Боровки и внезапно атаковал спящего неприятеля. Захвачено в плен свыше полутораста человек, четыре пулемета, винтовки, патроны, кухни, обозы...»

— Забрал полтораста,— вслух сказал Чапаев,— так это забрал, а на месте што осталось?.. Пиши! — обратился он к штабнику, который составлял донесение об успехе: — «Забрал в плен полтораста и зарубил на месте двести».

— Слушай-ка, что же это? — изумленно вскинул Федор на него глаза.— Какие двести?

— Не меньше,— ответил Чапаев, нисколько не смутясь.

— Да какие двести? Что ты, брат, выдумываешь?

— Ничего я не выдумываю,— обиделся Чапаев.— Если ему, дураку, невдомек, што же я — так и должен пропустить?

— Да писать-то подожди... Ну, запросим, что ли, добавочно пошлем, а теперь... это же выдумка, Василий Иваныч!

— Так што? — ухмыльнулся тот легкомысленно.— Повеселить надо.

— Кого повеселить? — противился Федор.— Что тут за веселье! Да узнают про эти номера, тебе и верить-то никогда не станут.

— Не узнают,— опять отшутился Чапаев, но Федор настоял, чтобы эти двести «мертвых душ» все-таки не включали, и Чапаев с горечью должен был согласиться.

Когда вернулись к себе в штаб, там поджидало распоряжение: немедленно выезжать, захватив с собою одно, другое, третье. Указывались место и цель: переброска в другую армию. За время перехода перебросок этих было несколько: туда-сюда сунут, глядишь — бригаду оторвут, опять соединят,— словом, как полагается, как диктовала обстановка. Чапаев

обычно негодовал и крепко бранился при всех этих перетасовках, считая их не то случайностью, не то проявлением злой воли каких-то «недоброжелателей». Удивительно просты были у него мысли в таких случаях,— даже иной раз можно было принять их за шутку, если б не были они сказаны и обставлены так серьезно. В новой обстановке, по существу, ничто не было ново, да и ехать-то было уж недалеко. Армии тогда стояли тесно, шли непрерывным фронтом. Успехи и неудачи в одной чутко сказывались в другой. Сведения разносились быстро; эти сведения то наводили уныние, то окрыляли надеждами. Особую радость выказал Чапаев, когда прослышал об успехе бригады Сизова.

— Молодец, подлец, не зря учен,— торжествующе заявил он в штабе по адресу Сизова и тут же послал телеграмму, где между деловыми фразами выражал свою радость: голые приветственные телеграммы посылать не полагалось.

Наступление развивалось успешно. Заняли целый ряд пунктов, больших и малых. По фронту метались как угорелые — всюду надо было поспеть, оказать, помочь, предупредить, а временами и участвовать лично в бою. Один из таких боевых эпизодов Федор занес в свою книжку под названием «Пилюгинский бой». Приводим полностью этот очерк.

ПИЛЮГИНСКИЙ БОЙ

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Мы выступили из Архангельского рано, на заре, когда еще солнце не согрело землю, на лугу пахло ночной сыростью, а в воздухе стояла напряженная, предутренняя тишина. Один за другим выходили в просторное поле наши полки, выстраивались и молча, без криков, без песен, без шума, двигались к высокому сырту, заслонявшему ближние деревни. По всем направлениям разбросаны были передовые группы: конная разведка умчалась вперед и скоро пропала из вида. Мы ехали перед полками — Чапаев, командир бригады и я, то и дело рассылая вестовых — или с полученными новыми сведениями, или за свежим материалом. Слева, из-за другого сырта, раздавалась

глухая артиллерийская пальба — это за Кинелем; там должна продвигаться наша бригада, получившая задачу выйти неприятелю в тыл и отрезать отступление, когда мы его погоним из Пилюгина. Кто палит, не разобрать, где-то далеко, верст за двадцать — двадцать пять; это лишь по заре четко доносятся глухие орудийные удары — днем они не были бы так явственно слышны.

Внезапным ударом в тыл предполагалось создать панику в неприятельских рядах и, пользуясь замешательством, отнять артиллерию, про которую донесла разведка. Пальба за рекой давала понять, что неприятель и заметил и верно понял наш маневр,— шансы на успех понижались.

Выехали на косогор. Внизу — крошечная деревушка Скобелево; отсюда поведем наступление на Пилюгино. Прискакала разведка, сообщила, что Скобелево оставлено неприятелем еще накануне вечером. Подошли к деревне. Крестьяне жались около хат и робко посматривали на входившие войска.

— Сегодня белые, завтра красные,— причитали они,— потом опять белые, потом красные — не видим краю... И хлеб-то у нас поели и скотину забрали, обездолили кругом...— Потом почесывали затылки и с философской примиренностью добавляли: — Оно, что же говорить, война... понимаем — жаловаться не на кого. Да трудно стало, силы нет... И когда она только окончится, проклятая? Чай бы, отдохнуть надо.

— Когда победим,— отвечали им.— Раньше никак не окончить.

— Это когда же? — смотрели они усталыми, стеклянными глазами.

— А сами не знаем. Вот помогайте — скорее пойдет... Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, Колчаку-то?

— Где устоять!..— соглашались мужики.

— Значит, помогать надо...

— И помогать надо,— соглашались они дальше.— Пойди-ка, помогай. Ты ему помог, ан вы деревнюшку и заняли... Только за вас тронулся, а он ее назад отберет, тут и гляди, как тебя с двух сторон подбивать начнут. Наше-то Скобелево насмотрелось всякого: и ваших бывало много, и гоняли тут нас не одинажды... Так по подвалам-то оно складнее — ни туда, ни сюда...

Мы объясняли мужикам на ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что — власть Советов... Понимали, соглашались, но видно было, что толковали с ними на эти темы редко и мало, знать они путем ничего не знали и крутили разговор только около «покоя».

Так не везде случалось,— лишь по глухому захолустью, по таким дырам, как Скобелево. В больших селах — там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов: с приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала; с приходом красных торжество было на стороне других, и они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов...

Части проходили деревней, одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались по лугу, выстраивались цепями. Из Пилюгина открыли по лугу артиллерийский обстрел...

Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой, жидкой ленточкой выстраивались другие, кучки пропали, растаяли, верный прицел взять было крайне трудно,— результаты обстрела были самые ничтожные.

Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая, больная хозяюшка притащила кринку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне. Когда стали отдавать за молоко деньги — отказывается, не берет.

— Я,— говорит,— и так проживу, а вам кто е знает, сколько воевать придется.

Так и не взяла. Деньги мы сунули ребятишкам; они жались около матери, цеплялись ей за подол, как звереныши, поглядывали блестящими глазенками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами.

— Вы-то платите,— заметила хозяйка.— Хоть и не надо мне, а ладно... Сена ли, овса ли, за все отдают... А те — обглодали начисто, хоть бы тебе соломинку заплатили... И Ванюшку, сына, с лошадью погнали... Вернется ли — один бог знает...

В ее голосе, в манерах не было подобострастия — говорила правду. Хоть не всегда, не везде расплачивались наши — не знала она того, а про «колчаков» в каждом селе, в каждой деревнюшке одно и то же: обдирают, не платят, растаскивают начисто...

Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды — в двух-трехстах саженях. Здесь и там, одно за другим непрестанно появляются над землей маленькие облака густого черного дыма, и за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясется земля, как бубенчики, заливаются стекла в окнах халуп. Неприятель бьет по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов,— перелеты на многие десятки саженей. Мы задерживаемся, ждем свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить ее в дело. Выхожу из халупы, забрался на пригорок, лежу. Вдруг прибегает женщина. Оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, сует:

— На-ка, на скорее...

Посмотрел — яйцо, и, не понимая, в чем дело, полный недоуменья, смотрю на нее широкими глазами:

— Сколько заплатить?

— И, што ты, родимый,— обиделась она.— Поди, заморился... Какие тут деньги, ешь-ка знай...

Она торопилась, видно было и по речи и по движеньям,— скажет и оглянется: заметят, дескать, деревенские, а белые придут — доложат, так беды не оберешься...

— Да што ты так-то? — спрашиваю.

— А братец с вами у меня... родной... заодно воюет... Тоже в Красной Армии состоит... Говорили, белые-то заколотили вас, Самару будто взяли,— верно ли?

— Нет, милая, неверно,— отвечаю.— Совсем неверно. Сама видишь, кто колотит.

— То-то вижу... Ну, будь живой, касатик...

И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб. А я сидел со странным, радостным, особенным чувством. Смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой простой женщины. «Есть у нас везде,— думалось мне,— даже и в такой дыре, Скобелеве, свои люди. Хоть и не понимают, может, многого, но инстинктом

чувствуют, кто куда идет. Вот она, женщина-то, посмотри: ждала... дождалась... рада... и теперь не знает, чем доказать свою радость... Яйцо сунула...»

2. В ЦЕПИ

Пришла артиллерия, указали ей путь, и по лощине, натуживаясь и ныряя, потянули лошади тяжелые орудия. Мы видели, как остановились батареи сзади цепей, как мелькнул первый огонек: бббах... ббб...ах... Дальше — без перерыва. Цепи услышали свою артиллерию, пошли веселее... Мы сели на коней и в сопровождении ординарцев поскакали вперед. Выехали на гору — оттуда Пилюгино как на ладони: прямой дорогой тут не больше трех верст. По флангам, к цепям, разъехались в разные стороны: Чапаев — направо, я — налево.

— Товарищ,— обратился ко мне вестовой,—это чего там, наши, гляди-ка, отступают, што ли, бегут... Сюда, надо быть?

Я посмотрел. Действительно, какая-то суматоха— красноармейцы перебегают с места на место, цепь то сожмется, то растянется снова... Мы — туда. Разъяснилось дело очень просто: цепь перестраивалась и брала иное направление.

Поле здесь засеяно подсолнухами; с трудом пробирались мы между здоровенными колючими стволами. Добрались до первой линии, слезли с коней. Вестовой шел с нами шагах в тридцати, я сам прилег в цепь. По сторонам у меня лежали молодые ребята с загорелыми лицами, оба короткие, широкоплечие крепыши — Сергеев и Климов. В цепи, когда наступает она, тихо, не услышишь голоса человеческой речи,— только команда рявкнет или кашлянет, отплюнет кто-нибудь. Да редко-редко кто обронит случайное слово. Моменты эти глубоко содержательны: под огнем, в свисте и звоне пуль, каждый миг ожидая, что она пробьет тебе череп, ноги, грудь,—не до слов, не до разговоров. Ты преисполнен сложных, быстро изменчивых, обычно неясных дум. Становишься сосредоточенным, молчаливым, почти злым. Мысли путаются, хочется вспомнить разом как можно больше, как можно скорее — в один миг, чтобы ничего-ничего не за-

быть, не опустить. И кажется, что главного-то как раз и не вспомнил, а надо торопиться, спешить надо...

Перебежки одна за другой, все чаще, все чаще... Ближе враг... Совсем близко... Еще минута — и перебежек не будет, за последней перебежкой — атака... Ради этого страшного момента, именно ради атаки, и торопишься теперь все разом, как можно скорее вспомнить... Там — предел, черная бездна.

Я тихо опустился между бойцами. Они посторонились, посмотрели неопределенно мне в лицо, ни о чем не спросили,— как лежали в молчании, так и остались... Полежав, помолчал и я, но стало тягостно от мертвящей тишины,— вынул кисет, свернул цигарку, закурил.

— Хочешь, товарищ? — обратился к соседу.

Он поднял голову, как бы не поняв сразу и изумившись моему вопросу; еще больше удивился он тому, что вдруг, так вот неожиданно услышал *здесь, теперь* человеческую речь. Подумал одно мгновенье, и я увидел, как глаза его осветились, повеселели.

— И то дело, давай,— потянулся он за кисетом.— Эй, друг,— обратился тут же к Сергееву,— что землю жуешь? Ну-ка, лучше закури с нами...

Сергеев так же медленно, как и Климов, приподнял голову и посмотрел на нас угрюмым, строгим взглядом, а потом завернул, закурил, стал и сам веселее... Разговора нет никакого, только бросаем отдельные слова: сыро... колется... потухло... вишь, летит...

— Перебежка!!! — раздалась команда.

Мигом вскочили. Разом, как резиновая, подпрыгнула вся цепь. Она не выпрямилась во весь рост, а так и застыла горбатая.

— Бегом!!! — раздалось в тот же момент.

Все кинулись бежать, далеко вперед себя выбрасывая винтовки... Бежал и я, согнувшись в дугу, неровным, ковыляющим бегом. Неприятель затарахтел пулеметами, заторопился ружейными залпами.

— Ложись! — раздалась тотчас же новая команда.

Все ткнулись в землю... как ткнулись, так несколько мгновений и лежали недвижно. Потом медленно зашевелились, стали приподымать головы, оглядываться. Кто ткнулся впереди — пятился теперь назад, чтобы сравняться, ткнувшиеся сзади подползали тихо, с низко прислоненными к земле головами,— никто не хотел остаться в одиночку ни сзади, ни впереди.

Климов, бежавший быстрее и ткнувшийся впереди нас, пятился теперь, как рак, и если бы я не посторонился — прямо в лицо угодил бы мне огромной подошвой американской штиблетины...

Лежим — молчим. Ожидаем новой команды. Уже больше не пытаемся курить, нет даже и отдельных отрывчатых слов. Климов с Сергеевым рядом. Видно, вспомнилось Климову, как несколько минут назад сделалось ему легче в разговоре,— слышу, начинает заговаривать с Сергеевым:

— Сергеев...

— Чего тебе?

— Букарашка, видишь,— и тычет пальцем в траву.

Сергеев ему ни слова: угрюм, насупился, молчит.

— Сергеев,— пристает он снова.

— Да ну, што? — бросает тот с неохотой.

Климов и сам ничего не ответил, вздохнул и потом, как бы собравшись с мыслями, тихо сказал:

— Любаньку-то отдали в Пронино...

Видно, вспомнил односельчанку, а может, и зазноба какая, кто его знает. И на этот раз ни слова не ответил ему Сергеев. Понимая безнадежность, умолк Климов, а со мной, видно, охоты не было говорить; растянулся еще плотнее по земле и начал водить пальцем по ранней жидкой траве,— то букашку раздавит и смотрит, как она в конвульсиях кончается на его грязном широком пальце, то земли бугорок сковырнет, возьмет ее между пальцами и сыплет, все сыплет по песчинке, пока не высыплется вся...

— Перебежка!.. Бегом!!!

Ретиво вскакиваем, бежим вперед с безумным взглядом, с перекошенными лицами, с широко раздутыми, горящими ноздрями. И ждем. Бежим и ждем, бежим и ждем... желанную команду: «Ложись!»

Падали мертвыми, окостенелыми телами, замирали, подбирались, втягивались в себя, как черепахи, а потом медленно-медленно отходили, начинали двигаться, нетвердым, опасливым взором глядеть по сторонам...

Тут же Маруся Рябинина,— девятнадцатилетняя девушка — тоже с винтовкой, шагает гордо, не хочет отстать. Она не знала, дорогой наш друг, что через несколько дней, у Заглядина, так же, как теперь, пойдет она в наступление вброд через реку, одна из пер-

вых кинется в атаку, и прямо в лоб насмерть поразит ее вражеская пуля, и упадет Маруся и поплывет теплым трупом по окровавленным холодным волнам Кинеля... Теперь она тоже улыбалась, что-то мне кричала дружеское, но не разобрал издалека...

Земляков своих я не видел уже два месяца и не успел даже того узнать, что Никита Лопарь и Бочкин — здесь же, в полку, перебрались из уральских частей, соскучились воевать по другим полкам. Терентия так и не увидел я на этот раз. Лопарь с другого конца болотины махал коммунаркой и тряс огромными рыжими кудрями...

Все знакомые, дорогие лица... Но некогда было ждать — до овинов оставалась всего сотня сажен. Каждую секунду можно ждать, что оттуда встретят внезапным огнем. Это любимый на фронте прием: замереть, притаиться, нацелить дула и пустить неприятеля близко-близко, а потом вдруг пулеметы и залп за залпом, бить жестоко и непрерывно, рядами, грудами наложить перед собою человеческие тела, видеть, как дрогнул враг, попятился, помчался вспять, и бить, бить его вдогонку, а пожалуй, и бросить на него спрятанную где-нибудь тут же кавалерию — добивать, рубить бегущего, растерявшегося, обезумевшего в смертельном испуге врага.

Мы были готовы ко всему. Вдруг справа два коротких залпа, за ними тотчас же быстро-быстро заработал пулемет. Вестовой поскакал узнать, в чем дело; через две минуты сообщил, что это наши на правом фланге вызывают неприятеля на ответ. Но ответа не было. Можно было предположить, что селение очищено, но, наученные горьким опытом, тихо, осторожно, ощупью двигались на овины наши цепи. Несколько человек пулеметчиков, а с ними бойцы подхватили пулемет, подбежали к одному из ближних овинов, приладили его быстро к бою — приготовились стрелять. Но тихо... На правом фланге издалека глухо прокатилось «ура» — это наши пошли в атаку, захватив почти без боя всю группу неприятеля, что оставлена была там на охрану села. Из-за горы, с левой стороны, прогремели один за другим три орудийных выстрела... Грохот и вой ослабевали, постепенно замирали, были слышны только удары, от разрывов доносилось лишь чуть слышное эхо — значит, не по Пилю-

гину это, а сам неприятель бьет куда-то в сторону. Он бил по тем частям, которые двигались с крайнего левого фланга, ему в обхват; он переносил туда артиллерийский огонь, быстро отступал и против нас оставил лишь небольшие части,— так узнали потом, а теперь многое было все еще неясно, и можно было ждать всякого оборота и результата делу. Когда пулеметчики пристроились у овина, мы с командиром батальона приблизились, чтобы узнать, не увидели ли, не заметили ли чего-нибудь на гумнах; но там попрежнему тихо, никто не показывается — ни из белых, ни из жителей, словно мертвое стало пустое село. Осторожно, оглядываясь кругом, засматривая к стогам, за овины и сараи, медленно пробираемся вперед. Ни звука, ни шороха, ни слова, ни выстрела — в такой тишине куда страшней, чем под выстрелами. Тишина на фронте — ужасная, мучительная вещь.

Сзади нас, неподалеку, шли иваново-вознесенцы,— их красные звезды уже здесь и там мелькали среди овинов и стогов сена. Это движение, торопливое, неровное, неуверенное, происходило в могильной тишине, в ежесекундном ожидании внезапного огня...

Вдали мелькнула женская фигура: знать, крестьянка... Надо скорей разузнать...

Рысью — туда...

3. *ВСТУПЛЕНИЕ*

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся, мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только что пережитого страдания, в нем отразились недоумение и напряженный мучительный вопрос, ожидание новой, неминуемой беды, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. «Скоро ли?» — спрашивал этот усталый взгляд, и, верно, не в первый раз и не только на меня смотрела она, такая измученная, и спрашивала: «Скоро ли?» Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое, столь же измученное, серое, полумертвое лицо женщины: под глазами повисли иссиня-багровые мешки, губы высохли, выбились волосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор.

— Белые здесь аль ушли? — спрашиваю их.

— Ушли, убежали, родной,— ответила та, что выглядывала из погреба.— Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной? Стрелять будете еще?

— Нет, нет, не будем, вылезайте...

И одна за другой стали показываться из погреба женщины, только они — мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки: этих закутали одеялами, рогожами, мешками,— знать, думали, что мучной мешочек спасет их от шрапнели... Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми, мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка,— надо быть, на ней спускали его в погреб.

Когда все выползли вереницей, один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, заковыляли они к своим халупам. Большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полные испуга, замученные своим страхом, закоченевшие в сыром, холодном погребе.

На углу толпится кучка крестьян,— они тоже еще не понимают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь, или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул им.

— Здорово... Здравствуй, товарищ! — дружно ответили они.— Дождались, слава богу...

Не знаю я, верить ли этим приветственным словам. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали — из робости, от испуга. Но посмотрел на лица — и вижу настоящую, неподдельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить ее на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно.

Мы тронулись на середину деревни. Там новая толпа, но видно, что уж это не крестьяне.

— Вы што, ребята, пленные, што ли?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, што ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот человек тридцать, а то попрятались по сараям... Да вон из огородов бегут.

— Так, значит, остались?

— Так точно, сами.

— А оружие где?

— Сложили вот там, у забора.

Подъехал, посмотрел: куча винтовок. Сейчас же к оружию, к пленным наставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии.

Пленные выглядели жалко, одеты были сквернейше — кто в шубенку какую-то, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки; обуты тоже скверно — иные в валенках, в лаптях, и все это изодрано до последней степени. Они нисколько не были похожи на войско — просто толпа оборванцев. Являлось недоумение: отчего бы это они так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром снабжаются изрядно?

— Что это,— спрашиваю,— ребята, больно плохо одел вас Колчак? Неужто всех так?

— Нет, это нас только.

— За што так?

— А все не шли. Убегло наших много — кто обратно к себе, а кто в Красную Армию...

— Значит, не добром к Колчаку шли?

— А на што он нам... Своих одел с позументами, а нас — смотрите вот...— и они показывали свои дыры и лохмотья.— Да все вперед гнал, под самые выстрелы: такую, говорит, сволочь и жалеть нечего.

— А вот вы бежали бы давно...

— Так нельзя бежать-то, сзади нас он своих поставил,— эти не воевали, а только смотрели, чтобы не убегнуть...

— Ну, а теперь как же удалось?

— Да вон все в огородах... Между грядами. Полегли и ждали. А потом вышли.

— Куда же теперь: служить в Красной Армии у нас станете?

— Так точно, затем и остались, чтобы в Красной Армии. Куда же нам? Того и хотим.

Разговор на этом окончили.

Вдоль по селу мы поскакали к горе, в ту сторону, куда убежал неприятель. Части наши, видно было, уже карабкались по откосу, сгрудились на мосточке, переходили по песчаному крутому скату.

— Много ли тут белых-то было? — спрашиваю по дороге.

— Тыщу было...— отвечают крестьяне.

Но верить этим «тыщам» никогда сразу не следует, иной раз «тыща» превращается в пять, шесть тысяч, а то и просто в двести человек. Только потом, сравнив десятки сведений и показания пленных, можно приблизительно точно установить цифру. Во всяком случае, судя по обозам, войска здесь было достаточно. Недолго и не так упорно, как обычно, держался в Пилюгине неприятель, верно, потому, что заметил и опасался обходного движения на левом фланге...

— Давно ли белые убежали?

— Да недавно,— отвечали крестьяне.— Вот только-только перед вами. Надо быть, и по горе-то недалеко ушли.

Но усталые наши части не могли преследовать. Разве только кавалерию можно было пустить для испытания, но кавалерии было мало,— надежды не было и на нее.

Те, что ушли вперед и забрались на гору, все еще не теряли надежды захватить неприятельские обозы. Но захватить удалось лишь небольшую оставшуюся часть,— главный обоз давно и далеко ушел вперед.

Пилюгино расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. Перебравшись через мост, лишь с большим трудом можно было подняться на вершину. Тут в горячке произошла драматическая случайность: передовые части, поднимавшиеся прямо по откосу, как только выскочили на вершину, заметили на другом конце ползущие цепи. Открыли огонь. Им ответили... Завязалась перестрелка: это свои не узнали своих. Двое убито, пять человек поранено. Она бы окончилась еще тяжелей, если бы вовремя не понял обстановку командир того полка, что выходил из-за горы, с левой стороны; он самоотверженно, рискуя жизнью, махая в воздухе платком и шапкой, бросился по полю навстречу стрелявшим, добежал и разъяснил, в чем

дело. Когда мы на горе увидели человек шестьдесят кавалеристов, спешившихся возле потных, взмыленных коней,— приказали им разбиться на две группы: одной налево — разузнать, нет ли каких признаков, что там идут наши обходные части, другую половину услали на правую сторону, куда ушли неприятельские обозы. Связи с обходными частями так и не установили — там оказалось что-то вроде предательства, и нескольких человек пришлось арестовать, передать дело трибуналу. Но теперь мы ничего не предполагали и продолжали надеяться, что даже небольшими ударами можно добиться результатов, как только в тылу у неприятеля появятся наши полки. Но полки эти не появились, и неприятель отступил спокойно, безнаказанно, с обозами. Разведчики, что усланы были направо, как только отъехали сажен триста, были жарко обстреляны отступавшими цепями, вынуждены были спуститься в овраг и дальше двигаться кустарником.

На тачанке забрался в гору первый пулеметчик. Я его взял с собой, и поехали туда — вперед, где видны были колыхающиеся неприятельские цепи. Они отступали по ровной поляне, шли к лесу, заметно торопились, видимо ожидая преследования нашей кавалерии, не зная того, что кавалерии у нас почти нет. Сами мы, конечно, поделать ничего не могли, но все еще была какая-то смутная надежда, что вот-вот в неприятельском тылу раздадутся первые выстрелы,— тогда отсюда даже и своим пулеметом можно крепко усилить панику, деморализовать врага окончательно и отнять обоз... Все ожидания были напрасны. По пятам отступающих двигались мы версты полторы: разведка справа, а мы на горе — непрерывно обстреливали отступавших. Они отвечали и все пятились к лесу, пока не исчезли. Мы ни с чем воротились назад.

По горе залег Иваново-Вознесенский полк. Когда мы с пулеметчиком стали приближаться, заметили, как несколько человек, положив винтовки на колени, прицеливались по нас и ждали, когда подъедем ближе. Я громко закричал, что едут свои, замахал платком — предотвратил новую беду. Несколько человек поднялись нам навстречу и, когда меня узнали, покачивали головами, ахали, бранили себя за оплошность. Мы спустились с горы и въехали в село.

Здесь я встретился с Чапаевым — он объезжал части. В той атаке, что была перед овином, он участвовал лично и оттуда же вошел в село. Повернув коня, я поехал вместе с ним обратно в гору.

...Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь не дичились они, не робели, а молодежь так даже и совсем раззадорилась. Девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даешься.

Посмотрика-ка и теперь.

На горе залегла наша цепь: где-то тут в лесу, совсем неподалеку, отступают неприятельские войска; не рассеялся еще в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уже манит гармоника, и на зов ее собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки... Тут скоро пойдет плясовая — без этого не обойтись.

Потому еще здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей или насилий — не было ни одного случая даже самых мелких оскорблений и перебранки; именно *как товарищи пришли* и к товарищам, полные уважения, взаимной духовной близости.

Огромному большинству не досталось места в избушке — пришлось раскинуться бивуаком на площади у обозов.

Отыскали получше, попросторней халупу; сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел дивизии,— он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, заголосили телефоны. Скоро тут появился самоварчик. За столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. Перебивали, недоговаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать — рассказывать хотел, так как он сам был полон не остывшими еще переживаниями. Усталости как не бывало... Так за разговорами, за шумом прошло с полчаса.

Вдруг — громовой удар, за ним другой, третий... Мы переглянулись, повскакали в недоумении из-за

стола и прямо к двери. Может быть, бомбу кто-нибудь обронил?

Но тут рядом три разрыва... Если артиллерия? Но откуда же ей быть?

В это время мелькнул ружейный выстрел, за ним еще, еще, еще — поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряный лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца...

Скоро все успокоилось и приняло свой недавний вид... Уж дрожали сумерки, а за ними легко спустилась покойная звездная весенняя ночь. Тихо на селе. Ничто не напоминает о том, что только недавно закончился бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная, жадная смерть. А завтра, чуть подымется солнце — мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью.

«Ну, а сегодня как? — задаешь себе каждый день поутру тяжелый, мучительный вопрос.— Кто останется жив? Кто уйдет? С кем выступать будем в завтрашнюю зорю, с кем никогда-никогда не увижусь... после сегодняшнего боя? А впереди еще бесконечные походы, ежедневные ожесточенные бои... Весна... Начало... Колчак дрогнул лишь в первых рядах, а сокрушить надо всю огромную стотысячную массу. Как это дорого обойдется! Как много будет к осени жертв, как многих недосчитаемся вот из этих, из товарищей, что идут теперь со мною!»

После этого столь подробно описанного боя открыт был путь к Бугуруслану. Как и большинство городов,— не только в этих боях, но и вообще за всю гражданскую войну,— Бугуруслан был взят обходным движением. На улицах больших городов бои случались редко. Главный бой, последний и решающий, обычно разгорался непосредственно на городских подступах, и когда он, бой этот, был неудачен для обороняющихся, неудачник обычно уходил, оставляя самый город без боя в руки победителю. Так было и с Бугурусланом.

XI

ДО БЕЛЕБЕЯ

Чапаевская дивизия шла быстро вперед, так быстро, что другие части, отставая по важным и неважным причинам, своею медлительностью разрушали общий единый план комбинированного наступления. Выйдя далеко вперед и ударяя в лоб, она больше гнала, чем уничтожала, неприятеля или захватывала в плен. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке и любом состоянии принять удар. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости — и вдруг завязывался бой. Усталости как не бывало: выдерживают натиск, сами развивают наступление, идут в атаку, преследуют... Но бывало и так, что ежедневные бои и переходы замаривали до окончательного изнеможения. Тогда на первом же привале бросались пластом и спали, как мертвые, часто без должной охраны, разом засыпали все: и командиры, и бойцы, и караулы...

По горам, по узким тропам, бродом переходя встречные реки,— мосты неприятель взрывал, отступая,— и в дождь, и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах, день сытые, два голодные, раздетые и обутые скверно, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненные, не оставляя строя, шли победоносно они от селения к селению,— неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались героями, умирали как красные рыцари, попадали в плен и мучениками гибли под пыткой и истязаниями! С такой надежной силой нельзя было не побеждать — надо было только уметь ею управлять. Чапаев этим даром управления обладал в высокой степени,— именно управления *такою* массой, в *такой* момент, в *таком* ее состоянии, как тогда. Масса была героическая, но сырая; момент был драматический, и в пылу битв многое сходило с рук, прощалось, оправдывалось исключительностью обстановки. Та масса была как наэкзальтированная, ее состояние не передать в словах: то состояние, думается, неповторяемо, ибо явилось

оно в результате целого ряда событий — всяких событий, больших и малых, бывших ранее и сопутствовавших гражданской войне. Волга вспять не потечет, причины эти назад не возвратятся, и состояние, то состояние, родиться не может вновь. Будут *новые* моменты — и прекрасные и глубокие содержанием, но это будут *уже другие*.

И Чапаевы были только в те дни — в другие дни Чапаевых не бывает и не может быть: его родила *та* масса, в *тот* момент и в *том* своем состоянии. Потому он и мог так хорошо управлять «своею» дивизией. Как он глубоко прав был, и сам того не понимал, когда называл славную 25-ю *своею*, Чапаевской дивизией.

В нем собрались и отразились, как в зеркале, основные свойства полупартизанских войск той поры — с беспредельной удалью, решительностью и выносливостью, с неизбежной жестокостью и суровыми нравами. Бойцы считали его олицетворением героизма, хотя, как видите, ничего пока исключительно героического в действиях его не было: то, что делал лично он, делали и многие, но что делали эти многие — *не знал никто*, а что делал Чапаев — *знали все*, знали детально, с прикрасами, с легендарными подробностями, со сказочным вымыслом. Он, Чапаев, в 1918 году был отличным бойцом; в 1919-м он уже не славен был как боец, он был *героем-организатором*. Но и организатором лишь в определенном, в условном смысле: он терпеть не мог «штабов», причисляя к штабам этим все учрежденья, которые воевали не штыком,— будь то отдел снабжения, комендатура ли, связь, что угодно. В его глазах — воевал и побеждал только воин с винтовкой в руках. Штабы не любил он еще и потому, что мало в них понимал и *организовать* их по-настоящему никогда не умел, появляясь в штабе, он больше *распекал*, чем указывал, помогал и разъяснял.

Организатором он был лишь в том смысле, что самим собою — любимой и высокоавторитетной личностью — он связывал, сливал воедино *свою* дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции — например, «не отступать!» — были свя-

щенными для бойцов. Какие-нибудь разинцы, пугачевцы, домашкинцы, храня эти боевые традиции, выносили невероятные трудности, принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли: отступать полку Стеньки Разина — это значило опозорить невозвратно свое боевое героическое имя!

Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно!

Боевая страда — чапаевская стихия. Чуть затишье — и он томится, нервничает, скучает, полон тяжелых мыслей. А из конца в конец по фронту метаться — это его любимое дело. Бывало так, что и нужды острой нет,— тогда сам себе выискивал повод и мчался на пятьдесят, семьдесят, сто верст... Приедет в одну бригаду, а в соседней узнают, что он тут,— звонят: «Немедленно приезжай, имеется неотложное дело...» И скачет Чапаев туда. «Неотложного» дела, конечно, нет никакого,— друзьям-командирам просто охота посидеть, потолковать со своим вождем. Это именно они, чапаевские спутники, выносили и широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу. Без них — да и всякий другой в этом же роде — никогда не будет так славен. Для громкой славы всегда бывает мало громких и славных дел — всегда необходимы глашатаи, слепо преданные люди, которые верили бы в твое величие, были бы им ослеплены, вдохновлены и в самом славословии тебе находили бы свою собственную радость...

Мы всегда склонны дать «герою» больше того, что он имеет в действительности, и, наоборот, недодаем кое-что заслуженному и порой исключительному «рядовому».

Они, чапаевцы, считали себя счастливыми уже потому, что были соучастниками Чапаева (не испугаемся слова «героизм»,— оно имеет все права на существование, только надо знать, что это за права); озарявшие его лучи славы отблесками падали и на них. В полку Стеньки Разина были два героя, в боях потерявшие ноги; они ползали на култышках; один кое-как пробирался на костылях,— и ни один не хотел оставить свой многославный полк, каждый за счастье почитал, когда приезжавший Чапаев скажет с ним

хоть несколько слов. Они не были обузой полку: оба в боях работали на пулеметах.

Пройдут наши героические дни, и не поверят этому, сочтут за сказку, а действительно ведь было так, что два совершенно безногих бойца-красноармейца работали в боях на пулеметах. Был слепой, совсем, накругло, ничего решительно не видевший боец. Он написал один раз через своих друзей письмо в дивизионную газету,— это письмо хранится у нас до сих пор. Приводим его здесь, хоть и не полностью.

ПИСЬМО СЛЕПОГО КРАСНОАРМЕЙЦА [1]

«Товарищ редактор.

Прошу поместить в газете известия роковое событие, мое приключение — бегство от Уральского казачества к товарищам большевикам. Сообщаю в кратких объяснениях, что мы жили между казачеством и Красной армией на Уральской железнодорожной станции. Старшие два брата мои служили на поездах во время войны казачества с Красной армией. Когда было первое наступление на Уральск товарища Ермощенко 20 апреля (по новому стилю 3 мая), на станцию Семиглавый Мар,— 23 апреля, т. е. 6 мая, от войскового правительства был издан приказ мобилизации крестьян, как проживающих в городе Уральской области. Братья мои отказались итти против Красной армии с оружием в руках; подлежащие мобилизации от казачества, братья мои решительно заявили, что мы не пойдем против своих товарищей большевиков, за что были расстреляны казаками 23 июня в 12 ч. ночи. Я остался один, сирота, совершенно безо всякого приюта. Родители мои померли пять лет тому назад, больше нет у меня никаких сродственников нигде. Вдобавок того совершенно слепой, лишенный зрения, после расстрела моих братьев пошел я к войсковому правительству просить приюта; войсковое правительство мне объявило, что братья твои не пошли воевать против Красной ар-

[1] Отдельные выражения и грамматические промахи оставляем в неприкосновенности, только кое-где расставили для удобочитаемости знаки препинания.

мии — так и ты иди к своим товарищам большевикам, пускай они дадут тебе приют. Тогда я им сказал в ответ: наверно, вы не напьетесь невинной крови, кровожадные звери — за что и был заключен я в тюрьму и ожидал расстрела; просидел 15 дней в тюремном заключении, и меня освободили. Пробывши я несколько дней под стенами города без куска хлеба и решился итти под покров к своим, товарищам большевикам. И несмотря на то, что совершенно слепой, решился добраться я до своих товарищей или заблудиться и погибнуть где-нибудь в степи, нежели жить в казачьих руках. Один товарищ проводил меня тайно от Уральска на дорогу, сказал мне: иди по направлению так, чтобы солнце светило тебе в затылок, таким способом ты можешь выйти в Россию. Простились мы с товарищем, и я пошел в путь. Проходя несколько верст, я сбился с указанного мне направления, пошел сам не знаю куда. В это время мне пришла на мысль смерть моих братьев, бедствие, скорбь и горе — испытания, тяжелые муки... Шел шесть дней степью, голодный и холодный, на шестой день моего путешествия стал изнемогать силой, уста мои залитые кровью, потому что нет хлеба, капли воды, нечем утолить страшный голод. Обливая путь свой горькими слезами, нет надежды на спасение жизни. Тогда я воскликнул громко: «Любезные мои братья! Вы лежите в земле спокойно, а меня оставили на горе. Возьмите меня к себе, прекратите мое страдание, я умираю от голода среди степи, кто придет здесь ко мне на помощь горьких слез, нигде нет никово»... Вдруг слышу спереди собачий лай и детские голоса, и я на слух пришел, спросил детей, какой это хутор — казачий или мужичий. Мне сказали, что это хутор мужичий Красны Талы, находится в семи верстах от казачьей грани. Один мужик взял меня к себе в дом, напоил, накормил, утолил мой голод, утром проводил меня в село Малаховку, и тут я уже с трудом добрался до Петровской волости...»

Дальше он рассказывает, как хорошо его приняли в Советской России, как приласкали, окружили заботами.

«Председатель Совета Иван Иванович Девицын горячо приветствовал меня, был в великой радости и в восторге. Теперь у своих товарищей большевиков забыл я страдания и считаю себя в безопасности... Поместили меня в доме в просторную комнату, дали мне мягкую постель, сняли с меня оборванное, грязное белье, обули, одели меня в новый, чистый костюм экономический и продовольственный отделы... Живу я настоящим «буржуем», выражаю великую благодарность, глубокое чувство...»

Идет перечисление лиц, которым выражается благодарность, и заканчивается письмо таким образом:

«Да здравствует Всероссийская Советская Республика, товарищ Ленин, да здравствует непобедимый герой товарищ Чапаев, да здравствует волостной Совет, экономический и продовольственный отдел!»

Не письмо, а целая поэма. И такой мученик за Советскую власть, слепой красноармеец, чтивший подвиги Чапаева, как святыню, был лучшим повествователем, бандуристом-чапаевцем, рассказывающим были и небылицы, еще больше верившим своим небылицам, ибо создавал их сам, разукрашивал сам. А кто же так силен, чтобы не поверить своему собственному вымыслу?

Слава Чапаева гремела далеко за пределами Красной Армии.

У нас сохранилось другое письмо, какого-то советского работника из Новоузенска,— прочтите и увидите, как беспредельно велика была вера во всемогущество Чапаева: его считали не только вождем-бойцом, но и полноправным хозяином в тех местах, где проходили и воевали полки Чапаевской дивизии. Отпечатано письмо на вощеной бумаге, запаковано было тщательно, прислано Чапаеву с нарочным-посыльным. Какой-то советский работник, Тимофей Пантелеймонович Спичкин, жалуется ему на несправедливости новоузенские, просит помощи; только у Чапаева надеется он обрести быстрое и справедливое решение вопроса. Он пишет:

СРОЧНАЯ

ДИВИЗИОННОМУ КОМАНДИРУ
ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ ТОВАРИЩУ ЧАПАЕВУ

Председателя Новоузенского
Совета народных судей Тимофея
Пантелеймоновича Спичкина

Вопиющая жалоба.

Прошу Вас, товарищ Чапаев, обратить на эту жалобу свое особое *геройское* внимание. Меня знают второй год Уральского фронта за честного советского работника, но злые люди, новоузенские воры и преступники, стараются меня очернить и сделать сумасшедшим, чтобы моим заявлениям на воров не придавать значения. Дело обстоит так. 16 воров украли... (идет перечень фамилий, кто сколько крал). Когда я, Спичкин, заявил об этом расхищении в Самару, то оставшиеся не арестованными 14 воров (двое арестованы) заявили, что Спичкин сумасшедший, и потребовали врачей освидетельствовать Спичкина. Врачи признали меня умственно здоровым. Тогда 14 новоузенских воров-грабителей сказали: «Мы вам не верим» и отправляют меня в Самару, в губисполком, для освидетельствования через врачей-психиатров. Но, принимая во внимание, что теперь вся правда и справедливость на фронте у героев и красноармейцев, подобных как Вы, товарищ Чапаев,— я, Спичкин, Вас срочно прошу сделать нужное распоряжение, помочь в Новоузенске арестовать всех перечисленных 14 воров, направить их в Самару для предания суду Ревтрибунала, и за это Вам население скажет большое спасибо, так как во мнении народном имя Ваше славно как самоотверженного героя и стойкого защитника республики и свобод. Я на Вас вполне надеюсь, товарищ Чапаев, защитите и меня от 16 новоузенских воров-грабителей.

25 апреля 1919 года.

Тимофей Спичкин».

В «приложении» к этому делу Спичкин указывает Чапаеву, где и как «раскопать» весь материал, заключая следующими словами:

«Я прошу немедленно арестовать без всякого стеснения всех оставшихся... воров и повторяю... Ваше славное имя будет еще славнее за такую защиту населения от мародеров-воров и избавление населения от этих грязных пауков-микробов».

Не менее блестящим является спичкинское «заявление», явившееся, по всей видимости, результатом гонений на него четырнадцати «пауков-микробов».

«Вы, товарищ Чапаев, признанный герой всенародно, и славное Ваше имя гремит повсюду — Вас поминают даже дети. Я, Спичкин, признанный герой, но не в военном искусстве, а в искусстве гражданском. У меня также есть великие порывы к славе и доблести. Прошу Вас этому верить! Вы убедитесь в этом на деле. Я, Спичкин, воплощенная огненная энергия и воплощенный труд. Считал бы за счастье видеть Вас лично, а Вам познакомиться со мною, Спичкиным. Будучи от природы человеком кристальной честности, любя народ, за который отдавал душу (что могу передать Вам лично о своих больших подвигах), я желал бы немедленно стать Вашею правою рукою и свою огненную энергию отдать для Вашего военного дела по отражению всеми ненавидимого бандита — Колчака. Прошу Вас немедленно принять меня в ряды Красной Армии добровольцем, в славный Ваш полк по имени Стеньки Разина.

Председатель Новоузенского Совета народных судей

Тимофей Спичкин».

И «вопиющая жалоба» и «заявление» Спичкина полны противоречий, неточности, действительно производят впечатление горячечного бреда, но все, что выражено здесь сгущенно,— в другой форме, другими словами на каждом шагу повторялось в чапаевской практике. И характерно то, что он, Чапаев, никогда не отказывался от вмешательства в подобные дела; наоборот, любил разобрать все сам, докопаться до дна, вывести разных негодяев и шалопаев на чистую воду. Эти письма пришли в разгар наступ-

ления, и потому хода им он не мог дать ни малейшего, но тревожился, помнил долго, все время имел охоту побывать там, на месте, и разобрать. Ограничился только грозным письмом, где метал на «виновных» громы и молнии. Увы, эти «четырнадцать пауков-микробов» без всякого разбирательства, заочно, уже были для Чапаева совершенно бесспорными *подлецами*. Верил он всему с чрезвычайной легкостью; впрочем, с такой же легкостью во всем и разуверялся — во всем, но только не в делах и вопросах военных: здесь как раз наоборот — ничему не верил, а работал исключительно «своим умом».

Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особенными, «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему неувядаемую славу «героя»,— видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые «человеческие»; многих ценных качеств даже и вовсе не было, а те, что были, отличались только удивительной какой-то свежестью, четкостью и остротой. Он качествами своими умел владеть отлично: порожденный сырой, полупартизанской крестьянской массой, он ее наэлектризовал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала она сама,— и в центре ставил себя!

Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл и сам Чапаев как личность в гражданской войне, однако же следует знать и помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но спросят: почему именно о *нем*, о Чапаеве, создавались эти легенды, почему именно его имя пользовалось такой популярностью?

Да потому, что он *полнее многих* в себе воплотил сырую и геройскую массу «своих» бойцов. В тон им пришелся своими поступками. Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми,— личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки, и так ему помогали это делать свои, близкие люди, что в результате от поступков его неизменно излучался аромат богатырства и чудесности.

Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам.

Нет нужды описывать операцию за операцией, нет нужды распространяться об оперативных приказах, их достоинствах и ошибках, об успехах наших и о поражениях: этого будут касаться те, что дадут специально военные очерки. Мы же в очерке своем нисколько не претендуем на полноту изложения событий, на их точную последовательность, строгость дат, мест, имен... Мы исключительно даем зарисовки быта, родившегося той порой и для той поры характерного. Вот хотя бы и теперь, в пути до Белебея, не станем следить, как развертывались чисто военные операции, а приведем всего две-три бытовые картинки, которые тогда имели место.

За Бугурусланом, от селения Дмитровского на Татарский Кондыз, шла сизовская бригада. Здесь были ожесточенные бои. Отдавши Бугуруслан, неприятель все еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, что конец пришел его победоносному шествию, что теперь его будут гнать, а он — обороняться, отступать. Напрягся он силами, встретил крепкими ударами натиск красных полков. Но уже поздно,— могучий дух уверенности в победе отлетел от белых армий, примчался к красноармейцам, дал им бодрость, заразил их той неутомимостью и отвагой, которые живы только при уверенности в победе.

Момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок — не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая словно нальется живительной таинственной влагой, подымется на дыбы, ощетинится, засверкает, станет

грозна и прекрасна в своем неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнет, настолько выхворается, станет бескровным и вялым, что ему остается один конец — умереть. Внутренний долгий, изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью. Такого обреченного на неминуемую смерть, но все еще живого покойника представляла собою в бугурусланские дни еще так недавно могучая, непобедимая армия белого адмирала. История же тогда приложила суровой рукой позорную печать бесславной смерти на ее низкий, преступный лоб.

А Красная Армия, такая упругая и сжатая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрик и заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек,— она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю, который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила.

Этим настроением полна была и Чапаевская дивизия, с этим настроением сизовская бригада била неприятеля под Русским и Татарским Кондызами.

В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях Сизова и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ.

Это еще выше подняло победный дух бойцам, а сам Сизов, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами.

— Ну, коли так,— сказал Чапаев,— клятву зря не давай. Видишь эти горы? — И он из окна указал Сизову куда-то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений.— Бери их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!

— Идет! — засмеялся радостный Сизов.

А дня через три после этих торжественных обещаний они едва не пострелялись. Федор Клычков, жестоко простуженный, лежал тогда в постели и вместо себя с Чапаевым отпускал в странствия по фронту помощника своего Крайнюкова. И вот на третьей же поездке приключилась эта самая «история», но больному Клычкову про нее ничего не рассказывали — к нему долетали лишь одни глухие слухи. Чапаев тоже молчал и сумрачно отнекивался, когда разговор подходил к этой теме. Зато Сизов рассказал все

охотно и подробно, лишь только по выздоровлении Федор приехал к нему в штаб.

— Одна ошибка, товарищ Клычков, сущая ошибка,— рассказывал он Федору.— Оба мы немного недосмотрели за собой... глупость... словом, пустяки, и рассказывать бы не стоило, да ладно, сам люблю эти глупости вспоминать... Он ведь какой — огонь! Чего с него взять? Запалит да, того гляди, и сам сгорит... Досматривать надо, а тебя не было в то время... Этот миляга, заместитель, смеется, а в спор с ним не вступает, ну, и не каждого он слушает, Чапаев... Всему так быть, значит, и надо было, чтобы мы покуражились, только беды в этом ровно нет никакой!.. Как сейчас помню — устал я, аж ноги зудят!.. Сил нет никаких... Дай, думаю, засну, авось отойдет... Как ляпнулся, так и был, да нет! Васька — мальчишка,— ну, вестовой у меня, помнишь, жуликоватый такой,— избушку у татарина раздобыл: мала, грязна, да и нет ничего, одна лавка по стене. Ткнулся я на лавку — сплю непробудным. А перед сном я Ваське наказал: «Ты,— говорю,— шельмец, чтобы курица наутро была готова. Понял?» — «Понял»,— говорит. И черт-те што мне тогда и снилось... Будто самого Колчака вместо курицы вилкой ковыряю. Я его ковырну, а он наклонится... я его ковырну, а он припадет да еще, собака, обернет голову и смеется... Такое меня зло взяло — как его тресну вилкой по башке, ан шашка пополам, словно, выходит, и ударил я шашкой, а не вилкой. Схватил осколок, тычу, тычу ему в голову, а вместо головы получается телеграфный столб, и одна за другой, как галчата, на юзе буковки скачут. Я понимаю, что это мне приказ дает Чапаев, с приказом я не согласен был. Разбей, говорит, а преследовать будет другая бригада! Поди-ка, думаю, сам знаешь куда: должен я буду за кровь-то отомстить или нет? Кто мне сто человек заплатит, которых я на горе положил? Кургин, кричу, приказ пиши... У Кургина всегда бумага в руке, а карандаш за ухом. Несется почем зря. Я и оглянуться не успел, как он заголовок отчекрыжил. Скажи, говорю, приказом: как только собьют неприятеля — бить его надо и гнать пятнадцать верст! Понял? Тоже, говорит, понял. Они с Васькой все понимали у меня по голосу, да уж и стоили один другого. Знаю, что баня от Ча-

паева будет, а как ты делать станешь, когда он такую дыру проделал? Я вызывал его к проводу, объяснить все хотел, разговорить, а этот негодяй Плешков — он ведь начальником штаба в дивизии-то был — даже и не подозвал Чапаева: приказ, говорит, отдан, и разговоров быть ни о чем не может. Што ж, тебе, думаю: не может — так не может, а у меня своя голова на плечах. Приказ Курга смастерил, я его подписал — заиграла музыка... Только знаю, что добром не пройдет,— не любит Чапаев, когда у него приказы переделываются. Спал я, спал, смотрел разные сны, да как вдруг вскочу на лавке... Видишь ли, почти и солнце не взошло, сумерки... А Чапаев уж тут как тут — не вытерпел, всю ночь скакал.

— Ты што,— говорит,— сволочь?

— Я не сволочь, товарищ Чапаев,— говорю,— вы это осторожнее...

Он за револьвер. «Застрелю!» — верезжит. Да только к кобуре, а я свой уж вынул и докладываю: у меня пуля дослана — давай пульнемся...

— Вон из комбригов! — кричит.— Я тебя сейчас же с должности сменю... Пиши рапорт — Михайлов будет замещать. Михайлова вместо тебя, а сам вон, вон! Это што за командир! Я говорю — стой, а он бежать пятнадцать верст. Это што, што это такое, а? Это командир-то бригады, а?

Уж вот крестил, вот крестил, а револьвер, одначе, так и не вынул, да и я свой убрал... Говорить тут нечего: Курга, кричу, приказ пиши... Да и написал как следует...

— Четырех гонцов немедленно...

Подскакали.

— Вот пакеты Михайлову, неситесь, да живо у меня!

Только и видели, улетели... Сидим — молчим... Буря прошла, слова-то все были сказаны... Я на лавке сижу, а Чапаю сесть негде — стоит у стенки... Глаза синие, злые сделались, так и подсвечивают. Ничего, мол, отойдешь, соколик, притихнешь... А на этот момент, видишь ли, Васька голову в двери высунул и пищит:

— Так что курица совсем готова...

Ругаться — ругаться, а позвать надо.

— Товарищ Чапаев, пожалуйте,— говорю,— курицу кушать в сад.

Там садишко был такой небольшой.

— Хорошо,— говорит.

Хоть, слышу, голос и неприветливый, а уж злобы и нет. Засмеялся бы, может, да стыдно...

Вышли в садишко, сели, молчим.

— Сизов,— говорит,— останови гонцов.

— Нельзя их, товарищ Чапаев, остановить,— отвечаю.— Где же их остановишь, когда улетели?

— А отрядить лучших,— кричит, и опять обагровел.

— Нет лучших — они самые лучшие...

— А ты еще лучше, самых лучших пошли! Не понимаешь, что ли, о чем я говорю?

Как же не понимать — все понимаю. Да про себя молчу: дай, мол, щипну его, потому што отчего «сволочью» бранит?

— Зачем,— говорю,— сволочью ругаешься? Я свое самолюбие имею. Виноват, так суди, в трибунал отдай, расстреляют пусть, а ругаться сволочью не смей...

— Я по горячке,— говорит,— а ты не все тово...

Ну, еще поседлали — теперь шестерых. Как рванули — птицами! Через час все воротились — тех выстрелами остановили.

Тут же все приказы эти драть, рвать — бросили...

— Не тронь,— говорит,— своего приказа, пускай гонют, приказы отменять не надо... А я сам переменю што надо...

Тому и конец — больше нет ничего. Как съели курицу — ни одного слова худого друг дружке не сказали... У нас, товарищ Клычков, и все так,— закончил Сизов.— Шумим-шумим, а потом чай усядемся пить да беседы разводить...

— Ну, и все? — спросил, усмехнувшись, Федор.

— А то чего,— осклабился Сизов.— Только на обратном пути, когда я дело все сделал,— и горы отнял, и в плен нагнал вот тех, что в дивизию на днях переправил,— едет опять.

— Здорово,— говорит,— Сизов! — А сам смеется, веселый.

— Здравствуй,— говорю,— Чапаев. Как твое здоровье?

Ничего не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза.

— На вот, бери,— говорит,— завоевал ты ее у меня.

Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало,— черную достал свою: на, мол, и меня помни!

Ведь когда уж наобещал — слово сдержит, ты сам его знаешь...

На этом разговор прекратился: Сизова позвали на телефон, чего-то просили из полка. Да Федор и сам не возобновлял разговора,— видимо, все было сказано, что случилось тогда. Ничего серьезного. Ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная: как только она отвернулась — уж так и знай, переломают ноги себе и другим.

С боем вошел в Трифоновку и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспрашивать хозяина,— тот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность, сами же красноармейцы взялись просить «в случае чего» своего командира и комиссара, только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальнейших рассуждений повел их под навес и там на куче навоза, чуть разбросав с макушки, указал на что-то окровавленное, бесформенное, грязно-багровое: «Вот!» Бойцы переглянулись недоуменно, подошли ближе и в этой бесформенной, залитой кровью массе узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два теплых трупа: красноармейцы.

Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука,— державшие вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз... и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь... Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный

блеск говорил, что мысли уже не было... Весть о страшной находке облетела весь полк. Бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чем дело, все терялись в догадках и предположениях. Крестьянину учинили допрос. Он не упирался, рассказал все, как было.

Два красноармейца, кашевары Интернационального полка, по ошибке попали сюда несколько часов назад, приняв Трифоновку, занятую белыми, за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыскакали сидевшие там казаки, с криком набросились на опешивших кашеваров, стащили их на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали: куда и откуда они, справлялись, где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли, но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять.

— Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков.

— Ничего,— ответили пленные.

— А это што у вас вот тут, на шапке-то, звезды? Советская власть сидит? На-ка, нацепили...

Красноармейцы стояли молча, видимо, чуяли недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали, не глумились, а теперь насчет «звезды» и брань поднялась и угрозы, одного ткнули в бок.

— Кашу делал?

— Делал,— тихо ответил кашевар.

— Большевиков кормил?

— Всех кормил,— еще тише ответил тот.

— Всех?! — вскочил казак.— Знаем мы, как всех вы кормили, подлецы! Все разорили, везде напакостили...

Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь... Только этого и ждали, как сигнала: удар по лицу развязал всем руки, вид крови привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с места казаки начали колотить крас-

ноармейцев чем попало, сбили с ног, топтали, плевали.

Наконец один из подлецов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали веревками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тела. Вырежут — посыплют солью, вырежут — и посыплют. От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут: резали и солили... Потом кто-то ткнул в грудь штыком; за ним другой... Но их остановили: можешь заколоть насмерть, мало помучился! Одного все-таки прикололи. Другой чуть дышал — это он вон теперь и умирал перед полком...

Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кашеваров оттащили и спрятали в навоз...

И вся история...

Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести.

В эти минуты приехал Федор с Чапаевым. Они лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести.

Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпа, разошлись. В утреннем бою ни одного из пленных не довели до штаба полка... Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести: за кровь там платят только кровью!..

Даже и на себе Федор испытал отдаленное, но несомненное влияние этой истории: он на следующий день подписал первый смертный приговор белому офицеру. Про случай этот, пожалуй, стоит рассказать.

Вышло все таким образом.

Приехали в Русский Кондыз к Сизову. Он в утренней атаке захватил сегодня человек восемьдесят пленных. Охраны у них почти никакой.

— Будьте спокойны, не убегут, палкой их не уго-

нишь теперь к Колчаку! Рады-радешеньки, что в плен попали!

— Что, Сизов, опять? — спросил Федор, мотнув головой в сторону пленных.

— Так точно,— ухмыльнулся тот.— Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они — вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не тронь, ради Христа. Ну, и загнали.

— А офицеры?

— И офицеры были... Да не пожелали в плен-то идти, говорят — невесело у нас...

Сизов многозначительно глянул на Федора, и тот больше не стал расспрашивать.

— А может быть, и еще остались?

— Может быть, да молчат што-то.

— А солдаты разве не выдают?

— Видите ли,— пояснил Сизов,— солдаты тут у них перепутались из разных частей, не знают друг дружку, пополнения какие-то подоспели...

— А ну-ка,— обратился Федор,— давай попытаем вместе... Только прежде я хочу с пленными поговорить — так, о разном, обо всем понемногу.

Когда Федор начал говорить, многие слушали не только со вниманием и интересом — мало того: они слушали просто с недоверием, с изумлением, которое написано было в выражении лиц, в растерянно остановившихся взорах. Было ясно, что многое слышат они лишь впервые, совсем того и не знали, не предполагали, не допускали того, о чем теперь рассказывал им Клычков.

— Вот я вам теперь все пояснил,— заканчивал Федор.— Без преувеличений, без обмана, чистоганом выложил всю нашу правду, а дальше разбирайтесь сами, как знаете... что вам дорого и близко: то ли, что видели и чего не видели вы у Колчака, или вот то, про что я вам теперь говорил. Но знайте, что нам необходимы лишь смелые, настоящие и сознательные защитники Советской власти, только такие, на которых можно было бы всегда положиться... Подумайте. И если кто надумает бороться вместе с нами — заяви: мы никогда не отталкиваем таких, как вы, обманом попавших к Колчаку...

Он кончил. Посыпались вопросы и политические, и военные, и по части вступления в Красную Армию...

Кстати сказать, из них бойцами вступило больше половины, и потом Сизову никогда не приходилось каяться, что влил их в свои славные полки.

Выстроили в две шеренги. Клычков обходил, осматривал, как одеты и обуты, задавал отдельные вопросы. Некоторые лица останавливали на себе внимание,— видно было, что это не рабочие, не простые деревенские ребята; их отводили в сторону и потом в штабе дополнительно и подробно устанавливали личность. Один особенно наводил на сомнения. Смотрит нагло, вызывающе, стоит и злорадно ухмыляется всей процедуре осмотра и опроса, как будто хочет сказать: «Эх вы, серые черти, не вам нас опрашивать!»

Одет-то он был наполовину как простой солдат, но и тут являлось подозрение: штаны и сапоги отличные, а рубаха дрянная, дырявая, по всей видимости — с чужого плеча; на его выхоленное дородное тело напяливалась она лишь с трудом, а ворот так и совсем не сходился на здоровеннейшей пунцовой шее, напоминавшей свиную ляжку. На голове обыкновенная солдатская фуражка — опять видно, что чужая: не пристала к лицу, да совсем ее носить-то не может. Не чувствуется в нем простой солдат.

Федор сначала прошел мимо, не сказал ни слова, а на обратном пути остановился против и в упор, неожиданно спросил:

— Ведь вы — офицер, да?

— Я не... нет, я рядовой,— заторопился и смутился тот.— А почему вы думаете?

— Да так, я знаю вас,— схитрил Клычков.

— Меня знаете? Откуда? — уставился тот.

— Знаю,— пустил себе под нос Федор.— Но вот что: нам здесь воспоминаниями не заниматься. Я вас еще раз спрашиваю: офицер вы или нет?

— Еще раз отвечаю,— выпрямился тот и занес высоко голову,— я не офицер...

— Ну, хорошо, на себя пеняйте...

Федор вывел его вперед, вместе с ним вывел еще несколько человек и со всею группою пошел рядами, но прежде обратился к колчаковским солдатам с коротким и горячим словом, рассказав, какую роль играет белое офицерство в борьбе трудящихся против своих врагов и как это белое офицерство надо из-

ничтожать, раз оно открыто идет против Советской власти.

Пошел по рядам, показывая группу: спрашивал — не узнает ли кто в этих лицах офицеров. Откормленного господина признало разом несколько человек, когда с него сняли фуражку.

— Как же, знаем, офицер непременно...

И они назвали часть, которой он командовал.

— Только его и видели два дня, а как же не узнать... Он воротник давеча поднял, а картуз, значит, опустил — и не усмотришь. А теперь, как же его не узнаешь. Он и есть...

Солдаты «опознавали» с видимым удовольствием. Всего в тот раз опознали несколько человек, но из офицеров был только этот один, а то все чиновники, служащие разные, администрация...

— Ну, что же? — обернулся теперь к нему Федор.

Тот смотрел в землю и упорно молчал.

— Правду солдаты-то говорят? — еще раз спросил Федор.

— Да, правду. Ну, так что же? — И он, видимо поняв серьезность положения, решил держаться с той же высокомерной наглостью, как при первом допросе, когда обманывал.

— Так я же вас спрашивал... и предупреждал...

— А я не хотел,— отрезал офицер.

Федор решил было сейчас же отправить его вместе с группой чиновников в штаб, но вспомнил, что еще не делали обыска.

— А ну-ка, распорядитесь обыскать,— обратился он к стоявшему тут же молчавшему Сизову.

— Да чего же распоряжаться,— сорвался тот,— я сам...

И он принялся шарить по карманам. Вытащил разную мелочь.

— Больше ничего нет?

— Ничего.

— А может, еще что? — спросил Сизов.

— Сказал — значит, нет,— грубо оборвал офицер.

Этот его заносчивый, презрительный и вызывающий тон волновал невероятно. Сизов вытащил какое-то письмо, развернул, передал Федору, и тот узнал из него, что офицер — бывший семинарист, сын попа и больше года борется против Советской власти.

Письмо, видимо, от невесты. Пишет она из ближнего города, откуда только что выгнали белых. «Отступят белые не надолго...— говорилось там,— терпи... от красных нам житья нет никакого... Пусть тебя хранит господь, да и сам храни себя, чтобы отомстить большевикам...»

Кровь ударила Федору в голову.

— Довольно! Ведите! — крикнул он.

— Расстрелять? — в упор и с какой-то ужасающей простотой спросил его Сизов.

— Да, да, ведите...

Офицера увели. Через две минуты был слышен залп,— его расстреляли.

В другое время Федор поступил бы, верно, иначе, а тут не выходило из памяти два трупа замученных красноармейцев с вырезанными полосами мяса с просоленными глубокими ранами...

Потом — это упорство, нагло вызывающий офицерский тон и, наконец, письмо невесты, рисовавшее с несомненной точностью и физиономию офицера-жениха.

Клычков был неспокоен, весь день был настроен тревожно и мрачно, не улыбался, не шутил, говорил мало и неохотно, старался все время остаться один... Но только первый день, а наутро — как ни в чем не бывало. Да и странно было бы на фронте долго мучиться этими переживаниями, когда день за днем, час за часом видишь потрясающие, ужасные картины, где не один, а десятки, сотни, тысячи являются жертвами...

Кровавые следы войны,— растерзанные трупы, искалеченные тела, сожженные селения, жители, выброшенные и умирающие с голоду,— эти кровавые следы, по которым и к которым вновь и вновь идет армия, не дадут они долго мучиться только одною из тысячи мрачных картин войны! Они заслоняют ее другими. Так было и с Федором: он уже наутро вспоминал спокойно, что вчера только первый раз приказал расстрелять человека...

— Тебе в диковинку! — смеялся Чапаев.— А побыл бы ты с нами в 1918 году... Как же ты там без расстрела-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их некому, каждый боец на счету — в атаку нужно, а не на конвой. Всю пачку так и прикан-

чиваешь... Да все едино,— они нас миловали, что ли? Эге, батенька!

— А первый свой приговор, Чапаев, помнишь?

— Ну, может, и не самый первый, а знаю, што трудно было... Тут всегда трудно начинать-то, а потом привыкнешь...

— К чему? Убивать?

— Да,— просто ответил Чапаев,— убивать. Вон к примеру возьмем, приедет кавалерист из школы там какой-нибудь. Он тебе и этак и так рубит... Ну, по воздуху-то ловко рубит, подлец, очень ловко, а как только человека секануть надо — куда вся ученость пропала: разок, другой — одна смятка. А обойдется — и ничего. Всегда по первому-то разу не тово...

Говорил Федор и с другими закаленными, старинными бойцами. В один ему голос утверждали, что в каком бы то ни было виде заколоть, зарубить ли, приказ ли отдать о расстреле или расстрелять самому — с любыми нервами, с любым сердцем, *по первому разу* робко чувствует себя человек, смущенно и покаянно; зато потом, особенно на войне, где все время пахнет кровью, чувствительность в этом направлении притупляется, и уничтожение врага в какой бы то ни было форме имеет характер почти механический.

— Степкин-то, вестовой у меня,— обратился Сизов к Федору,— он тоже ведь расстрелянный, я сам и приказ-то отдал насчет его.

— То есть как расстрелянный? — удивился Федор.

— А так вот...

И Сизов рассказал, как на Уральском фронте чуть того и в самом деле не расстреляли.

— Он на пулемете сидел,— рассказывал Сизов.— Да и парень, как все, с доверием был. А в станице какой-то ведут, гляжу,— бабенку, дескать, изнасиловал. Стойте, мол, ребята, верно ли, давайте-ка бабу сюда на допрос, а ты, Степкин, оставайся, вместе допрашивать стану. Сидит Степкин, молчит. Спрошу — только головой мотает да мычит несуразное. А один раз — уж как прийти самой бабе — «верно, говорит, было»... Тут и баба на порог. Губа у него не дура — выбрал казачку ядреную, годов на двадцать пять. Комиссар тут и все собрались. Ничего, мол, поделать нельзя, расстрелять придется Степкина, чтобы дру-

гим повадно не было. Тут Армия Красная идет, освобождать идет, а баб насилует; за это хочешь — не хочешь, а конец один... Да и были случаи, своих кончали; чем же Степкин счастливее? Помиловать, так и што же, рассуждаем мы, получиться должно: дескать, вали, ребята, а наказывать не будем? Как подумаю — ясное дело, а как посмотрю на Степкина — жалко мне его, и парень-то он золотой на походах... Комиссар уже приказал там в команде. Приходят:

— Кого тут брать?

— А погодите, допрос чиним,— говорю.— Насиловал, Степкин, сознавайся?

— Так нешто,— говорит,— я не сознаюсь?

— Зачем ты это сделал? — кричу ему.

— А я,— говорит,— почем знаю, не помню...

— Да знаешь ли ты, Степкин, што тебя ожидает за самое это дело?!

— Не знаю, товарищ командир...

— Тебя же расстрелять придется, дурова голова,— расстре-лять!..

А он этак тихо:

— Воля ваша,— говорит,— товарищ командир, ежели так — оно, значит, уж так и есть...

— Нельзя не расстрелять тебя, Степкин,— внушаю я ему.— Ты должен сам понять, што вся станица хулиганами звать нас будет... И за дело... Потому што какая же мы Красная Армия, коли на баб кидаемся?

Стоит, молчит, только голову еще ниже опустил.

— Уж тебя простить, так и всякого надо простить. Так ли? — спрашиваю.

— Выходит, што так.

— Понял все? — говорю.

— Так точно, понял...

— Эх ты, Степкин, чертова кукла! — осердился я.— И на што тебе баба эта далась? Сидел бы на тачанке, и беды бы никакой не было... А то — на-ка!

Зачесывает по затылку — молчит. А я бабешку-то: как он, мол, тебя? Шустрая бабенка, говорить любит.

— Чего — как? Сгреб, да и все... Я верезжу, я ему в рожу-то поганую плюю, а он — вон черт какой... сладишь с ним?

— Значит?

— Так вот и значит...— говорит.

— Мы его наказать хотим,— говорю.

— Так его и надо, подлеца,— закудахтала казачка.— Вот рожу-то уставил негодящую... Распеканку ему дать, штобы знал...

— Да нет, не распеканку, мы его рас-стре-лять хотим...

Баба так и присела, открыв рот, выпучив глаза, развела руками...

— Да, да, расстрелять хотим! — повторяю ей.

— Ну, как же это? — всплеснула руками казачка.— Боже ты мой, господи, а и разве можно человека губить?.. Ну, што это, господи! — всполошилась, кружится у стола-то, ревет...

— Сама жаловалась, поздно теперь,— говорю.

А она:

— Чего ж жаловалась,— говорит,— рази я жаловалась?.. Я только говорю, што побег он за мной... Догонять стал, да не догнал...

— Так значит...

— Вот то и значит, што не догнал. А чего он, поганый, сделать хотел — да почем,— говорит,— я знаю, што он хотел... в голову-то я ему не лазила...

Я ей смотрю в лицо-то, што врет, а не останавливаю,— пущай соврет: может, и верно, Степкин-то жив останется... А штобы только она не звонила, сраму-то не гнала на нас. А што у них там случилось — да плевать мне больно. Она и сама, может, охотница была... Думаю, коли ревет да просит — на всю станицу говорить будет, што соврала, обидеть хотела Степкина-то... Я и подсластил:

— Будет,— говорю,— будет, молодка... Тут все дело ясно, и надо вести...

— Куда его вести? — заверезжала бабенка.— Я вам не дам его никуда — вот што...

Да как кинется к нему — обхватила, уцепилась, плачет, а сама бранью бранится, с места нейдет, трясется, как лист от ветру.

— Могла бы ты его спасти, да не захочешь сама... Вон мужа-то нет у тебя два года, а смотри — яблоко яблоком... Если бы ты вот замуж за него — ну, туда-сюда, а то... нет...

— Чего его замуж? Не хочу я замуж!

— А не хочешь,— говорю,— тогда мы должны бу-

дем делать свое дело.— И встаю со стула, как будто уходить собрался.

— Да он и венчаться не будет! — крикнула мне сквозь слезы казачка.— Он, поди, и бога не знает.— А сама не пускает Степкина, обхватила кругом.

И он, как теленок, стоит, молчит, не движется, как будто и не о нем вся речь идет...

— Там как хотите мне,— отвечаю,— только штобы разом все сказать: миритесь али не миритесь?..

Она разжала руки, отпустила своего нареченного, да так вся рожа расползлась до ушей, улыбается...

— Чего же,— говорит,— нам браниться?

И он, черт, смеется: понял, в чем дело, куда мы его обернули.

Чтобы никаких там не было, мы их обоих вон из избы — молодым, дескать, тут делать нечего. Все стоят у стола-то, смеются вдогонку, разные советы посылают... Вышло, что Степкин-то и нажил в этот вечер. А я его наутро зову, говорю:

— Вот что, Степкин: дурачком мы тебя женили, а завтра в поход. Бабенку за собой не таскай, если чего там у вас и вправду пошло... А тебе, чтобы грех заправить, я задачу даю: заслужи награду... Как только бой случится — награду заслужи, а то не прощу никогда и на первом случае подлецом тебя считать буду...

— Слушаю,— говорит,— заслужу...

— Ну, и заслужил? — спросил Федор.

— А то как же: портсигар серебряный. Махорку в нем таскает... Такое дело сделал, что сразу нам человек двести в плен попало — от его-то пулемета... И самому ногу перебило, его тогда и сдали в нестроевую... Ко мне угодил, околачивается...

— А с казачкой он как?

— Да чего с казачкой,— улыбнулся Сизов.— Вечер у нее тогда просидел, лепешек ему она в поход наделала, чаем поила...

— Свадьбу-то...— посмеялся Федор.

— Так нет,— махнул рукой Сизов.— У них и помину не было, какая свадьба! Она себя благодетельницей считает, все ему сидит рассказывает, как от смерти спасла, а он ест да пьет за четверых, помалкивает или так себе, чепуху несет божественную... Утром выступать было, как раз и подскочил к тому часу...

Разговор перешел на тему о половом голоде, о неизбежности на фронте насилий. Приводили примеры, делились воспоминаниями. Чапаева тема эта чрезвычайно заинтересовала, он все ставил вопрос о том, может ли боец без женщины пробыть на фронте два-три года. И сам заключил, что «непременно должно так, а то какой же он есть солдат?»

От Сизова — в бригаду Шмарина. Если уж Сизов, завидуя славе Чапаева, сам хотел сравняться с ним, так он имел на это много прав — сам был подлинным и большим героем. А вот Шмарин — этот тужился впустую. Суеты у него было нескончаемо много, отдыху он не знал, в движении был непрестанно, озабочен был ежеминутно, даже у сонного у него озабоченность эта отражалась на лице. Шмарин беда как любил рассказывать небылицы о собственных подвигах! И рассказывал их едва ли не при каждом свидании. Правда, вариации обычно менялись,— там где-нибудь пропустит или накинет лишнее ранение, контузию, атаку,— но в общем у него было шесть-семь крепко заученных подвигов, и рассказывать их было для Шмарина высоким наслаждением. Рассказывая, он буквально захлебывался от упоения буйно развертывавшимися событиями, любовался оборотами дела, восторгался только что придуманными неожиданностями. Он во время рассказа как-то странно дергал себя за густые черные вихры волос, пригибался к столу так низко, что носом касался досок, а двумя пальцами — средним и указательным — зачем-то громко, крепко и в такт своей речи, колотил по кончику стола, и получалось впечатление, будто он не присутствующим, а этому вот столу читает какую-то назидательную проповедь, за что-то выговаривает, чему-то учит.

Сначала Шмарина слушали, даже верили; а потом увидели, узнали, что в повествованиях его вымысла вчетверо больше, чем правды, перестали слушать, перестали верить. Не подумайте только, что он одними фантазиями промышлял — нет, рассказывал факты самые доподлиннейшие, безусловно происходившие, и беда не в том была, в другом: как только в которой-нибудь операции проявит кто мужество или талантливость очевидную, так, значит, это вот Шмарин сам и совершил все дело. А потом оказывается, что весь случай на левом фланге был, пока

он, Шмарин, на правом крутился. Талантливость-то, выходит, командир батальона проявил, а Шмарин полком командовал, ну, что-нибудь в этом все роде... Любил человек приписывать себе чужие заслуги! Да и кого Федор ни наблюдал из них — не Шмарина одного: украсть чужое геройское дело, присвоить его и выдать за свое считалось у них делом наилегчайшим и совершенно естественным. К Шмарину только приехать — и начнет! Поплетет и поедет — развешивай уши, до утра проговорит, коли с вечера сядет. Его непременно «окружали», он непременно откуда-то и куда-то «прорвался», хотя всем известно, что боев у него на участке за минувший, положим, день не происходило. У него фланги постоянно под «страшной угрозой», соседние бригады ему никогда не помогают, даже вредят и уж непременно «выезжают» на его плечах, присваивают себе победы его бригады, получают похвалы, одобрения, даже награды, а он вот, Шмарин, подлинный-то герой, всеми позабыт, его не замечают, не отмечают, считают, видно, крошечным человеком, не зная, что он-то, Шмарин, и является виновником больших дел, похищенных и присвоенных другими.

Когда друзья наши приехали теперь к нему от Сизова и сообщили, что тот пленных груду набрал, Шмарин внимательно выслушал и вдруг быстрым движением приложил себе на неумытое желтое лицо большую пятерню и как бы в задумчивости рассеянно проговорил:

— Так, так, так... Ну, куда же? Я так и знал, что им деться было некуда...

— Кому некуда? — спросил Чапаев.

— А вот тем, что Сизов-то взял. Вы знаете, товарищ Чапаев, что это за пленные? Я им еще наколотил раньше — на правом-то у меня бой был — помните? Ай нет? В таком виде куда же им — только в плен и оставалось...

У Шмарина была нехорошая черта: умалять заслуги других, умалять даже и там, где ему нет от этого ровно никакой выгоды.

Увидев, что Шмарин и теперь склонен к повествованиям о «вчерашних успехах», Чапаев ему задал самый нужный и самый важный вопрос, от которого отвертеться и отмахнуться уж никак нельзя.

— Што на фронте бригады?

Вошли в штаб — комнатушку, прокуренную до черноты, прокисшую, вонючую, словно тут и было только постоянно, что курили да чадили. У Шмарина в штабе все работали ребята толковые, помогали ему не за страх, а за совесть. Суетливый пустомеля, опасный фантазер — Шмарин, однако, задачи дивизионные всегда разрешал неплохо. Исполнитель он был, пожалуй, вовсе не дурной, только вот в творцы совсем не годился, инициативы не имел никакой, сам создать ничего не умел, готового указа ждал, не настолько зряч был, чтобы видеть в любой обстановке все главное и важное.

В штабе публика точеная, повадки чапаевские знает — рассказала все до мелочи, мало что понадобилось добавить самому Шмарину. Когда выяснили обстановку, Чапаев сейчас же решил проехать по полкам бригады,— они вели наступление. Шмарин оставил заместителя — собрался и сам.

Услышанные в штабе цифры наших и неприятельских войск, просмотренные по картам линии речек и дорог, зеленые пятна лесов, каштановые пригорки — все это жило в памяти Чапаева с изумительной отчетливостью. Он ехал и показывал Шмарину, что должно быть за этим вон бугорком, какие силы должны быть скрыты за ближним лесом, где примерно должен быть брод. Он знал все и представлял все отчетливо. Когда попадали на стрелку и две-три дороги сходились в одном пункте, Чапаев без долгого раздумья выбирал из них одну и ехал по ней так же уверенно, как бы ехал по знакомой улице какого-нибудь маленького городишки. Ошибался редко, почти никогда, разве уж только на окружную какую попадет или в тупик упрется; зато и выбраться ему отсюда пара пустяков: осмотрится, потопает, что-то взвесит, вспомнит разные повороты, приметы, что были на пути,— и айда! Ночью разбирался труднее, а днем почти всегда безошибочно. По части уменья разбираться в обстановке у него был талант бесспорный, и тут с ним обычно никто и не состязался: как Чапаев сказал, так тому и быть.

Подъехали к первому полку. Он разбросался в маленьких, только что вырытых недавно окопах. Да и не окопы это, а какие-то совсем слабенькие со-

оружения, словно игрушечные, карточные домики: насыпана земля чуточными бугорками, и в каждом из них воткнуто по сосновой ветке, так что голову прятали и не разберешь куда — не то под ветку, не то за этот крошечный бугорок, наподобие тех, что бывают в лесу у кротовых нор. То ли неприятель и впрямь эти веточки за кустарник местами принимал, или же просто тревожить, вызывать на драку не хотел, молчал, не стрелял, хоть и таился совсем недалеко, за сыртом.

В окопы ползком протаскивали пищу. Ляжет на брюхо, вытянет руки с котелком или суповой чашкой и ползет-ползет, как червяк, извивается, на локтях да на коленках от самой кухни строчит. Бойцы обедали, передыхали, после обеда — снова в наступление. У иных можно было заметить то книжку, то газету: верно, уж какая-нибудь безбожно старая — так она затаскана и засалена. Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает,— да так все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь он у себя в деревне от июльской жары укрылся праздничным днем.

Чапаев, Федор и Шмарин проходили сзади цепи — по ним не стреляли. Это заставило Чапаева тут же задуматься.

— А верно ли, что за бугром неприятель, и кому это известно? Может быть, был да нету? — обратился он к Шмарину.— Ну-ка, проверить!

По разным направлениям поползла разведка. Двое уже добрались к бугру, всползли на хребет, чуть приподнялись, выше... выше... выше... и встали во весь рост. Воротились, доложили, что по склону нет ни единой души,— верно, неприятель уполз перелеском, который тотчас же и начинался у сырта. Пошли вперед, забрались на самую высокую точку, в бинокль стали смотреть по сторонам.

— Вон видите,— показал Чапаев,— куда уходит лес? Оттуда, по-моему, они и хотят обойти.

— Не обойдут,— заметил Шмарин.— Три дня гоню, куда им обратно? Дай бог только пятки смазать.

— Вот они тебе на четвертый-то и смажут,— серь-

езно ответил ему Чапаев, не отрываясь от бинокля, поводя его по сторонам.

— Не воротятся,— продолжал уверять легкомысленно Шмарин.

— А воротятся? — резко и недовольным тоном сказал Чапаев.— А если там командир не дурак да поймет, что и бежать ему даже легче будет, коли по тылу тебя шуганет? Пока соберешься — где он будет? Шляпа! А ты вникай, шевели мозгами. Думаешь, так он тебе горошиной под нос и будет катиться?

Шмарин молчал, отвечать было нечего. Чапаев указал ему, что надо сделать, дабы предупредить возможный обход, сказал Шмарину, чтобы до выяснения положения оставался тут, а сам вместе с Федором отправился к двум другим полкам.

И к чему он ни подходил, к чему ни прикасался — повсюду находил, как и что надо исправить, где в чем надо помочь. Когда уже были на крайнем правом фланге бригады, в третьем полку, Шмарин прислал гонца, сообщил, что обходное движение неприятеля действительно обнаружено, но сам неприятель понял, что обнаружен прежде времени, и отступил в ранее взятом направлении. Свою писульку Шмарин заключил торжественно:

«Всю злостную попытку я прикончил немедленно, не потеряв ни одного солдата...»

Надо думать, что тут и «приканчивать» было нечего: тучи рассеялись сами собой.

Заночевали здесь же, в третьем полку. Штаб его расположился в деревне, кругом были выдвинуты заставы. За околицей, в сторону неприятеля, полукругом на ночь окопалась красноармейская цепь. В халупе, где остановились,— дрянная коптилка, так что лица человеческие можно было рассмотреть лишь с трудом. Утомились, говорить не располагало, стали притыкаться по углам, растягиваться по лавкам, искать, где поудобней заснуть: в полумраке ползали, как черные привидения.

В это время привели на допрос мальчугана годов четырнадцати. Допрашивали полковые, подозревая, что шпион. Сначала задавали вопросы: кто ты, откуда, куда пробирался, зачем? Рассказал мальчуган, что отца у него с матерью нет, за ту войну где-то сгибли. Сам он беженец-поляк, а числится теперь

в «третьем добровольческом красном батальоне». Такого никто не знал, и подозрения усилились еще больше.

— Как тебя зовут?

— Женя.

— А ты говорил, что Алеша? — захотел его кто-то спутать.

— Не выдумывайте, пожалуйста,— твердо и с каким-то естественным достоинством заявил мальчик.— Я вам никогда не говорил, что меня Алешей звать. Это вы придумали сами.

— Разговорчив больно, эй, мальчуган!..

— А что мне не говорить?

— Не болтай, дело рассказывай. От белых шел? Ну, говори, чего притворяться-то? Скажешь— ничего не будет.

— Да ничего не скажу, потому что нет ничего,— с дрожью в голосе отбивался он от наседавших допросчиков.

— Ну, ну, не ври. Тут никакого твоего батальона нет... Выдумал... Говори лучше, зачем шел, куда?

И вот все в этом роде принялись его прощупывать. Хотелось вызнать, кто его, куда и зачем послал.

Грозили всяко, запугивали, расстрел упомянули.

— Ну, что ж, расстреливайте! — сквозь слезы проговорил Женя.— Только зря это... Свой я... Ошибаетесь...

Федор решил вмешаться. Он до сих пор лежал и слушал, ожидал, чем кончится допрос. Теперь ему все равно, свой мальчик или не свой — захотелось спасти его, оставить у себя, перевоспитать, если понадобится. Он сказал, чтобы закончили допрос, и уложил обрадовавшегося Женю рядом с собою на полу. (Федор потом действительно выработал из Жени отличного и сознательного парнюка: он работал по связи в бригаде и полку.)

Опять все притихло в штабе. Чадила коптилка, из углов всхрапывали, посвистывали спящие, чавкали за окном всегда готовые, оседланные кони. Перед тем как все стали укладываться, Шмарин, к тому времени уже прискакавший из полка, решил «осмотреть», все ли в порядке, и вышел из избы. Сколько прошло времени, никто не запомнил потом, но уже было к заре, когда Шмарин подбежал, запыхавшись,

и в распахнутую дверь крикнул громко, скороговоркой.

— Скорей, скорей, неприятель наступает!!!

Все вскочили разом, через минуту были на конях.

— Цепи уже на горе, сажен двести! — задыхался Шмарин, никак не попадая в стремя ногой. Горячий конь вертелся волчком, не давался. Шмарин его с размаху, со всею силою ударил по морде...

Выскочили за ворота. В чуть брезжущем полумраке ныряли во все стороны человеческие фигуры. Куда они бежали, понять было трудно; однако направления не было, метались во все стороны. За воротами тотчас же разделились, не говоря ни слова, разговаривать было некогда. Одни кинулись по дороге — наутек, спасаться... Чапаев быстро сообразил и помчал к резервному батальону, стоявшему неподалеку. Шмарин, а с ним и Клычков поскакали навстречу наступавшим цепям, перед которыми, как надо было думать, отступали цепи красноармейцев. Клычков с тою целью поскакал туда со Шмариным, чтобы остановить отступающих и личным примером поднять их дух. Молнией сверкнуло в памяти, как он в Уральске спорил с Андреевым о цепи, обороне, участии в бою во время паники,— и мигом охватила гордая торжественная радость.

— Ложная тревога... Ошибка... На горе свои цепи!

— Отставить! — вдруг прогорланил Шмарин.

К кому относилась эта команда, понять было невозможно, да и не было никого кругом, кроме отдельных, во все стороны сновавших бойцов. Сейчас же послали воротить Чапаева и всех ускакавших по дороге. Криками и выстрелами их остановили,— через десять минут все снова были в сборе.

Эта суматоха, крики и стрельба были слышны в полку и вызвали там большое недоумение, даже предполагали, что обойдены, что надо принимать срочные меры. Бойцы насторожились, зашигутились, приготовились, собрались посылать во все стороны новую разведку, пока и не донесли, что вся тревога была впустую. Когда снова собрались в избе, хоть было еще и очень рано, спать не спали, присели к столу, завязался разговор. Кого-то бранили, но кого именно, понять было невозможно. Шмарина? Нет,

он обязан был поднять всех на ноги, раз заметил опасность, а проверить ее не оставалось нисколько времени. Сами себя? Нет, сами себя тоже признали неповинными, потому что какой же чудак будет сидеть в избе, когда тут рядом наступает неприятельская цепь?

Сполох признали неизбежным, на том и смирились. Хотя повинного и не нашли, а в то же время все как будто стыдились, смущались чем-то: разговоры были неуверенные, в глаза один другому не глядели, перебрасывались короткими фразами, глядя через голову, мимо, в окно, в черную пустоту...

— Вот те и до паники рядом,— сказал Шмарин, нагибаясь над столом, прикуривая от коптилки.— Разбери ты, поди, кто обманул...

— А тебе кто сказал? — спросил его Чапаев.

— Из штаба полка... Навстречу...

— Да кто же?

— Вот и не помню, не узнал... Проскочил дальше — цепь идет, видно кое-что... Значит, думаю...

— Не думаю — знать надо! — внушительно заметил Чапаев.— Знаешь, что у нас было один раз? Не теперь — в германскую, там, на Карпатах. Горы — не эти бугры: коли заберешься — и не слезешь скоро... Лезли вот так-то, лезли, а австрияк засел в каждую нору, за камнями напрятался, где за кустом, в песку лежит — одним словом, у себя человек дома живет, его нечего учить, куда прятаться надо... Растянемся, как на базаре, а он по тылу, стукает, да и угонит весь обоз... Артиллерия есть — и ее берет. Мы, значит, на этот раз загнали все в середку, окружили по сторонам, да так и идем. Лошадей-то не хватало — мы быков, а ночью заревет, черт, продаст ни за что... Ты прикладом и не думай — хуже того завоет... Пока хлеб был, так кусок ему воткнешь — молчит... А потом плохо. Ночью один раз переход надо было до утра... И разведка как следует: «Ничего,— говорит,— нет, можно». Собрались, пошли, а обоз да с быками-то посередке весь... Ночи эти по горам — кто был, так знает. Чего же говорить, хуже и быть не может. Што тебе вот сажа черная, што ночь — ничего... Идем, не шумим, только камушки катятся с горы-то, аж донизу... Вот как ночью идешь —

и чего только тебе не привидится! Под кустом будто лежат кругом да ждут. А на дереве тоже сидит. Камень большой, а тебе как человек в сумерках-то. Ну, черт его знает, какой ты храбрый ни есть, а то и знай вздрагиваешь. Страшно ночью, откуда што берется: стрелять не видишь, бежать не знаешь куда, будто в кольцо попал... Командовать? Да как же тут командовать-то, раз не видишь ничего! Так уж садись и сиди, пока тебя по затылку саданут. Другой манер, коли ты сам наскочил. Тут шуму дал — да и тягу... А вот по горам, да не знаешь ничего, ну-ка! Идем мы, идем, и, видишь ли, кому-то напереди неприятель будто стренулся... Он его — хлоп, а оттуда нет ничего. Он еще пальнул, а тут — как поднялась, как поднялась, сама себя и давай... Место наше было узкое — гусем шли... Спереди палят и сзади тоже. А потом как хватят с горы-то, да и бежать, да и бежать, потому што стали падать убитые, а откуда огонь — не видать. На низ бежать, а тут обозы, скотина эта, быки, да перепугали всех — они тоже вскачь пошли. И все помчалось с гор... Как оборвану л в обратную, так и замял все назади... А тут наворотили — ни проехать, ни пройти. Другого хода нет. Деться некуда, через верх бросились. А те, што пониже, с горы, думали, лезет кто, да по ним, по ним. Бегут и стреляют. Как оглянулся кверху-то, да по ним. Што народу легло — ай-ай! А все из-за чего? Паника вот эта самая и есть... Кто тебе, што тебе сказал, чего где увидал — ты посмотри, а не ротозей, не ори: караул, мол, цепи идут!..

— Зачем кричать, никак нельзя,— поддержал Шмарин, как будто не понимая, что речь идет о нем самом.— От крику-то все и образуется.

— То-то, «от крику»...— куда-то в сторону обронил Чапаев, озадаченный таким маневром Шмарина.

— Я думаю,— вмешался Федор,— есть такие положения, что уж никак не остановишь панику, никак... Кто хочешь будь, что хочешь делай,— ну, никак... Вот в этом хотя бы случае...

— Да, тут была одна погибель,— согласился Чапаев.

— Погибель... И сами себе эту погибель создали,— продолжал Клычков свою мысль.— Бороться надо не с паникой, а *против* паники, *предупреждать*

ее надо. А что для этого требуется? Да черт его знает — что: на каждый случай свое особенное... В этом случае, что на Карпатах, по-моему, надо было пускать вперед совсем особенных солдат, совсем особенных... И разведку особенную, меньше всего поддающуюся страхам ночи... Да сладить выстрелы там, знаки разные, сигналы... И только по сигналам, а не как кому вздумается...

— Совсем не в сигналах дело,— остановил его Чапаев.— Сигналы... Ну, што тебе сигнал поможет, когда лошади бегут с перепугу, быки? Их не надо было пускать в середку... Ночью этого нельзя... Да и самого-то похода было нельзя.

— Нет, отчего же нельзя? Очень бы можно, если бы обставить...

— А и обставили! — засмеялся Шмарин.— Что же лучше, на-ка, что обставили...

Этот странный смех, эти не к делу сказанные слова оборвали разговор. Ни спать, ни сидеть охоты не было, да и не было нужды оставаться здесь... Чуть светало. Еще совсем было холодно, по-ночному. Тихо. Успокоилась, заснула деревня, встревоженная в неурочный час... Чапаев дождался у крыльца, когда ему подведут оседланного коня. Федор подседловал сам. Через несколько минут они ехали по знакомой вчерашней дороге.

XII

ДАЛЬШЕ

Чапаевская дивизия Белебей обходила с севера, брать самый город поручено было не ей. Но уж такова слабость всех командиров — ткнуться в пункты, что покрупнее, и доказать непременно свое активное участие в овладении этими пунктами.

В гражданскую войну не всегда преследовали цель уничтожения врага как живой силы — чаще гнались за территорией, а особенно за видными, известными городами. Стремление это имело, впрочем, под собой не одно лишь военное значение. Оно имело значение и политическое: каждый крупный центр, большой город являлся в то же время и политическим центром на более или менее широкую округу,

и пребывание его в белых или красных руках совсем не безразлично отзывалось на политической бодрости или вялости этой самой округи. А поскольку политика в гражданскую войну являлась основной пружиной действия — каждый и стремился овладеть как можно быстрее центральными пунктами.

Белебей был уже не ахти каким значительным центром, однако ж и он имел свое объединяющее значение. Правофланговая бригада Чапаевской дивизии подошла к городу как раз в момент решительной схватки, приняла в этой схватке участие и вместе с соседней дивизией вошла в город. Был шум, были протесты, было много споров о том, кто город взял *фактически,* кто вошел первым, кто проявил находчивость, героизм, талантливость и т. д. и т. д.,— спорам этим нет конца, раз две воинские части одновременно заняли один и тот же пункт. Сам Чапаев в спорах участия не принимал — эту заботу поручил он бригадному командиру Потапову, и тот усердно изощрялся в дипломатическом искусстве.

Полки расположились на север, на берегу Усеня. Выжидали. Здесь — красные, за рекой — белые. Так несколько дней.

Отдыхали, собирались с силами, готовились к схватке. Чапаев бранился, все время бранился и выражал недовольство, преступной считал эту стоянку на Усене.

— Што за отдых? — кричал он.— Какой дурак на фронте отдыхает?! Да и кому этот отдых понадобился? Может быть, самим штабам он нужен? — язвил Чапаев, намекая на возможную там измену, на сознательное замедление быстрого и победоносного движения красных войск. А двигались действительно не ахти как быстро. С остановками, с передышками, подготовками да перегруппировками выходило в среднем что-то верст по восемь — десять на сутки; были охотники, что занимались и этими вычислениями, давая Чапаеву цифры, приводившие его в ярость.

— Я не устал, не устал! — гремел он, стуча кулаком по столу.— Когда попрошу, тогда и давай, а теперь вперед надо... Враг бежит, «следовано», на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой...

— Ну, Василий Иваныч,— говорили ему,— ты про одну свою дивизию толкуешь... Чудак ты человек...

а другие-то? Надо их выравнять, сменить, подновить — да мало ли что по фронту требуется. Нельзя же одну свою дивизию «на мушку брать» и полагать, что одна она все дело сделает...

— А не сделает? — сверкнул глазами Чапаев.— Какая это подмога мне со стороны-то? Видно ли, чтобы хоть вот столечко помог кто-нибудь... На, выкуси — помогут!.. Одной дивизией возьму Уфу, только не мешай, не лезь...

— Кто это — *не лезь?..*

— Да никто не лезь. Я сам сделаю,— отвечал он уже несколько пониженным тоном, как будто спохватившись и поняв, что заговорился неладно...

Подобных скандалов и скандальчиков было много. До самой Уфы Чапаев был недоволен ходом операций, несмотря на то, что дивизия одерживала победу за победой. Ему все казалось, что мало дают простору, что инициативу его обкрадывают, к голосу его не прислушиваются, с мнением его не считаются.

— Чего они там видят — карту? — пошумливал он в своем кругу.— Так ведь мы воюем не на карте, а на земле. На земле мы воюем, черт возьми! — все больше приходил в азарт Чапаев.— Мы тут все знаем и все видим сами... Нам указывать нечего, только подмогу давай!

— Опять не так, Василий Иваныч,— образумливал его Клычков.— Координировать, объединять надо все действия.

— И объединяй,— прерывает Чапаев,— кто тебе мешает объединять? Не мешай, говорю... Когда разбегом надо бежать, а мы, смотри-ка, праздники какие справляем на Усене...

— Какие праздники?.. Брось, пожалуйста,— возражал ему Федор.— Будет, нарывались уже довольно со своей торопливостью... Опыт научил, вот что...

— Это сидеть-то? — вскидывался Чапаев.— По рекам-то? Когда у Колчака только пятки сверкают? Ну, уж воюйте, брат, этак сами, а мы не привыкли... Затеяли дивизии переменить, да разве время? — ворчал он.— Да разве солдат тебя просит, жалуется?.. У, черт!.. Брошу все, опять отрядом стану командовать... Там уж как задумал, так и все твое, а тут...— и он энергически плюнул.

— Ты сменой недоволен? — все хотел его урезонить Клычков.— Странный человек! Соображения, значит, есть, не с пустой же головы в такие дни задумали перетасовку... Может, и в самом деле истрепались, устали до последнего?..

— А-а-а...— махнул он рукой.— Никто не устал... Вчера мне навстречу красноармеец... Один ковыляет в лесу, хромает, гляжу — забинтованный весь, маленький, тощий, как селедка. «Чего ты, куда?» — спрашиваю. «А я,— говорит,— обратно в часть к себе».— «Ну, так хромаешь-то чего?» — «Раненый».— «Што не лечишься?» — «Некогда,— говорит,— товарищ, не время теперь отдыхать-то, воевать надо... Убьют,— говорит,— лягу в могилу, делать там нечего, вот и полечусь...» А сам смеется. Как посмотрел я на него... «Ах ты, черт,— думаю,— знать, молодец и есть...» Снял часы с руки, даю ему. «На,— говорю,— носи, помни Чапаева». А он сразу не узнал, видно... Веселый сделался, не берет часы, а знай махает рукой... Потом взял... Я в свою сторону, а он стоит, смотрит да смотрит, пока его видеть перестал... Вот они, усталые-то... С такими усталыми всем Колчакам морду набью!..

— Да, таких много,— соглашается Федор.— Может быть, большинство даже, а все-таки и они могут уставать.

Но Чапаева тут разубедить было чрезвычайно трудно. Даже не помогла ссылка на Фрунзе, которого он уважал чрезвычайно.

— Ведь распоряжения-то без Фрунзе не проходят? Ведь не одни же генералы их подписывают?

— А может, и одни? — как-то загадочно и тихо протестовал Чапаев.

— Да как же это?

— А так... Наши приказы Колчаку раньше известны, чем нам... Вот как...

— Откуда это ты плетешь? — удивлялся Федор.— Ну один-другой приказ, может, и в самом деле угодил к Колчаку, но нельзя же делать таких заключений, Василий Иваныч...

Но сопротивление бесполезно. Чапаев оставался при своем: относительно «штабов» переубедить его было невозможно,— не верил им до последней минуты жизни...

Ранним утром цветущим лесом пробирались на Давлеканово. Ехали в горы, ехали с гор, пересекали чистые, ключевые речки, рысили по пахучим черемуховым аллеям. Дорога тихая, светлая, полная звуков, пропитанная запахами весеннего утра.

Из этих лесов — по бригадам, по полкам к красноармейцам, грязным, вшивым, измученным, полуголодным, полураздетым... Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивляются вражеские войска. Задерживаются на всех удобных местах, особенно по горам, сосредоточивают ударные горсточки, ходят в контратаки... Обозы не дают — угоняют их заранее, вперед себя, охраняют большими отрядами: видно, снабжать Красную Армию не хотят!

День ото дня двигаться было трудней и трудней. Обнаруживался массовый шпионаж: на Колчака работали свои разведчики, работали кулачки-крестьяне, работали нередко татары, которые обмануты были во множестве рассказами, будто идут большевики исключительно с тем, чтобы отнять у них аллаха и разбить мечети. Были случаи, когда в татарском поселке открывали из окон огонь по вступавшему красному полку. Стреляли жители-татары, и не какие-нибудь богатеи, а настоящая голь перекатная. Ловили... Что делали? По-разному поступали. Иных расстреливали на месте: война церемоний не любит. А иного отдавали «на разговоры» своим же красным бойцам-татарам. Те в короткий срок объясняли соплеменнику, за что борются, и нередко были случаи, когда он сам, после короткой беседы, вступал добровольцем в Красную Армию... Шпионов ловили часто...

В Давлеканове красноармейцы сообщили Федору, что в полковом обозе везут какую-то девушку, захваченную по дороге: просит, чтобы подвезли поближе к Уфе, хочет войти туда с красными войсками: в Уфе мать, сестры, родственники.

— Приведите ее ко мне,— распорядился Клычков.

Девушку привели. Годов девятнадцать... Хромает. Окончила недавно гимназию... Одета плохо... Говорит много про Уфу... Рвется скорее туда... Совершенно ничего подозрительного. Но ему инстинктивно почувствовалось недоброе — без всяких поводов, без оснований, без малейших фактов. Решил испытать, думал: «Ошибусь, чем рискую? Отпущу — и конец!»

Говорил-говорил с ней о разных пустяках, да в упор внезапно и поставил:

— А вы давно ранены?

— Давно... То есть, чего же. Нет... Откуда вы думаете, что я ранена?

— А хромаете,— твердо сказал Федор и пристально-пристально посмотрел в глаза...

Рядом сидел товарищ Тралин, начальник политотдела армии, сидел и молча наблюдал картину оригинального допроса.

— Ну... да...— замялась она.— Нога-то... была... но уже давно... Совсем давно...

Федор понимал, что вопросы надо ставить быстро и непрерывно, оглушить ее, не давать придумывать ответы и вывертываться.

— Где ранены, когда?

— Бумагу в штаб несла...

— Бой был близко?

— Близко...

— В разведке у них работали?

— Нет, не работала, машинисткой была.

— Врете, врете! — вдруг крикнул он.— Вот что — мне все известно. Поняли? Все! Я вас знаю, наши разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение, сейчас же... На этой, на бумажке — знаете?

— На какой? — робко спросила она.

— А вот на тоненькой-тоненькой... Знаете, вроде папиросной бывает. Ну... ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши знают, как вам ее писали. Да ну же!..

Федор впился глазами и удивился сам неожиданным результатом. Девушка окончательно стушевалась, когда услышала про бумажку... А известно, что всем разведчикам даются удостоверения на крошечных клочках тончайшей бумаги, и они прячут эти удостоверения в складки платья, в скважину каблука, затыкают в ухо,— ну, куда только вздумается.

Девушка достала мундштук, трижды его развинтила и вытащила бумажку, скатанную и прилепившуюся по сторонам мундштукового ствола. Там значились фамилия, имя, отчество...

Успех был замечательный...

Ей учинили официальный допрос: сначала у себя, а позже в армии. Допрашивал ее и случившийся в ту

пору товарищ Фрунзе. Девушка сообщила много ценного, заявила, между прочим, и то, что красные некоторые разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. Много дала материала — очень к делу подошла...

Таких случаев, только менее серьезных и удачных, было несколько. Между прочим, к одной полковнице, заподозренной в шпионаже и запертой в баню, втолкнули под видом белого офицера одного толкового коммуниста, и «дура-баба» разболтала ему немало ценных новостей.

Полки шли на Чишму. Ясно было, что такой важный пункт дешево не отдадут: здесь сходятся под углом две железнодорожные ветки — Самаро-Златоустовская и Волго-Бугульминская. Уже за десяток верст от станции начинались глубокие, ровные, отделанные окопы с прекрасными блиндажами, с тайными ходами в долину, с обходами под гору. Были вырублены целые рощи, и в порубях расчищены места для кавалерийских засад, а поля, словно лианами, были повиты колючей проволокой. Ничего подобного не попадалось ни под Бугурусланом, ни у Белебея; особенно окопов, так тщательно и основательно сработанных, не встречали уже давно. Было видно, что враг готовился основательно.

На Чишму наступала бригада Сизова — разинцы, домашкинцы, пугачевцы. Все последние версты продвигались с непрерывным, усиливающимся боем. Чем ближе к Чишме, тем горячее схватки. Атаки отбивались, неприятель сам неоднократно ходил в контратаку.

Но чувствовалась уже какая-то предопределенность, даже в самых яростных его атаках не было того, что дает победу,— уверенности в собственных силах, стремления развить достигнутый успех. Враг как бы только отгрызался, а сам и думать не думал стать победителем.

Видали вы, как по улице мчится сломя голову собачонка, а тут, цепляясь за хвост, наседает, теребит, грызет ее другая, более сильная, более уверенная в себе? Та, что убегает, и думать забыла про решительную схватку,— она может только отгрызнуться,

порой укусить и больно даже укусить, но это не схватка: она бежит, будет позорно побеждена. Такое именно впечатление отгрызающейся собачонки производили колчаковские войска уже здесь, под Чишмой. Ходили в контратаки, но все это делалось как будто лишь для того, чтобы дать уйти главным силам, убраться обозам. Как будто сражались одни арьергарды, заслоны, охранявшие тех, что отступали где-то впереди. На деле было не так — сражались большие, основные, главные силы. Но инициативу они потеряли еще там, перед Бугурусланом, и вот никак-никак не могут вернуть ее обратно. В колчаковской армии ширилось и убыстрялось гибельное для нее «разложение». Никакие меры борьбы — поблажки, репрессии, расправы,— ничто уже не могло приостановить этого исторически неизбежного процесса. Кроме общих причин разложения, которые более или менее быстро сказывались на всех белых армиях, здесь, у Колчака, имелись еще и причины особенные, сильно подтолкнувшие самый процесс. Во-первых, Колчак мобилизацию населения проводил «без оглядки», гнался больше «за количеством, чем за качеством», и, во-вторых, пытаясь сцементировать и объединить это огромное намобилизованное войско кучкой преданных ему кадров, он неизбежно был должен развязать этой кучке руки в деле репрессий со своим же «войском». Все виды старой «солдатчины» у Колчака возродились едва ли не полнее, чем в какой другой армии белых. Разношерстность войска и жестокость кадров были теми двумя причинами, которые особенно быстро повели вперед процесс разложения колчаковской армии.

К Клычкову как-то после боя попала целая пачка неприятельских документов, среди них — телеграммы, приказы, распоряжения, запросы колчаковского командования. «В самый короткий срок собрать всех слабо обученных в одно место и подготовить к погрузке на железную дорогу; для сопровождения назначить *непременно офицера...*» Эти два последних словечка великолепны: они свидетельствуют о смертельном испуге перед своим же собственным «христолюбивым воинством».

Но положение обнаруживается еще более серьезное, еще более трагичное: на офицеров, оказывается,

без оглядки полагаться тоже нельзя,— продадут, того и жди, красному командованию. Был пример. Человек десяток красных кавалеристов напоролись вплотную на неприятельскую цепь. Тут было сто двадцать солдат, два офицера, пулемет. Чего бы, кажется, легче — замести этих кавалеристов к себе или посшибать их моментально с коней? А получилось вот что. Офицеры крикнули своим солдатам: «Стрелять не смей!» — выбежали навстречу кавалеристам и заявили, что хотят перейти со всеми солдатами на красную сторону. И заметьте — это при всех-то рассказах о «большевистской жестокости» и беспощадности к белым офицерам: не сробели, решились, пошли...

Ну, уж зато и крепко ж за них просили кавалеристы перед своими командирами, как будто добровольно сдавшимся что-то и в самом деле грозило страшное.

Офицеры оказались: один из конторщиков, другой — бывший народный учитель. Порассказали про «дисциплину» колчаковскую. Расстреливают офицеров за малейшую упрощенность разговора с солдатами; выполнение этикета и кастовых отличий требуется и взыскивается со всей жестокой суровостью. Страх перед «войском» отшиб разум высшему командованию, и оно в самом простом, бесхитростном разговоре офицера с солдатом видит злую сознательную «агитацию». Среди низшего офицерства идет брожение,— его рознь с высшим очевидная, глубокая, усиливающаяся с каждым днем.

Эти рассказы офицеров были безусловно верны. Федор имел возможность проверить их и по документам, о которых упомянуто выше.

«Приказываю установить наблюдение за поручиком Власовым»,— значилось в одном приказании начальника дивизии. «Установить самое тщательное наблюдение за офицерами Марковым, Жуком и Лизенцовым, пытавшимися вести разговоры с рядовыми»,— значится в другом его распоряжении. Имеются запросы, справки об офицерах — и все шпионского порядка.

У Колчака явно неблагополучно. Дисциплина упала даже и среди офицерства — ряд телеграмм говорит об ослушании, о невыполнении приказов. Для поддержания «духа» армии высшее офицерство прибегает к мерам весьма сомнительного достоинства: начинает присваивать себе победы красных войск, в приказах

и листовках перечисляет «своими» такие пункты и селения, в которых по крайней мере неделю развевается красный флаг. Войска про это, конечно, узнают и окончательно перестают верить даже бесспорно правильным сведениям.

Словом, рассыпалась армия колчаковская с очевидностью, совершенно несомненной. Этому процессу красные войска помогали усиленно. В тыл белым возами развозили агитационную литературу и через жителей, и с аэропланов, и со своими ходоками рассыпали миллионы воззваний, обращений, всяческих призывов. Красные агитаторы проникали в самую глубь неприятельского расположения, в самую гущу белого солдатства и там безбоязненно, совершенно недвусмысленно проводили свою героическую работу.

И все же, несмотря ни на что, бои порою бывали настолько серьезны и ожесточенны, что разбивали всякие предположения и всякую уверенность в начавшемся разложении белой армии. В этих серьезных схватках участвовали наиболее стойкие белые полки; их было, по сравнению с общей массой, немного, но дрались они великолепно, и техника у них была тоже великолепная. Перед самой Чишмой бой настолько был серьезен, что в иных ротах осталось по красным полкам всего тридцать — сорок человек. Отчаянно, вдохновенно, жутко дрались! На броневые поезда кидались с ручными бомбами, устлали трупами весь путь, бежали за чудовищем, кричали «ура», бросались, как мячиками, страшными белыми бутылками. А когда появились броневики, цепи ложились ничком, бойцы не подымали головы от земли: броневик «лежащего не бьет»,— тем и спасались... Просекал он цепи, гулял в тылу, палил, но безрезультатно, а когда удирал — и за ним тоже, как за поездом броневым, бежали и в него бросали белыми бутылками.

Героизм соприкасался с безумием: от пулеметного огня броневиков и броневых поездов немало полегло под Чишмой красных бойцов.

И здесь через двадцать минут, как закончили бой, когда еще в поле стоял пороховой дым и повисли в воздухе беспрерывные стоны перевозимых врагов и товарищей, Чишма зажила обычной в этих случаях жизнью. Из подвалов и погребов, из овинов и чуланов, из печей и из-под шестков, из подполья и с чердаков —

выползли отовсюду перепуганные пальбой крестьяне и засуетились около затомленных красноармейцев.

Застучали бабы ведрами, зашумели самоварами, зазвенели чашки и ложки, горшки и плошки. По избам шум пошел, рассказы-разговоры. Вспоминали, кому как жилось, кому что видеть, слышать, вынести довелось за это время, чего ожидали, чего дождались... Когда перекусили и чаю напились, местами наладили в чехарду, и можно было подумать, что собрались тут ребята не после боя, а на гулянку из дальних и из ближних деревень, в какой-нибудь торжественный престольный праздник.

Вечером в полку Стеньки Разина собрался хор. Певцов было человек двадцать пять, у многих и голоса были отличные, да вот беда — все бои, походы, спеваться-то некогда! А охота попеть была настолько сильной, что на каждой остановке, где хоть чуточку можно дохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова, вокруг любимого и почтенного своего дирижера. И начиналось пение. Подступали, окружали любителей и охотники, а потом набиралась едва ли не половина полка. Тут уж кучкой было петь невозможно — затягивали такую, что знали все, и полк сливался в дружной песне... Пели песни разные, но любимыми были про Стеньку Разина и Ермака Тимофеевича. Были и веселые, плясовые. Какой-нибудь замысловатый фальцетик, подмигивая хитро и сощурившись лукаво, заводил на высочайшей ноте:

Уж ты, Дунюшка-Дуня.
Уж ты, Дунюшка-Дуня!..

Хор подхватывал волнами зычных голосов:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...
Дуня, Дунюшка, Дуняша!..

В такт хлопали ладошами, отбивали каблуками, но это еще «бег на месте». Второй куплет не выдерживали, как только подхватят:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...—

откуда ни возьмись, на середину выскакивают разом два-три плясуна, и пошли рвать... Пляшут до семи потов, до одурения, почти до обморока... Одни за другими, одни за другими...

Песен мало — явится гармошка... Пляс и гармошка зачастую вытесняют хор, но больше потому, что уж напелись, перехрипли петухами...

Особо хлестко плясала полковая «интеллигенция» — фуражиры, каптеры, канцеляристы. Но не уступали им и батальонные и ротные командиры — тоже плясали лихо!

Часто перемежались. Поют-поют, не станет мочи — плясать начнут. Перепляшутся до чертиков, вздохнут да опять за песни,— и так насколько хватит глотки и ног.

За последние месяцы привились две новые песни, где больше всего нравились припевы,— их пели с величайшим подъемом и одушевлением. Мотивы старые, а слова заново. Первый припев таким образом был сработан из старого:

Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили: и враг бежит-бежит-бежит...
Так за Совет Народных Комиссаров
Мы грянем громкое ура-ура-ура!

Второй припев обошел всю Красную Армию:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем в борьбе за это...

Слова тут пелись ничего не значащие,— хорошая песня не появилась, но припев... припев пели удивительно.

— А ну, «вечную память»,— предлагает кто-то из толпы.

Певцы многозначительно переглянулись.

— Разве и в самом деле спеть?

— А то што...

— Запевалу давай сюда, запевалу!

Протискался высоченный сутулый рябоватый детина. Встал посередке и без дальнейших разговоров захрипел густейшим басом:

— Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, на врага победу и одоление подаждь, господи!

Он остановился, глянул кругом, как будто говорил: «Ну, теперь вам очередь»,— и стоявшие заныли протяжно:

— Го-о-споди по-о-ми-луй...

— Всероссийской социалистической Красной Армии с вождем и товарищем Лениным,— гремел он дальше,— геройскому командному составу двадцать пятой стрелковой и всему двести восемнадцатому Стеньки Разина полку мно-о-о-огая ле-та!

Хор грянул «многая лета»...

— ...Артиллеристам, кавалеристам, телефонистам, мотоциклистам, пулеметчикам, бомбометчикам, минометчикам, аэропланным летчикам, разведчикам, пехотинцам, ординарцам, кашеварам, мясникам и всему обозу мно-о-о-огая ле-та!..

И снова подхватили «многая лета» — дружно, весело, зычно.

Лица у всех веселые, расплылись от улыбок, глаза торжественно и гордо говорят: «Не откуда-нибудь взяли — у себя в полку сложили эту песню!»

Запевала пониженным и еще более мрачным тоном выводил:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи, сибирскому верховному правителю, всех трудящихся мучителю, его высокопревосходительству белому адмиралу Колчаку со всей его богохранимой паствою — митрополитами-иезуитами, архиепископами и епископами, бандитами, шпионами и агентами, чиновниками, золотопогонниками и всеми его поклонниками: белыми колченятами, обманутыми ребятами и прихвостнями-прихлебаками... ве-е-е-ечная па-а-мять!..

Потянулось гнусавое, фальшивое похоронное пение. Сделалось тошно, словно и впрямь запахло дохлятиной.

— Всем контрреволюционерам,— оборвал поющих заканчивающий запевала,— империалистам, капиталистам, разным белым социалистам, карьеристам, монархистам и другим авантюристам, изменщикам и перегонщикам, спекулянтам и саботажникам, мародерам и дезертирам, толстопузым банкирам, от утра до ночи — всей подобной сволочи — ве-чная па-а-мять!

Хор, а с ним и все стоявшие тут красноармейцы затянули «вечную память».

Окончив, стояли несколько мгновений молча и неподвижно, как будто ожидали чьей-то похвалы. Этим акафистом гордились в полку чрезвычайно, слушать

его очень любили и подряд иной раз выслушивали по три-четыре раза.

С песнями, пляской канителились до глубокой ночи, а наутро, чуть свет — выступать! И это ничего, что позади бессонная ночь: быстр и легок привычный шаг.

Чишму считали ключом Уфы. Дорога теперь очищена. Все говорит за то, что враг уйдет за реку и главное сопротивление окажет на том берегу Белой.

Еще быстрей, еще настойчивей устремились войска преследовать отступающую колчаковскую армию.

— Теперь Уфа не уйдет,— говорил Чапаев,— как бы только правая сторона не подкузьмила!

Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.

— Почему ты так уверен? — спрашивали его.

— А потому, что зацепиться ему, Колчаку, не за што — так и покатится в Сибирь.

— Да мы же вот зацепились под Самарой,— возражали Чапаеву.— А уж как бежали!

— Зацепились... ну, так што?..— соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил: — Ничего, што мы зацепились... а он все-таки не зацепится... Уфу возьмем.

Эта уверенность в победе была свойственна большинству, ею особенно были полны рядовые бойцы. Когда в полках каким-нибудь образом ставился и обсуждался вопрос о близких возможностях и боевых перспективах, там был лишь один счет — на дни и часы. Никогда не говорили про живые силы, про технику врага, степень его подготовки, силу сопротивляемости.

Говорили и считали только так:

«Во вторник утром будем в этом поселке, а к вечеру дойдем до реки. Если мостишко не взорван, вечером же и на тот берег уйдем... ежели взорван — раньше утра не быть... В среду вечером должны будем миновать вот такую станцию, а в четверг...» и т. д. и т. д.

Будто шли походным маршем, не имея перед собой врага, точно рассчитав по дням и часам где, когда можно и следует быть.

В расчетах ошибались редко — обычно приходили раньше предположенного срока. Да и сама Уфа взята была раньше назначенного и предположенного дня.

Быстрота движения временами изумляла. Выносливость красноармейцев была поразительная. Бойцы не знали преград и не допускали возможности, что их может что-то остановить. Чишминский бой, когда бросались с бомбами на броневые поезда, и впрямь показал, что преграды красным бойцам поставить трудно. Теперь за Чишму прислали награды,— их надо было распределить по полкам. Но тут получился казус. Один из геройских, особенно отличившихся полков наград не принял. Красноармейцы и командиры, которым награды были присуждены, заявили, что все они, всем полком, одинаково мужественно и честно защищали Советскую республику, что нет среди них ни дурных, ни хороших, а трусов и подавно нет, потому что с ними разделались бы свои же ребята. «Мы желаем остаться без всяких наград,— заявили они.— Мы в полку своем будем все одинаковые...» В те времена подобные случаи были очень, очень частым явлением. Такие бывали порывы, такие бывали высокие подъемы, что диву даешься! На дело смотрели как-то особенно просто, непосредственно, совершенно бескорыстно:

«Зачем я буду первым? Пусть буду равным. Чем сосед мой хуже, чем он лучше меня? Если хуже — давай его выправлять, если лучше — выправляй меня, но и только».

В Пугачевском полку еще в 1918 году человек триста бойцов организовали своеобразную «коммуну». У них ничего не было своего: все имущество — одежда, обувь — считалось общим, надевал каждый то, что ему в данный момент более необходимо. Жалованье и все, что получали из дому, опять-таки отдавали в общий котел... В бою эта группа была особенно солидарна и тесно спаяна... Теперь, конечно, вся перебита или изуродована, потому что героизма была полна необыкновенного.

Отказ полка от наград был только наиболее ярким выражением той пренебрежительности к отличиям, которая характерна была для всей дивизии, в том числе и для командиров, для политических работников, больших и малых. По крайней мере в тот же день, собравшись в политотделе, товарищи просили Клычкова, вполне с ними солидарного, отослать в ЦК партии протест относительно системы награжде-

ния и выявить на этот вопрос свой принципиальный взгляд. Потолковали и послали следующую бумажку:

«Дорогие товарищи!

Когда одному из геройских полков мы стали выдавать награды, красноармейцы запротестовали, от наград отказались, заявили, что они все одинаково дрались, дерутся и будут драться за Советскую власть, а потому не хотят никаких отличий, желают остаться равными среди всех бойцов своего полка. Эта высшая сознательность заставляет нас, коммунистов, задуматься вообще над системой отличий, которая установилась в Красной Армии. Выбрать лучшего никогда невозможно, так как невозможно установить какой-либо единый критерий ценности. Один проявит богатую инициативу, другой — предусмотрительность, спасшую сотни человеческих жизней, третий — мужество, выдержку, хладнокровие, четвертый — безумную храбрость, пятый систематической кропотливой работой способствовал росту боеспособности частей и т. д. и т. д.— да разве все можно пересчитать?

Говоря откровенно, награды часто выдаются сплеча. Есть случаи, когда их получали по жребию. Были случаи драк и кровавых столкновений; на наш взгляд, награды производят действие самое отвратительное и разлагающее. Они родят зависть, даже ненависть между лучшими бойцами, дают пищу всяким подозрениям, сплетням низкого пошиба, разговорам на тему о возврате к прошлому и прочее.

Они же слабых склоняют на унижение, заискивание, лесть, подобострастие. Мы еще не слышали ни от одного награжденного, чтобы он восторгался наградою, чтобы ценил эту награду, глубоко, высоко чтил. Ничего подобного нет. С кем ни приходилось говорить из командиров и рядовых бойцов — все одинаково возмущаются и протестуют против наград. Разумеется, если награды будут присылаться и впредь — они будут распределяться, но если отменят их начисто — поверьте, что никто об этом не пожалеет, а только порадуются и вздохнут облегченно...»

Такое письмо послали в ЦК партии. Ответа никакого не получили.

В письме этом много и неверного и наивного: тут нет государственного подхода к вопросу, немножко слащавит от нежности и приторной доброты, но все это искренне, все это чистосердечно, все это очень, очень в духе, в характере того времени!

Тут же, всего через несколько дней, послали в ЦК другое письмо, за ним было послано и третье, но про него — потом.

Второе письмо — в тех же самых тонах, что и первое: писано оно по поводу новых окладов жалованья. Дело в том, что за время движения на Уфу, несмотря на временные голодовки, в общем положение с питанием было довольно сносное, так как в критических случаях продовольствие можно было достать и у населения. Голодали только тогда, когда подвоз отчего-либо прекращался совершенно, а двигались полки и быстро и по таким местам, где все было разорено, сожжено, уничтожено. Да, тут приходилось туго!

На фронте очень часто случается так, что деньги девать решительно некуда, и они являются сущим бременем тому, у кого нет до них специальной охоты. В те месяцы и годы величайшего духовного подъема и величайшей моральной чуткости особенно развита была щепетильность — даже у самых больших работников и даже по очень маленьким делам и поводам.

Какой-нибудь комиссар и одевался просто, как рядовой красноармеец, и питался вместе с ним из одного котла, и в походах маялся рука об руку, а умирать в бою всегда торопился первым! Так держали себя лучшие. А случайные прощелыги, своекорыстные, трусливые и непригодные вообще для такой исключительной обстановки — они как-то сами собою вытряхивались из армии: изгонялись, переводились, попросту дезертировали легально и нелегально. Высочайший авторитет, заслуженный в армии коммунистами, заслужен ими был недаром и нелегко. На все труднейшие дела, во все сложнейшие операции первыми шли и посылались чаще всего коммунисты. Мы знаем случаи, когда из пятнадцати — двадцати человек убитых и раненых в какой-нибудь небольшой, но серьезной схватке половина или три четверти было коммунистов.

Так вот, повторяем, курс на «уравнение» был тогда серьезнейшим и даже законнейшим. Очень неред-

ки были случаи, когда командиры и комиссары отказывались от специальных окладов, сдавали излишки в полковую кассу, а сами довольствовались тем же, что получали и рядовые бойцы.

«Уравнительное» стремление было настолько сильно, что Федор с Чапаевым однажды довольно серьезно совещались о том, каким путем всю дивизию обязать разговаривать на «ты».

Поводом к таким размышлениям было следующее.

Наиболее ответственная публика почти всегда говорит красноармейцу «ты», и это не потому, что пренебрежение какое-нибудь имеет, а естественно считая совершенно излишней эту светскую «выкающую» галантность в боевой, жестокой и суровой обстановке. Там даже как-то нелепо звучали бы эти «вежливые» разговоры, по крайней мере в ту пору они были очень не к делу. Командиры и комиссары и сами были то рабочие, то крестьяне: они с бойцами обращались так же просто, как всю жизнь привыкли просто обращаться со своими товарищами где-нибудь на заводе или в деревне. Какая там еще салонная вежливость! Они просто — и с ними просто.

В полку вообще все были между собой обычно на «ты». А вот повыше полка картина получалась другая: тут красноармейцу также все говорили «ты», а сам он отвечать в том же духе как будто и «не осмеливался». Так вот на тему «об уравнении» Чапаев с Федором и совещались, толковали, измышляли, предполагали, но ни до чего окончательно так и не дошли.

Представьте же теперь, что получилось, когда дивизия узнала, что оклады всем повышены... всем, но... не красноармейцам... Первыми запротестовали сами же политические работники. И потому они запротестовали, что действительно не хотели себя отделять от бойцов и потому, что всякие укоры и подозрения обычно сыпались на них и раньше и обильнее, чем на кого-либо другого. Это им в таких случаях говорили: «Вот смотрите — на словах-то равенство и братство, а на деле што?»

Эти примитивные и столь обычные вопросы как будто и не должны были бы их смущать, привыкнуть бы к ним пора, но на самом деле обстояло по-иному; политические работники, сами такие же красноармейцы, как и все остальные, подымались на дыбы и чаще

не только успокаивали полки в подобных случаях, а брали на себя обязанность «снестись», заявить «протест» и прочее.

Когда узнали про новые оклады, взволновались все полки. В политический отдел посыпались один за другим протесты. Федору при его поездках по дивизии уши прожужжали насчет этих «бешеных окладов». Только не подумайте, что увеличение и в самом деле было значительное — нет, оно было крохотное, но тогда ведь и всякие крохи казались караваями.

В те дни собралось как раз дивизионное партийное совещание, надо было обсудить коротко и спешно ряд вопросов в связи с приближением к Уфе...

На этом совещании просили Клычкова снова послать протест в ЦК, и Федор, узнав, что и комсостав в большинстве думает так же, послал туда новую грамоту:

«Дорогие товарищи!

Пишу вам от имени политических работников нашей дивизии и лучшей части командного состава. Мы совершенно недовольны и возмущены теми новыми окладами жалованья, которые нам положены теперь. Оклады бешеные, неимоверно высокие, куда, на что нам деньги? Кроме разврата, они в нашу среду ничего не внесут. Не говорю уже про удешевление рубля, про быстрый рост цен на продукты и пр., но и сами-то мы приучаемся шиковать, барствовать и бросаться деньгами или, наоборот, затаивать, копить большие суммы, скопидомничать... А при всем этом красноармейцу не прибавлено ни гроша. Знает ли об этом партия? Не чужие ли люди стравливают нас с красноармейцами? А глухой ропот Красной Армии становится ведь все более и более явственным. Может быть, высокие оклады нужны на петербургском и других голодных фронтах, но зачем же они нам, когда хлеб и масло здесь почти даром? Делили бы на полосы, что ли. Мы стремились даже к тому, чтобы всем политработникам сравняться жалованьем с красноармейцами, а тут награждают нас новыми прибавками. Волков вы никогда и ничем не накормите, а нас прикармливать не требуется,— нас и голодных не угонишь от борьбы».

Письмо опять-таки отдает больше сердечной теплотой, чем серьезностью, а в некоторых пунктах и сгущено определенно, хотя бы насчет этого самого «шикованья и барствования». Ну, какой там шик, на фронте-то, какое барство в походах да боях!

Только намеки могли быть чуточные на некоторое улучшение, и «словечки» эти надо понимать, конечно, только как «красные словечки». Потом насчет ЦК. Почему в самом деле запрос наладили прямо туда, а не в армию, не во фронтовые учреждения, не в центральные органы Красной Армии? Да потому, что вопрос этот считали, разумеется, всеобщим, а не только дивизионным или армейским. Зато в ЦК вера была глубочайшая, какая-то благоговейная, а успеху своего обращения верили настолько, что даже ответа ждали немедленно.

О нашей наивности говорила, между прочим, и приписка к письму в ЦК, производившая впечатление приклеенной ни к селу ни к городу.

В этой приписке шла речь о бедности ресурсов по части постановки в армии спектаклей и концертов. Заканчивалась она словами:

«Необходимо надавить куда следует, *родить* сборники свежих пьес, благородных песен и истинно художественных произведений прозой и стихами. Если сборники уже изданы (мы их и не видим) — гоните их, товарищи, срочно на позицию!»

Здесь уж не только вера во всемогущество ЦК, но и полная безнадежность по части своих военных «главков». Наивные! Они тогда у себя на позиции и не знали, что нельзя приказать «родить» сборники,— их надо выносить, им надо дать созреть и родиться нормальным порядком, в свои сроки. А между тем ждать нормального «рождения» сборников не было времени, не было терпения. И потому, не видя исхода, тыкались по всякому делу куда придется. В работе часто шел разнобой, пререкания, ненужное вмешательство, ненужные обиды, угрозы, репрессии...

Взять хотя бы, например, «женский вопрос» в Красной Армии. Чего-чего по этому вопросу только не говорилось, не писалось, не приказывалось, а на деле что выходило? На деле всегда получалось одно только «по усмотрению». Были распоряжения — не всегда гласные и официальные — убрать из армии

всех жен и женщин вообще. И этот «очистительный» порыв имел под собою массу серьезных оснований: жены были не только у командиров и комиссаров — они целыми стаями носились за красноармейскими полками, часто с домашним скарбом, иные с ребятами. И все это огромное «тыловое войско» грузилось на казенные повозки! Подумайте только, какая уйма крестьянских подвод занята была постоянно самой непроизводительной работой! Затем и такие были соображения: как водится, из-за женщин, по разным поводам, случались скандальчики и самые настоящие скандалы — это в армии дело совершенно неизбежное. Да как же иначе, раз она, армия, целые месяцы и годы вынуждена жить особенной, замкнутой жизнью, оторванной от многого абсолютно необходимого?

Затем женщина, и в частности жена, бывала частенько причиною тому, что муж вместо вопросов военных немало времени уделял другим, для боевой походной жизни частным и сторонним вопросам. Именно среди женщин очень часто попадались шпионки и разведчицы.

Словом, много было причин к тому, чтобы издавать о женщинах особые приказы и распоряжения.

Но какое же тут получалось скандальное положение, когда начинали приказания проводить в жизнь. Первым делом на дыбы поднимались полки, особенно после того, как узнают, что в дивизии все женщины сохранились налицо. Кое-как с ними улаживали. Брались за чистку органов, но тут убрать женщин — совсем не то же, что от полка отделить несколько сотен красноармейских жен. Как вы уберете нужных работниц, да притом же действительно никем не заменимых? Как и почему уберете из полков тех женщин-санитарок, тех героинь-красноармеек, которые рядовыми бойцами сражались и гибли в атаках? Зачем уберете политических работниц, коммунисток, сестер милосердия, фельдшериц, которых так мало, которые так нужны? А ведь приказы отдавались частенько безоговорочно, понимались доподлинно и проводились куда как прямолинейно!

К Федору прибежали как-то запыхавшиеся ткачихи-красноармейки и просили вступиться, так как их убирают из полка. Они ему наскоро рассказали, что в их среде было четыре «позорных», но они их сами

исключили из своей среды и спровадили из полка. Пришлось Клычкову самолично ехать в полк и разъяснить там кому следует, чтобы их не трогали, не исключали.

Можно себе представить, насколько вопрос этот являлся запутанным и неясным, когда сами руководители дивизии не могли в нем разобраться как следует!

Бригада Сизова Чишму взяла стремительным, коротким ударом, выхватив ее у бригады Потапова, которой операцию эту поручалось провести. Потапов с полками шел мимо озера Лели-Куль, все время вверх по Дёме-реке, и, когда пала Чишма, он был совсем неподалеку.

На фронте часто бывает, что небольшой успех, отнятый у другого, является началом и причиной серьезной, большой катастрофы. Зарвется какой-нибудь командир, погонится за эффектом неожиданного сильного удара, отхватит часть задачи, порученной соседу, и перепутает своею победой все карты. Лучше бы ее и не было, этой победы! Победа не всегда является успехом, она может дать и худые результаты.

Когда затевается, положим, глубокий обход противника флангами, окружение и захват его целиком, в это время какая-нибудь лихая голова вдруг ударяет неприятеля в лоб, спугивает, перепутывает весь план действий и своей частичной «победой» наносит безусловный вред общему, более крупному и серьезному замыслу. Так могло получиться и теперь, когда Сизов влетел в Чишму, а в тылу у него, на берегу Дёмы, остались неприятельские полки. Они его могли потрепать ощутительно, если бы вовремя со своей бригадой не подоспел Потапов. Взаимопомощь в Чапаевской дивизии была развита до высокой степени, и каждая часть настойчиво и быстро помогала другой части, попавшей в трудное положение.

Не всегда и не везде так бывало, наблюдалось и обратное. Результаты неизменно от этого были тяжкие.

Потапов, как только уяснил обстановку, немедленно вступил с неприятелем в бой, отвлек на себя все его внимание и, пользуясь замешательством в его рядах, жал и жал к реке. Артиллерийская канонада была настолько жарка, что целых три орудия выбыли

из строя. Неприятеля угнали за Дёму. Уходя, он взорвал все мосты, на возврат, видимо, не рассчитывая, и сломя голову мчался к Белой[1]. Тут остановок не было серьезных,— Чишма была последним пунктом, где колчаковские полки на что-то рассчитывали до Уфы, а дальше настроение у них, видимо, переменилось глубоко и невозвратно,— дальше был только организованный отход, без серьезных попыток на этом берегу дать начало «перелому», про который там еще не переставали говорить и на который надеялись так же, как надеялось когда-то под Бузулуком и Бугурусланом красное командование.

XIII

УФА

Неприятель ушел за реку, взорвал все переправы и ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами орудий, пулеметными глотками, штыками дивизий и корпусов. Силы там сосредоточились большие: с Уфимским районом Колчак расставаться не хотел, и с выигрышных высот правого берега Белой он, казалось, командовал над наступавшими с разных сторон красными дивизиями.

Уфу предполагалось брать в обхват. Дивизиям правого фланга была дана задача выйти в неприятельский тыл, к заводу Архангельскому, но затруднительность движения им не позволила переправить на Белую еще ни одного бойца к тому моменту, когда другие уже вплотную подступили к берегу.

Против Уфы выросла Чапаевская дивизия. Она своим правым флангом, бригадой Потапова, застыла над огромным мостом, идущим высоко над рекой прямо в город, левый же фланг отскочил до Красного Яра, небольшого селеньица верст за двадцать пять вниз по Белой,— сюда подошли бригады Шмарина и Сизова.

Когда у Красного Яра переправятся части и пойдут на город, потаповская бригада должна была поддержать их, переправившись у моста. Он был еще

---

[1] Река, на которой стоит Уфа.

цел — огромный чугунный мост, но никто не верил, что неприятель оставит его нетронутым, предполагали, что мост непременно должен быть минирован, и поэтому переправляться по нему не следует. Идущий с высокой насыпи по мосту железнодорожный путь был местами разобран, а посредине втиснулись несколько вагонов, груженных щебнем и разным мусором. Переправляться было здесь пока совершенно не на чем,— это уже впоследствии раздобыли откуда-то бойцы несколько лодок, приволокли бревна и доски и увязали их в жиденькие подвижные плоты.

Главный удар намечался все-таки со стороны Красного Яра. Вынеслась на берег кавалерия Вихоря. Недалеко от Красного Яра по Белой преспокойно тянулись буксир и два небольших пароходика. Публика была самая разнообразная, а больше всего, конечно, военных,— из них десятка три офицеров. Непонятна, удивительна была эта беспечность — словно и не думали люди о возможности налета с берега или же и вовсе не знали того, что так близко красные полки. Кавалеристы рты разинули, когда увидели на палубе «господ» в погонах. Офицеры сразу тоже не разобрались — за своих, верно, приняли.

— Стой! — прокомандовали с берега.

— Зачем вставать? — крикнули и оттуда.

— Остановите пароходы, огонь откроем!.. Причаливай к берегу! — кричали кавалеристы.

Но там поняли, в чем дело, попытались ускорить ход, думали прокатить к болотам, куда по берегу кавалерии не дойти... Лишь это заметили кавалеристы — грозно заревели:

— Останови, останови!!!

Пароходы продолжали идти. С палубы раздались первые выстрелы. Кавалерия отвечала. Завязался неравный бой. Подскочили с пулеметом, зататакали. На пароходах взвыли, стремглав слетели вниз, прятались, где могли. Пароходы причаливали. Офицеры не хотели сдаваться живыми — почти все перестрелялись, бросались в волны... Эти пароходики были сущим кладом: они сыграли колоссальную роль в деле переправы через Белую красных полков и сразу облегчили то затруднительное положение, с которым столкнулось красное командование. Пароходики при-

прятали, не давая неприятелю узнать, что в руки попала такая драгоценность.

За два дня до наступления Фрунзе, Чапаев и Федор приехали туда на автомобиле и сейчас же созвали совещание командиров и комиссаров, чтобы выяснить все обстоятельства и особенности наличной обстановки, учесть и взвесить все возможности, еще и еще раз подсчитать свои силы и шансы на успех.

У Фрунзе есть одна отличная черта, которая прежде всего ему же самому помогает распутывать самые, казалось бы, запутанные и сложные дела: он созывает на товарищеское совещание всех заинтересованных, ставит им ребром самые главные вопросы, отбрасывая на время второстепенные, сталкивает интересы, вызывает прения, направляет их в надлежащее русло. Когда окончена беседа, самому Фрунзе остается подсчитать только обнаруженные шансы, прикинуть, координировать и сделать неизбежный вывод. Прием этот, казалось бы, очень прост, но дается он не каждому,— во всяком случае сам Фрунзе владел им в совершенстве.

Когда теперь в Красном Яру собрались вожди дивизии, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иваново-Вознесенский полк. Этот выбор был сделан не случайно. Полки бригады Сизова покрыли себя бессмертной победной славой, они были в отношении боевом на одном из первых мест, но для *данного момента* надо было остановиться на полку высокосознательных красных ткачей — здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно.

Совещание окончилось. Вскочили на коней, поскакали к берегу, откуда должна была начаться переправа. Коней оставили за полверсты, а сами пешком пошли по песчаному откосу, посматривая на тот берег, ожидая, что вот-вот поднимется пальба. Но было тихо. Забрались на косогор и оттуда в бинокль рассматривали противоположный берег, облюбовали место, окончательно и точно договорились о деталях переправы и уехали обратно. Вскоре к месту ожидаемой переправы пригнали два пароходика; третий стоял на мели. Стали погружать топливо, сколачивать подмостки.

Задержались еще на целые сутки. Уж близки решительные часы... Условились так, что переправою у Яра будет руководить сам Чапаев, а Федор поедет к мосту, где раскинулась потаповская бригада, и будет направлять эту операцию вплоть до вступления в город. Разъехались.

Уже с вечера на берегу у Красного Яра царило необычайное оживление. Но и тишина была для таких случаев необычайная. Люди шныряли, как тени, сгруппировывались, таяли и пропадали, собирались снова и снова таяли,— это готовился к переправе Иваново-Вознесенский полк. На пароходики набивали народу столько, что дальше некуда. Одних отвозили — приезжали за другими, снова отвозили — и снова возвращались. Так во тьме, в тишине перебросили весь полк. Уж давно миновала полночь, близился рассвет.

В это время батареи из Красного Яра открыли огонь. Били по ближайшим неприятельским окопам, замыкавшим ту петлю, что в этом месте делает река. Ударило разом несколько десятков орудий. Пристрелка взята была раньше, и результаты сказались быстро. Под таким огнем немыслимо было оставаться в окопах,— неприятель дрогнул, стал в беспорядке перебегать на следующие линии. Как только об этом донесли разведчики, артиллерия стала смолкать, а подошедшие иваново-вознесенцы пошли в наступление — и погнали, погнали вплоть до поселка Новые Турбаслы. Неприятель в панике отступал, не будучи в состоянии закрепиться где-нибудь по пути. На плечах бегущих вступили в Турбаслы иваново-вознесенцы. Здесь остановились,— надо было ждать, пока переправится хоть какая-нибудь подмога, зарываться одному полку было крайне опасно. Закрепились в поселке. А пугачевцы тем временем наступали по берегу к Александровке...

Грузились разинцы и домашкинцы,— они должны были немедленно двигаться на подмогу ушедшим полкам. Переправились четыре броневика, но из них три разом перекувырнулись и застряли на шоссе; их потом поднимали кавалеристы и поставили на ноги, пустив в дело.

Тем временем неприятель, отброшенный кверху, оправился и повел наступление на Иваново-Вознесен-

ский полк. Было уж часов семь-восемь утра. Пока стояли в Турбаслах и отстреливались от демонстративных атак, пока гнали сюда, за поселок, неприятеля, ивановцы расстреляли все патроны и теперь оставались почти с пустыми руками, без надежды на скорый подвоз, помня приказ Сизова, командовавшего здесь всею заречной группой:

«Не отступать, помнить, что в резерве только штык!»

Да, у них, у ткачей, теперь, кроме штыка, ничего не оставалось. И вот когда вместо демонстративных атак неприятель повел настоящее широкое наступление — дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Теперь полком командовал наш старый знакомый — Буров: его из комиссаров перевели сюда. Комиссаром у него — Никита Лопарь. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать все равно некуда — позади река, перевозить нельзя, что надо стать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать. В это время к цепям подскакало несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это Фрунзе, с ним начальник политотдела армии Тралин, несколько близких людей... Он с винтовкой забежал вперед: «Ура! Ура! Товарищи! Вперед!» Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный! Редко-редко стреляли, патронов было мало, неслись с штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали... Сизов своих ординарцев послал быть неотлучными около Фрунзе, наказал: «Если убьют, во что бы то ни стало вынести из боя и сюда — на переправу, к пароходу!»

На повозках уже гнали от берега патроны: их подносили ползком, как только цепи полегли за Турбаслами. Когда помчались в атаку, прямо в грудь пуля сбила Тралина; его подхватили и под руки отвели с поля боя. Теперь на том месте, где была крошечная, почти смертельная ранка, горит у него орден Красного Знамени.

Перелом был совершен, положение восстановлено. Фрунзе оставил полк и поехал с Сизовым к другому полку, к пугачевцам. Взбирались на холмики, на пригорки, осматривали местность, совещались, как лучше развивать операцию, вновь и вновь разучивали карту, всматривались пристально в каждую точку, сравнивали с тем, что видели здесь на самом деле. Пугачи продолжали идти по берегу. Стали подходить разинцы и батальоны Домашкинского полка: они выравнивались вдоль шоссе. В полдень был отдан приказ об общем дальнейшем наступлении. Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разинцы и батальоны Домашкинского — в центре, а с крайнего левого фланга — иваново-вознесенцы; они уже заняли к тому времени Старые Турбаслы и стали там на передышку. Как раз в это время показались колонны неприятельских полков; они с севера нависали ударом мимо иваново-вознесенцев — в центр группы, готовой к наступлению.

— Это, может быть, стада,— предполагали иные.

— Какие стада, когда штыки сверкают! — замечали им.

Видно ли было сверканье штыков — сказать нельзя, но уж ни у кого не было сомнения, что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть будет очень многое. Фрунзе хотел участвовать и в этой схватке, но Сизов упросил, чтобы он ехал к переправе и ускорил переброску полков другой дивизии. Согласились, что это будет лучше, и Фрунзе поскакал к переправе. Скоро под ним убило лошадь и самого жестоко контузило разорвавшимся снарядом. Но, и будучи контужен, он не оставил работы на берегу,— подгонял, помогал советом, переправил туда часть артиллерии

Прежде всех подвел к Иваново-Вознесенскому полку батарею Хребтов. Он встал позади цепей и в первом же натиске неприятельском, когда застыли цепи в состоянии дикого, окостенелого выжидания, открыл огонь. И бойцы, заслышав свою батарею, вздрогнули весело, пошли вперед...

Наступление развить не удалось: на разинцев и домашкинские батальоны навалилась грудью вся та огромная масса, что двигалась с севера. Слишком неравные были силы, слишком трудно было удержать

и перебороть этот натиск,— разинцы дрогнули, отступили. В одном батальоне произошло замешательство: там было мало старых бойцов, больше свежей, непривыкшей молодежи; этот батальон сорвался с места и помчался к берегу, за ним кинулись отдельные бойцы других батальонов. Остальные медленно отступали, отбиваясь от наседавшего неприятеля. Иваново-вознесенцы задержались под Турбаслами. Теперь часть неприятельских сил обратилась на них. Сизов подскакал к Хребтову.

— Разинцы, Хребтов, отступают, надо помогать! Поверни орудия, бей правее, по тем частям, что преследуют отступающих!..

И Хребтов повел обстрел. Верный глаз, смекалка и мастерство испытанного, закаленного артиллериста сделали чудо: снаряд за снарядом, снаряд за снарядом — и в самую гущу, в самое сердце неприятельских колонн. Там растерялись, остановили преследование, задержались на месте, понемногу стали отступать, а огонь все крепчал, снаряды все чаще, все так же верно ложились и косили неприятельские ряды. Наступление было остановлено. Разинцы встрепенулись, ободрились. В это время Чапаеву на том берегу помогал при переправе Михайлов. Когда он увидал, что к берегу сбежалась масса красноармейцев, понял, что дело неладно, побежал к Чапаеву, хотел доложить, но тот уж все знал — только что по телефону обо всем переговорил с Сизовым.

Только заикнулся Михайлов рассказать ему, что видел, а Чапаев уж приказывает:

— Михайлов, слушай! Только сейчас погрузили мы батальон еще... Туда нужны силы... Этого мало... Надо отогнать этих с берега... Понял? От них — одна гибель. Поезжай, возьми их обратно, за собой. Понял?

— Так точно,— и Михайлов уж на том берегу. Разговор у него короток, да и нет времени разговаривать. Иных бегущих плеткой, иных револьвером задержав, остановил, крикнул:

— Не смей бежать! Куда, куда бежите? Остановитесь! Одно спасенье — идти вперед! За мной, чтобы ни слова! Кто попытается бежать — пулю в голову! Сосед, так его и стреляй! За мной, товарищи, вперед!

Эти простые и так нужные в ту минуту слова разогнали панику. Бежавшие остановились, перестали метаться по берегу, сгрудились, смотрели на Михайлова и недоуменно, и робко, и с надеждой:

«А не ты ли и вправду спасешь нас, грозный командир?»

Да, он их спас. В эти мгновенья иначе как плетью и пулей действовать было нельзя. Он взял их, повел за собой, построил как надо, толпу снова превратил в организованное войско. И теперь, когда подходил с ними навстречу отступавшим двум разинским батальонам и домашкинцам, те вздрогнули радостно, закричали:

— Пополнение идет, пополнение!

В такие минуты ошибку рассеять было бы преступлением,— их так и уверили, что тут показалось действительно пополнение. Батальоны повернулись, пошли в наступление... Но победы здесь не было. Только-только удалось неприятеля отогнать, и, когда отогнали, главные силы его загнали на Иваново-Вознесенский полк. Он очутился под тяжким ударом, но выдержал одну за другою четыре атаки нескольких неприятельских полков. Здесь героизм и стойкость были проявлены необыкновенные. Выстояли, выдержали, не отступали, пока не подошли на помощь свои полки и не облегчили многотрудную обстановку...

Ушедших по берегу пугачевцев, чтобы не дать им оторваться, надо было оттянуть обратно. Когда приказание было отдано и они стали отходить, молчавший и, видимо, завлекавший их неприятель открыл одну за другою ряд настойчивых атак. Пугачевцы отступали с потерями... Схватывались, отбивались, но в контратаку не ходили — торопились скорее успеть на линию своих полков.

И когда все части снова были оттянуты к шоссе, сюда пришло известие о том, что Чапаев ранен в голову, что Сизову поручается командование дивизией... Тяжелая весть облетела живо полки, нагнав на всех тяжелое уныние... Вот и не видели бойцы здесь, в бою, Чапаева, а знали, что тут он, что все эти атаки, наступления и отходы, что все это не мимо него совершается. И как бы трудно ни было положение, верили они, что выход будет, что трудное положение

минуло, что такие командиры, как Чапаев и Сизов, не заведут на гибель.

Узнав про чапаевское ранение, все как-то сделались будто тише и грустней... Наступление к тому времени уже остановилось, сумерки оборвали перестрелку. Затихло все. Над полками тишина. Во все концы стоят сторожевые охранения, всюду высланы дозоры. Полки отдыхают. Наутро, перед зарей, назначено общее наступление.

Находясь при переправе, Чапаев каждые десять минут сносился телефоном то с Сизовым, то с командирами полков. Связь организована была на славу,— без такой связи операция проходила бы менее успешно. Чапаев все время и всегда точно знал обстановку, складывавшуюся за рекой. И когда там начинали волноваться из-за недостатка снарядов или патронов, Чапаев уже знал эту нужду и первым же пароходом отсылал необходимое. Неизменно справлялся о настроении полков, об активности неприятеля, силе его сопротивления, о примерном количестве артиллерии, о том, много ли офицеров, что за состав войска вообще,— все его занимало, все он взвешивал, все учитывал. Он нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами,— все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент. Смутили его на время неприятельские аэропланы, но и тут не растерянность, а злоба охватила: у наших летчиков не было бензина, они не могли подняться навстречу неприятельским. Громы-молнии помочь здесь не могли, так свои аппараты и остались бездействовать. Пришлось всю работу на берегу проводить под разрывами аэропланных бомб, под пулеметным обстрелом с аэропланов... Но делать было нечего. Скоро орудийным огнем заставили неприятельских летчиков подняться выше, но улететь они не улетели. Этот обстрел с аэропланов нанес немало вреда. Во время этой стрельбы ранило и Чапаева: пуля пробила ему голову, но застряла в кости... Ее вынимали — и шесть раз срывалась. Сидел. Молчал. Без звука переносил мученье. Забинтовали, увезли Чапаева в Авдонь — местечко верстах в двадцати

от Уфы. Это было к вечеру 8-го, а на утро 9-го было назначено наступление.

Упорная работа на берегу, исключительная заслуга артиллеристов, отличная постановка связи, быстрая, энергичная переброска на пароходах — все это говорило о той слаженности, о той организованности и дружной настойчивости, с которою вся операция проводилась. Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась коллективная воля к победе. Она просвечивала в каждом распоряжении, в каждом исполнении, в каждом отдельном шаге и действии командира, комиссара, рядового бойца...

Поздно вечером к Сизову привели перебежчика-рабочего. Он уверял, что утром рано пойдут в атаку два офицерских батальона и Каппелевский полк; они пойдут на пугачевцев, чтобы, пробив здесь брешь, отрезать остальные полки и, окружив, уничтожить при поддержке других своих частей, остановившихся севернее. Рабочий клялся, что сам он с Уфимского завода, что сочувствует Советской власти и перебежал, рискуя жизнью, исключительно с намерением предупредить своих красных товарищей о грозящей опасности. Сведения получил он совершенно случайно, работая в том доме, где происходило совещание. Он клялся, что говорит правду, и чем угодно готов был ее подтвердить. И верили ему — и не верили. На всякий случай свое наступление Сизов отсрочил на целый час. Усилил дозоры. Приготовились встретить десятками пулеметов. Рабочего взяли под стражу, объявили ему, что будет расстрелян, если только сведения окажутся ложными и никакого наступления белых не произойдет...

Мучительно долго тянулась ночь. В эту ночь из командиров почти никто не спал, несмотря на крайнюю усталость за минувший страдный день. Все были оповещены о том, что рассказал рабочий. Все готовы были встретить врага. И вот подошло время...

Черными колоннами, тихо-тихо, без человеческого голоса, без лязга оружия шли в наступление офицерские батальоны с Каппелевским полком. Они раскинулись по полю и охватывали разом огромную площадь. Была, видимо, мысль — молча подойти вплотную к измученным, сонным цепям и внезапным ударом переколоть, перестрелять, поднять панику, уничтожить...

Эта встреча была ужасна... Батальоны подступили вплотную, и разом, по команде, рявкнули десятки готовых пулеметов... Заработали, закосили... Положили ряды за рядами, уничтожали... Повскакивали бойцы из окопов, маленьких ямок, рванулись вперед. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике каппелевцы — их преследовали несколько верст... Этот неожиданный успех окрылил полки самыми радужными надеждами.

Рабочего из-под стражи с почестями отправили в дивизию, из дивизии, кажется, в армию...

Про всю эту историю Сизов потом подробно рассказывал Федору (тот был у моста с бригадой Потапова); рассказывал и о том, что дальше, после такого успеха, части шли победоносно и безостановочно, вечером 9-го были уже под самой Уфой.

Разъехавшись с Чапаевым, Федор с несколькими товарищами поехал в ту сторону, где расположена была бригада Потапова. Песчаную Уфимскую гору со стороны Авдоня было видно еще верст за двадцать; по скату точками чернели строения, высоким столбом торчала каланча, горели на солнце золотые макушки церквей. Проскакали быстро, выехали на широкую поляну. Сюда неприятель доставал уже артиллерийским обстрелом, поляна была перед ним как на ладони, и как только он замечал здесь движение, открывал огонь. Гурьбою не поехали, разбились гуськом, друг от друга шагов на семьдесят, и один за одним быстро-быстро поскакали к штабу бригады. Переехали полотно железной дороги; здесь валялось по бокам и стояло на рельсах много сожженных, разбитых, поломанных вагонов. Била откуда-то из-за пригорка артиллерия по Уфе, за лесом татакали говорливые пулеметы.

Приехали к Потапову. Он остановился на крошечном полустанке верстах в двух-трех от берега. Происходило как раз совещание командиров — выискивали лучшие способы переправиться на тот берег... Порешили переправу ставить в полнейшую зависимость от продвижения двух других бригад и не поддаваться ни на какие соблазны — броситься, положим, через мост, относительно которого почти общее было мнение, что он подготовлен к взрыву. Потолковали о

средствах переправы,— их не было. Принялись за поиски этих средств во всех направлениях и кое-что действительно разыскали.

На самом берегу Белой стоят две будки-избушки; там поставили телеграф, провели телефонные провода. В траве на берегу, по обе стороны от моста, залегли полки. Сзади них, за лесом, остановились батареи. В эту же ночь решили прощупать неприятеля, узнать окончательно про мост: действительно, мол, минирован или нет (в бригаду поступили сведения, что уфимские рабочие не дают белым войскам ни взрывать этот мост, ни готовить его к взрыву). В одиннадцать часов, когда будет совсем темно, должен прибыть головной отряд рабочих; они вызываются починить мост, загроможденный вагонами, и поправить разобранный путь... Вот уже одиннадцать, двенадцать, час... Отряда все нет! Он явился только в третьем, когда начинали уже редеть предрассветные сумерки... И лишь только стало известно, что близко отряд, артиллерия из-за леска стала ему «расчищать» дорогу к работе,— батареи разом открыли огонь по берегу, пытаясь выбить неприятеля из первой линии окопов, навести панику, отвлечь внимание от рабочего отряда. Но в расчетах ошиблись. Неприятель на огонь артиллерии ответил еще более частым, жарким огнем, и, как только стукнул по рельсам первый молоток, с берега заухали тяжелые орудия. Прицел у врага великолепный, выверенный до точности,— видно было, что в ожидании красных гостей белые войска практиковались здесь изрядно и серьезно готовились к встрече. Первые два снаряда упали возле переднего каменного столба, как бы только нащупывая нужное место и указывая огненными вехами, где должен упасть третий. Указано было точно: третий снаряд ухнулся как раз на шпалы первого пролета. С грохотом полопались рельсы, во все стороны полетели осколки шпал. Рабочие шарахнулись назад... им так и не удалось пробраться к темневшим впереди вагонам... Лишь только успели они отскочить, как началась торопливая меткая стрельба по цели. Снаряды падали все время на мосту, как раз на шпалы, и быстро изуродовали путь. Отряд оттянули за будку, потом его снова вернули, и работа хотя и с перерывами, но подвигалась.

Когда стрельба перенеслась за мост, Федор, Анна Никитична [1], две санитарки да человек двадцать бойцов забрались по лестнице, приткнулись на ступеньках, расположились по склону насыпи... Вдруг над головами ахнул разрыв, и все они кубарем покатились вниз. На этот раз счастливо — ранило только двоих; санитарки их тут же перевязали, но ребята не ушли, остались на месте. Когда вскочили с земли, кинулись инстинктивно к будке и спрятались за нее, прижавшись к стене... Снаряды визжали и храпели, стонали, метались над головой, а когда рвалась шрапнель, осколки засыпали избушку, стучали по крыше, то ее пробивали, то соскакивали оттуда и шлепались на землю у самых ног. Первое время будто окостенели, стояли полумертвые, в молчании. Свои снаряды тоже мчались из-за опушки над самой головою, и все жадно слушали их пронзительный визг и свист, а еще более чутко вслушивались, когда летел неприятельский снаряд.

«Сюда или дальше?» — сверлила каждого жуткая мысль.

А визг приближается, усиливается, переходит в страшный, пронзительный скрежет... Будто какие-то огромные чугунные пластины трут одну о другую все быстрее, все быстрее, и они верезжат и стонут и скрежещут своим невыносимым чугунным скрежетом...

«Над нами *этот* или пролетит?»

И вдруг визг уже совсем над головой. Вот он пронизал мозги, застыл в ушах, пронесся ураганом по мышцам, по крови, по нервам, заставил дрожать их частой мелкой дрожью. И все невольным быстрым движением втягивают в плечи головы, сгибаются на стороны, еще теснее жмутся друг к другу, лица закрывают руками, как будто ладони спасут от раскаленного стремительного снаряда... Оглушительный удар... Все вздрогнут и так в окостенении, не дернув ни одним членом, стоят целую минуту, как бы ожидая, что за разрывом последует что-то еще и даже более страшное, чем этот ужасный удар. По крыше бьются осколки: они шуршат в листве деревьев, ломают сучья, шлепаются на землю, заметая быстрые, короткие вихри. Секунды затаенного дыхания, гробо-

[1] Жена Дмитрия Фурманова.

вого молчания, а потом кто-нибудь двинется и все еще нетвердым голосом пошутит:

— Пронесло... Закуривай, ребята...

Удивительное дело, но после этих ужасных мгновений разговор возобновляется почти всегда шуткой и почти никогда ничем другим. Потом замолкнут и снова стоят, ждут новых разрывов. Так целые долгие часы, до рассвета... Несколько раз прибегал Потапов из соседней избушки, забегал и к нему туда Федор, а потом отправлялся снова на дежурство... Все-таки не оставляла дерзкая мысль: если удастся определить, что мост совершенно цел,— ворваться в город, хотя бы одним полком и одною внезапностью налета навести панику, помочь идущим от Красного Яра бригадам...

Как только рассвело, пальба прекратилась. Перебрались на полустанок, где расположился штаб. Измученные бессонной ночью, быстро позасыпали. А в сумерки — снова к мосту и снова стали нащупывать: цел или нет? Разведчики дошли уже до половины, но их заметили, обстреляли пулеметным огнем... Федор с комиссаром полка тоже пошел к вагонам на мосту. Продвинулись они шагов на двести и запели «Интернационал»... По-видимому, странное чувство испытывали колчаковские солдаты — они не стреляли. Федор что было мочи крикнул с моста:

— Товарищи!..

И как только крикнул, снова заработали пулеметы. Припали на рельсы и поползли... Обошлось благополучно. Они добрались до последнего пролета, поднялись по лестнице, спустились к избушке. Пошли по берегу, где залегли цепи... По траве во все стороны разбросались бойцы, иные отползли в лес, там покуривали, собирались небольшими кучками; другие на животе маршировали к воде, наполняли котелки, возвращались и опоражнивали один за другим, попивая вприкуску с хлебом, передавая друг другу. Их можно было видеть, как то и дело спускались вниз по берегу, пряча голову в острой и жесткой осоке, перед самым носом покачивая полным до краев котелком.

Эта ночь была такая же, как накануне. Пришли сведения, что две бригады уже продвинулись на том берегу от Красного Яра, значит, и здесь наступает что-то решительное. Одна за другой пытаются развед-

ки проникнуть на тот берег или хотя бы к вагонам, загородившим путь, но неприятель зорко охраняет все щели, все дыры, где только можно было бы проникнуть. Ночь темная-темная... Там, на берегу, лишь слабые огни — ничего не видно, что делается у врага. Около двух часов утихла артиллерия... Тишина воцарилась необыкновенная... Чуть забрезжил рассвет...

И вдруг со страшным грохотом взорвался мост, полетели в воду чугунные гиганты, яркое пламя заиграло над волнами... Стало светло, как днем...

Все стоявшие у избушки повскакивали на насыпь и всматривались через реку,— так хотелось узнать, что же там творится у врага? И почему именно теперь, в этот час, он уничтожил чугунного великана? Значит, что-то неладно... Может быть, уж отступают?.. Может быть, и бригады уж близко подошли к Уфе?..

Всеми овладело лихорадочное нетерпение... Шли часы. И лишь стало известно, что бригады в самом деле идут к городу, была отдана команда переправляться. Появились откуда-то лодки, повытащили из травы и спустили на воду маленькие связанные плоты, побросали бревна, оседлали их и поплыли.

Неприятель открыл частую беспорядочную пальбу. Видно было, что он крайне обеспокоен, а может быть, и в панике. Артиллерия усилила огонь, била по прибрежным неприятельским окопам... По одному, по двое, маленькими группами все плыли да плыли под огнем красноармейцы, доплывали, выскакивали, тут же в песке нарывали поспешно бугорки земли, ложились, прятали за них головы, стреляли сами...

Прожигало крепко полуденное солнце. Смертная жара. Пот ручьями. Жажда.

И все ширится, сгущается, растет красная цепь. Все настойчивее огонь и все слабей, беспомощней сопротивление. Враг деморализован.

«Ура!..» Поднялись и побежали... Первую линию окопов освободили, выбили одних, захватили других, снова залегли... И тут же с ними лежали пленные— обезоруженные, растерявшиеся, полные смертельного испуга. Так, перебежка за перебежкой, все дальше от берега, все глубже в город.

С разных концов входили в улицы красные войска. Всюду огромные толпы рабочих, неистовыми криками выражают они свою бурную радость. Тут и во-

сторги, приветствия доблестным полкам, и смех, и радостные неудержимые слезы... Подбегают к красноармейцам, хватают их за гимнастерки,— чужих, но таких дорогих и близких,— похлопывают дружески, крепко пожимают руки... Картины непередаваемой силы!

Засаленные блузы шпалерами выклеили улицы, они впереди толпы; все это счастье победы — главным образом счастье для них...

Но сзади блуз и рубах по тротуарам, по переулкам, на заборах, в открытых окнах домов, на крышах, на деревьях, на столбах — здесь все граждане освобожденной Уфы, и они рады встретить Красную Армию. Те, которые были крепко не рады, ушли вон, за Колчаком. Полками, полками, полками проходят красные войска. Стройно, гордо поблескивали штыками, идут спокойно, полные сознания своей непобедимой силы. Не забудешь никогда это мраморное, величавое спокойствие, что застыло в их запыленных, измученных лицах!

Сейчас же, немедленно и прежде всего — к тюрьме. Остался ли хоть один? Неужели расстреляли до последнего? Распахиваются со скрежетом на ржавых петлях тяжелые тюремные двери... Бегут по коридорам... к камерам, к одиночкам... Вот один, другой, третий. Скорее, товарищи, скорее вон из тюрьмы. Потрясающие сцены! Заключенные бросаются на шею своим освободителям, наиболее слабые и замученные не выдерживают, разражаются истерическими рыданиями... Здесь так же, как и за стенами тюрьмы,— и смех и слезы радости. А мрачный тюремный колорит придает свиданию какую-то особенную, глубокую и таинственную силу...

Убегая от красных полков, не успели белые генералы расстрелять остатки своих пленников... Но только остатки... Уфимские темные ночи да белые жандармы Колчака — только они могут рассказать, где наши товарищи, которых угрюмыми партиями невозвратно и неизвестно куда уводили каждую ночь. Оставшиеся в живых рассказывали потом, какая это была мучительная пытка — жить в чаду поганых издевательств, бессовестного и тупого глумления белых офицеров и каждые сумерки ждать своей очереди в наступающую ночь...

Как только освободили заключенных, всюду расставлены были караулы: по городу — патрули, на окраины — несменяемые посты. Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов,— это ведь вошла Красная Армия, скованная дисциплиной, пропитанная сознанием революционного долга... В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений,— одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе...

Пришла делегация от еврейской социалистической партии и поведала те ужасы, которые за время колчаковщины вынесло здесь еврейское население. Издевательствам и репрессиям не было границ, в тюрьму сажали без всяких причин. Ударить, избить еврея на улице какой-нибудь негодяй считал и лучшим и безнаказанным удовольствием...

— Если будете отступать,— говорил представитель партии,— все до последнего человека уйдем с вами... Лучше голая и голодная Москва, чем этот блестящий и сытый дьявольский кошмар.

В тот же день еврейская молодежь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной Армии.

Политический отдел дивизии развернул широчайшую работу. В первые же часы были в огромном количестве распространены листовки, объяснявшие положение. По городу расклеены были стенные газеты, а с утра начала регулярно выходить ежедневная дивизионная газета. Во всех концах города непрерывно, один за другим, организовывались летучие митинги. Жители встречали ораторов восторженно, многих тут же, на митингах, качали, носили на руках — не за отличные ораторские качества, а просто от радости, от избытка чувств. Большой городской театр заняли своею труппой; тут всю работу уж проводила неутомимая Анна Никитична,— она возилась с декорациями, раздобывала по городу костюмы, хлопотала с постановками, играла сама. Театр был все время битком набит красноармейцами. Уже через несколько дней, когда раненый Чапаев приехал в город и пришел в театр, он от имени всех бойцов приветствовал со сцены Анну Никитичну, поднес ей букет цветов, и весь огромный зал свою любимую работницу при-

ветствовал громом криков и отчаянным хлопаньем в ладоши,— это была ей лучшая и незабываемая доселе награда от красных солдат.

Город сразу встряхнулся, зажил новой жизнью. Об этом особенно говорили те, которым тускло и трудно жилось при офицерских «свободах».

За Уфу погнали Колчака другие дивизии, а 25-ю остановили здесь на передышку, и больше двух недель стояла она в Уфимском районе. Время даром не пропадало, части приводили себя в порядок после такого долгого и изнурительного похода. Штабы и учреждения тоже подтягивались и разбирались понемногу во всем, что накопилось, сгрудилось за время горячего походного периода. С неослабной силой работал политический отдел; во главе его теперь вместо Рыжикова стоял Суворов, петербургский рабочий, по виду тихий, застенчивый, но отличный, неутомимый работник. Он в политотделе проводил так много времени, что здесь его можно было застать каждый час. Видимо, там же и ночевал. Крайнюков, помощник Федора, тесно сошелся с Суворовым и все свободное от поручений время тоже проводил в политотделе: они вдвоем выполняли фактически ту огромную политическую работу, которая проделана была за эту двухнедельную стоянку. Клычков только помогал им советом и участвовал на разных совещаниях,— время уходило у него на работу с другими дивизионными органами, к которым они с Чапаевым прикоснулись здесь впервые после Белебея.

Скоро начали поступать тревожные вести с Уральского фронта. Там казаки имели успех за успехом, только никак не могли ворваться в осажденный Уральск. Сведения поступали через газеты, через армейские сводки и телеграммы, через письма, особенно много через письма. Красноармейцы узнавали, что по их родным селениям проносятся дикие казацкие шайки, уничтожают хозяйства, убивают, замучивают тех, у кого сыновья, мужья и братья ушли в Красную Армию. Полки затревожились, заволновались, стали проситься на уральские степи, где они с удесятеренной силой клялись сражаться против зарвавшихся уральских казаков.

Чапаев с Федором об этом часто беседовали и видели, что переброска дивизии необходима и полезна, если только не воспрепятствуют этому какие-нибудь исключительные обстоятельства. Неоднократно говорили с центром, объясняли и Фрунзе, что за настроение создалось среди бойцов и как невыгодно это настроение для какого-нибудь другого фронта, кроме Уральского. А тут еще начали приезжать с тех краев отдельные беженцы или просто охотники-добровольцы, не хотевшие нигде служить, кроме «своей дивизии». Настроение обострялось. В центре обстановку учли: скоро получен был приказ о переброске в уральские степи. Одушевлению полков не было границ — собирались в поход словно на торжественную веселую прогулку. Чапаев тоже был доволен не меньше рядовых бойцов: он переносился в степи, в те степи, где воевал уже многие месяцы, где все ему знакомо, понятно и близко — не так, как здесь, среди татарских аулов. Быстрее быстрого были окончены сборы, и дивизия тронулась в путь.

XIV

ОСВОБОЖДЕНИЕ УРАЛЬСКА

Уральск долго был обложен казачьим кольцом — вплоть до подхода Чапаевской дивизии, его освободительницы. Героическая его защита войдет в историю гражданской войны блестящей страницей. Отрезанные от всего мира уральцы с честью выдержали казачью осаду, много раз и с высокой доблестью отражали налеты, сами делали вылазки, дергали врага со всех сторон. Измученный гарнизон, куда влились добровольческой волной уральские рабочие, никогда не роптал ни на усталость, ни на голод — не было и мысли о том, чтобы отдаться во власть ликующего врага. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Все знали, что половины здесь быть не может, и казачий плен означает фактически истязания, пытки, расстрелы... В самом городе вскрывались заговоры. Местные белогвардейцы через голову местного гарнизона ухитрялись связываться с казацкими частями, получали оттуда указания, сами доносили казацкому командо-

ванию о том, что творится в городе... Уж иссякли снаряды, патроны, подходило к концу продовольствие, и, может быть, скоро пришлось бы красным героям сражаться одними штыками, но не пугало и это,— бодро и уверенно, спокойно и мужественно было настроение осажденных. А когда долетели к ним вести, что на выручку идет Чапаевская дивизия,— пропали остатки сомнений, и еще более стойко, геройски отбивались последние атаки врага.

Крупных боев по пути к Уральску не было, хотя отдельные схватки не прекращались ни на день. Казаки, знавшие чапаевские полки еще по 1918 году, не выражали большой охоты сражаться с ними лицом к лицу и предпочитали отступать, пощипывая там, где это удавалось. По дороге к станице Соболевской казаки с двумя броневиками, пустив кавалерию с флангов, пошли на Иваново-Вознесенский полк. Они рассчитывали, что под огнем броневиков дрогнут и бросятся бежать красноармейцы,— тогда бы кавалерия нашла себе работу. Но вышло как-то очень просто и даже вовсе не эффектно: цепи лежали, как мертвые, посторонились, пропустили в тыл к себе броневики, строчили по несмелой кавалерии противника... А тем временем красная батарея все вернее, все ближе к смертоносным машинам укладывала снаряды. Чудовища воротились с тем, с чем и пришли. Тут даже и потерь вовсе не было — так спокойно и организованно, так просто был принят и ликвидирован этот неприятельский натиск.

А где-то неподалеку, там же у Соболевской, окружили казаки оторвавшуюся роту красных солдат, и те почти сплошь были уничтожены. Послали на помощь новую роту — пострадала и она. Послали третью — участь одинаковая. Лишь тогда догадались, что нельзя такою крошечной подмогой оказать действительную помощь, что это лишь напрасный перевод живых и технических сил. Послали полк, и он сделал, что требовалось, с поразительной быстротой. Когда узнал Чапаев, бушевал немало, ругался, грозил.

— Не командир ты — дурак еловый! Должен знать навсегда, что казак не воевать, а щипать только

умеет. Вот и щипал: роту за ротой, одну за другой. Эх ты, цапля! Всадить бы «што следовано»...

Несмотря на ежедневные непрерывные схватки с казарой, полки передвигались быстро: пешим порядком верст по пятьдесят в сутки. В станицах и селах встречали красных солдат как освободителей, выходили нередко навстречу жители, приветствовали, помогали как умели и чем могли, делились достатками...

Самому Чапаеву прием оказывали чрезвычайный,— он в полном смысле был тогда «героем дня».

— Хоть одно словечко скажи,— попросили его мужички,— будут еще казаки идти или ты, голубчик, прогнал их вовсе?

Чапаев усмешливо покручивал ус и отвечал, добродушный, веселый, довольный:

— Собирайтесь вместе с нами — тогда не придут, а бабам юбки будете нюхать — кто же вас охранять станет?

— А как же мы?

— Да так же вот, как и мы,— отвечал Чапаев, указывая на всех, что его окружали.

И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная Армия, как нужна она Советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы.

Чапаеву крепко засело в голову с десяток верных, бесспорных положений, которые он частью вычитал где-нибудь, а больше услышал в разговоре и запомнил. Например, о классовом составе нашей армии; о том, что казаки не случайно, а неизбежно являются пока в большинстве своем нашими врагами; о том, что голодному центру необходимо помогать немедленно из сытых окраин, и т. д. и т. д. Эти положения, такие убедительные и простые, он воспринял со всей силой ясных и чистых своих мыслей, воспринял раз навсегда и бесповоротно, гордился тем, что знает их и помнит, а где-нибудь в разговоре старался вклеить непременно, будь то к делу или совсем не к делу.

Мужикам-крестьянам эти положения он развивал с особенной охотой, а слушали они его со вниманием исключительным. Иной раз и галиматью станет насаживать всякую, но общий результат бывал всегда наилучший. Он, например, с большим трудом и совершенно неясно представлял себе крупное коллективное

хозяйство, систему работы в нем, взаимоотношения между членами и прочее, сбивался нередко на «дележку», «самостоятельность» и т. д. С этой стороны путем объяснить ничего не умел, но даже и от таких бесед получалось кое-что положительное. Он призывал к трудолюбию, протестовал против жадности и своекорыстия, против невежества и темноты, ратовал за новые, усовершенствованные способы труда в крестьянском хозяйстве. В одном селе он так красочно описывал голод фабричных рабочих, так жестоко укорял крестьян за то, что они, сытые, совсем забыли голодных своих братьев, что крестьяне тотчас же постановили открыть между собою сбор зерна для отправки в Москву. Выбрали и организатора дела — тут же на собрании — и поклялись Чапаеву, что непременно отправят в Москву все, что наберут, а его, Чапаева, уведомят об этом на позиции. Собрали ли они, отправили ли — неизвестно, а Чапаева оповестить им не удалось: уж недолго ему осталось жить,— скоро Чапаева не стало...

Так, встречаемые радостью, приближались к цели красные полки. Скоро они были под стенами Уральска. Последний бой — и казаки бежали, разорвав кольцо. Из Уральска, верст за десять, выехали навстречу руководители осажденного гарнизона, с ними эскадрон кавалерии, оркестр музыки. Под гром «Интернационала», под радостные крики, со слезами радости на глазах встречались, обнимали один другого, хотели сразу и многое друг другу рассказать, но не могли — так переполнены были чувствами, растроганы, потрясены.

— Федя! — окликнул возле автомобиля чей-то голос.

Клычков обернулся и увидел на высоком вороном коне Андреева. Они по-дружески расцеловались. В прекрасных светлых глазах Андреева теперь было что-то новое, чего Федор никогда прежде не замечал,— они смотрели с какой-то усиленной недоверчивостью, сурово и сухо. Можно было подумать, что он не рад даже встрече, но голос, все эти хорошие, теплые слова, что сразу были сказаны,— это все говорит про обратное. На лбу углубилась морщинка, а одна, поперечная, над самой переносицей, оставалась все время неразглаженной, будто щель.

Разговорились, и Федор узнал, какое деятельное участие принимал Андреев в борьбе с предательством и заговорами, в которых, как в тенетах, мог запутаться осажденный Уральск. Круто надо было расправляться с негодяями, решительно и беспощадно. Мучительная эта борьба и наложила печать на его юношеское лицо, тяжелую, глубокую, неизгладимую печать... (Скоро обстоятельства загнали Андреева в полк; там, будучи окружен, после отчаянной сечи он был в куски изрублен озверевшим врагом.)

В самом Уральске по улицам не пройти — они запружены рабочими и бойцами. Высыпало и все население.

«Слава герою! Слава Чапаеву! Да здравствуют полки Чапаевской дивизии! Да здравствует красный вождь — Чапаев!»

Эти радостные клики неслись по освобожденному Уральску, и трудно было Чапаеву с Федором пробиваться на автомобиле через тысячные толпы, которые заполнили улицы. На Чапаева смотрели с восхищением, кричали ему громкие приветствия, бросали шапки вверх, пели торжественные победные песни. Город раскрасился красными флагами, всюду расставили трибуны, открылись митинги. И когда выступал Чапаев, толпа неистовствовала, волновалась, как море в непогоду, не знала предела восторгам. Его первое слово рождало гробовую тишину, его последнее слово открывало простор новому безумному восторгу. Около автомобиля его схватывали десятки рабочих рук и начинали качать, а потом, когда отъезжал, все бежали за автомобилем, будто хотели догнать, еще и еще выразить ему свою благодарность и это свежее, искреннее восхищение.

Полкам почет был тоже немалый, уральцы постарались окружить их заботами и ласковым вниманием, чествовали на парадах, организовали массу всяческих увеселений, позаботились о питании, собрали и отдали им все, что могли.

Торжества длились несколько дней — торжества под разрывы шрапнели! Один снаряд угодил в театральную крышу в то время, как шел спектакль. Но подобные случаи нисколько не нарушали общего торжественного настроения. Казаки ушли за реку, их надо было немедленно гнать еще дальше, чтобы не дать

собраться с силами, чтобы снять угрозу с города, чтобы отдалить от них этот притягивающий магнит — Уральск. Чапаеву лучшей наградой были бы новые успехи на фронте, и потому, лишь миновали первые восторги встречи, он уже неизменно летал от полка к полку, следил за тем, как строились переправы.

Через реку налаживали мост. А за рекой были уже два красных полка, перебравшиеся на чем попало. Надо было спешить с работами, чтобы переправить артиллерию,— без нее полки чувствовали себя беспомощно, и от командиров стали тотчас поступать самые тревожные сведения. Чапаев не то на второй, не то на третий день по приезде в Уральск ранним утром отправился сам — проверить, что сделано за ночь, как вообще идет, продвигается работа.

С ним пошел и Федор. По зеленому пригорку копошились всюду красноармейцы — надо было перетаскивать к берегу огромные бревна... И вот на каждое налепится без толку человек сорок — толкаются, путаются, а дело нейдет... Взвалят бревно на передки от телеги, и тут, кажется, уж совсем бы легко, а кучей — опять толку не получается.

— Где начальство? — спрашивает Чапаев.

— А вон на мосту...

Подошли к мосту. Там на бревнышках сидел и мирно покуривал инженер, которому вверена была вся работа. Как только увидел он Чапаева — марш на середину, стоит и оглядывается как ни в чем не бывало, как будто и все время наблюдал тут работу, а не раскуривал беспечно на берегу. Чапаев в таких случаях груб и крут без меры. Он еще полон был тех слезных просьб, которые поступали из-за реки, он каждую минуту помнил — помнил и болел душою, что вот-вот полки за рекою погибнут... Дорога была каждая минута!.. Торопиться надо было сверх сил. Недаром он сам сюда согнал на работы такую массу красноармейцев, даже отдал половину своей комендантской команды. Он весь напрягся заботой об этом мосте, ждал чуть ли не ежечасно, что он готов,— и вдруг... вдруг застает полную неорганизованность, пустейшую суету одних, мирное покуривание других...

Как взлетел на мост, как подскочил к инженеру, словно разъяренный зверь, да с размаху, не говоря ни слова, изо всей силы так и ударил его по лицу.

Тот закачался на бревнах, едва не свалился в воду, весь побледнел, затрясся от страха, зная, что может быть застрелен теперь же... А Чапаев и действительно рванулся к кобуре, только Федор, ошеломленный этой неожиданностью, удержал его от расправы. Самой крепкой, отборной бранью бранил рассвирепевший Чапаев дрожащего инженера:

— Саботажник! Я знаю, что вам не жалко моих солдат... Вы всех их готовы загубить, сволочь окаянная!.. У-у-у... подлецы!.. Чтобы к обеду был готов мост! Понял? Если не будет готов, застрелю, как собаку!..

И сейчас же инженер забегал по берегу. Там, где висело на бревне по сорок человек, осталось по трое-четверо, остальные были переведены на другую работу... Красноармейцы заработали торопливо... Заходило ходом, закипело дело. И что же? Мост, который за двое суток подвинулся на какую-нибудь четвертую часть, *к обеду был готов.*

Чапаев умел заставлять работать, но меры у него были исключительные и жестокие. Времена были такие, что в иные моменты и всякие меры приходилось считать извинительными; прощали даже самый крепкий, самый ужасный из этих способов — «мордобой». Бывали такие случаи, когда командиру своих же бойцов приходилось колотить плеткой, и это *спасало всю часть.*

Было ли неизбежным то, что произошло на мосту? Ответ дать невозможно... Во всяком случае несомненно то, что постройка моста была делом исключительной срочности, что сам Чапаев и вызывал инженера к себе неоднократно и сам ходил, приказывал, торопил, ругался, грозил... Медлительность работ оставалась прежней.

Была ли она сознательным саботажем, была ли она случайностью — кто знает! Но в то утро чаша терпения переполнилась — неизбежное совершилось, а мост... к обеду был готов. Вот примеры суровой, неумолимой, железной логики войны!

Бывали у Чапаева и такие случаи, когда обнаруживалось в нем какое-то мрачное самодурство, необыкновенная наивность, граничащая с непониманием самых простых вещей.

В этот вот приезд в Уральск, может быть, через неделю или полторы, как-то днем вбегают к Федору ветеринарный врач с комиссаром. Оба дрожат, у врача на глазах слезы... Трясутся, торопятся — ничего не понять. (Ветеринарные комиссары вообще народ нежный.)

— В чем дело?

— Чапаев... ругает... кричит... застрелить...

— Кого ругает? Кого хотел застрелить?..

— Нас... нас обоих... Или в тюрьму, говорит... или расстреляю...

— За что же?

Федор усадил их, успокоил и выслушал странную, почти невероятную историю.

К Чапаеву из деревни приехал знакомый мужичок, известный «коновал», промышлявший ветеринарным ремеслом годов восемь — десять. Человек, видимо, тертый и безусловно в своем деле сведущий. И вот сегодня Чапаев вызывает дивизионного ветеринарного врача с комиссаром, усаживает их за стол. Тут же и мужичок. Чапаев «приказывает» врачу экзаменовать в своем присутствии «коновала» и выдать ему удостоверение о том, что он, мужичок, тоже, дескать, может быть «ветеринарным доктором». А чтобы бумага была крепче — пусть и комиссар подпишется... Экзаменовать строго, но чтобы саботажу никакого.

«Знаем,— говорит,— мы вас, сукиных детей,— ни одному мужику на доктора выйти не даете».

— Мы ему говорим, что так и так, мол, экзаменовать не можем и документа выдать не имеем права. А он как вскочит, как застучит кулаком по столу. «Молчать! — говорит.— Немедленно экзаменовать при мне же, а то в тюрьму, сволочей... Расстреляю!» Тогда вот комиссар на вас указал. «Пойдем,— говорит,— спросим, как самый экзамен производить, посоветуемся...» Услыхал про вас — ничего. Пять минут сроку дал... ждет... Как же мы теперь пойдем к нему?.. Застрелит ведь...

И оба они вопрошающе, умоляюще смотрели на Клычкова.

Он оставил их у себя, никуда ходить не разрешил — знал, что Чапаев явится сам. И действительно, через десять минут вбегает Чапаев — грозный, злой, с горящими глазами. Прямо к Федору.

— Ты чего?
— А ты чего? — усмехнулся тот его грозному тону.
— И ты с ними? — прогремел Чапаев.
— В чем? — опять усмехнулся Федор.
— Все вы сволочи!.. Интеллигенты... У меня сейчас же экзаменовать,— обратился он к дрожащей «ветеринарии»,— сейчас же марш на экзамен!..

Федор увидел, что дело принимает нешуточный оборот, и решил победить Чапаева своим обычным оружием — спокойствием.

Когда тот кричал и потрясал кулаками у Федора под носом, угрожая и ему то расстрелом, то избиением, Клычков урезонивал его доводами и старался показать, какую чушь он совершит, выдав подобное свидетельство. Но убеждения на этот раз действовали как-то особенно туго, и Клычкову пришлось пойти на «компромисс».

— Вот что,— посоветовал он Чапаеву,— этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе, спросим его — как быть? Что ответит, то и будем делать. Идет, что ли?

Имя Фрунзе всегда на Чапаева действовало охлаждающе. Притих он и на этот раз, перестал скандалить, согласился молча. Комиссара с врачом отпустили, телеграмму написали и подписали, но посылать Федор воздержался...

Через пять минут дружески пили чай, и тут в спокойной беседе Клычкову, наконец, удалось убедить Чапаева в необходимости сжечь и не казать никому телеграмму, чтобы не наделать смеху. Тот молчал — видно было, что соглашался... Телеграмму не послали...

Подобных курьезов у Чапаева было сколько угодно. Рассказывали, что в 1918 году он плеткой колотил одно довольно «высокопоставленное» лицо, другому отвечал «матом» по телеграфу, третьему накладывал на распоряжении или на ходатайстве такую «резолюцию», что только уши вянут, как прочитаешь. Самобытная фигура! Многого он еще не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кое-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать, и

теперь приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотразимо. Но суждено было иное...

XV

ФИНАЛ

Дивизия шла на Лбищенск. От Уральска до Лбищенска больше сотни верст. Степи и степи кругом. Здесь казаки — у себя «дома», и встречают они всюду поддержку, сочувствие, всяческую помощь. Красные полки встречаются враждебно. Где остается частичка населения по станицам, там слова хорошего не услышишь, не то что помощи, а в большинстве эти казацкие станицы к приходу красных частей уже начисто пусты, разве только где-где попадется забытая дряхлейшая старушонка. Отступавшие казаки перепугали население «головорезами-большевиками», и станицы подымали на повозках весь свой домашний скарб, оставляли только хлеб по амбарам, да и тот чаще жгли или с песком мешали, с грязью, превращали в гаденькую жижицу. Колодцы почти сплошь были отравлены, многие засыпаны до половины, не было оставлено ни одной бадьи. Все, что надо и можно было уродовать, уродовали, до изничтожения, до неузнаваемости. Необходимые стройки поломали, разрушили, сожгли. Получалось такое впечатление, будто казаки уходят невозвратно. Отступали они здесь, за Лбищенском, с непрерывным боем, дрались ожесточенно, сопротивлялись упорно, настойчиво и искусно...

Штаб Чапаевской дивизии стоял в Уральске, передовые же части ушли на несколько десятков верст. Не хватало снарядов, патронов, обмундирования, хлеба. Голодные красноармейцы топтали хлебные равнины, по станицам находили горы необмолоченного зерна, а сами оставались без пищи. Нужда была тогда ужасная. Даже заплесневелый, прогнивший хлеб иной раз не попадал на фронт неделями, и красноармейцы буквально голодали... Ах, какие это были трудные, непереносимые, суровые дни!

Почти ежедневно Чапаев с Федором заглядывали на автомобиле то в одну бригаду, то в другую. Тут дороги широкие, ровные, передвигаться можно очень

быстро. А когда поломается бывало машина (ох, как часто это бывало!), садились на коней и за сутки отмахивали верст по полтораста, уезжая на заре, и к ночи возвращались к Уральску. Чапаев отлично разбирался в степи и всегда точно определял местонахождение станиц, хуторов, дорог и дорожек. Но однажды и с ним случился грех — заплутался. Про это плутанье в степи у Федора в дневнике записано под заголовком «Ночные огни». Выпишем оттуда, но будем помнить, что здесь и в десятой доле не переданы своеобразие и оригинальность тех настроений, которыми жили в эту ночь в степи заблудившиеся товарищи с Чапаевым во главе. Многое из «ночного» он не сумел как следует описать, а потом и вообще оно, это «ночное», чрезвычайно трудно поддается выражению и передаче.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Надо было навестить Сизова. Сборы коротки: поседлали коней, взяли с собой человек двенадцать верных спутников и понеслись... Миновали Чаган, и возле дороги, загаженной лошадиными трупами,— прямо к озеру, через степь. Хлебами, высокими травами, цветными, пестрыми лугами добрались до озера-лужи. Выехали на косогор, слезли с коней, спустились к воде. Кони пили жадно, мы — еще жадней. Было уже часов пять-шесть. Верст на тридцать не встретили дальше ни одного хуторка. Кидались в каждую прогалину, искали воду, но не находили и мучились от нестерпимой жажды. В отдалении, по макушкам сыртов, показывались всадники — это, верно, казацкие наблюдатели и часовые. Каждую минуту здесь было можно ожидать из первой же лощины внезапного казацкого налета. Это у них любимый прием. Выждать где-нибудь в засаде, пропустить несколько шагов, а потом налететь ураганом, с гиканьем и свистом, блестя обнаженными шашками, потрясая пиками,— налететь и рубить, колоть внезапно, пока не успеешь стащить с плеча винтовку. Ехали и оглядывались, засматривали в каждую дыру, были наготове.

Дымчатые легкие облака вдруг помутнели, сгустились и совсем низко опустились черными тучами. Стало быстро смеркаться. Зашумел ветер, помчался по

полю и еще теснее согнал в груду мрачные, зловещие тучи.

Вот упали первые капли — еще, еще, еще... Разразился настоящий степной ливень — оглушительный, частый и сильный ударом... Все быстро промокли. Я как на грех был в одной тонюсенькой рубашонке и всех быстрее измок до самой печенки. Стало холодно, бросало в жар и озноб, дрожали руки, лязгали зубы. В стороне показались какие-то разрушенные мазанки — остатки прежнего селения. Около них, по видимости, копошились люди...

Подъехали и тут застали двух обозников. Несчастные себя чувствовали совершенно беспомощно. Их полк ушел далеко вперед, а у них вот тут что-то приключилось: лопнули колеса, да и лошаденка повалилась, не подымается никак. Решили оставить все у колодца, а сами — полк догонять, пока не угодили к казакам в лапы. Мы у них нашли четвертную, привязали ее на вожжах, на самом кончике камень прикрепили, спустили в колодец... Хоть и знали, что травят часто колодцы, да отгоняли страшную мысль,— ее перебарывала жажда. Долго ждали, пока в узкое горлышко натечет вода, а как напились — тут уж стало и совсем темнеть. Дорога была едва видна в траве, но общее направление знали точно и потому снялись уверенно. Отъехали версты четыре — порешили свернуть и ехать прямо степью, на огонь, что виднелся вдали. Оставалось, по нашим расчетам, верст пятнадцать, и часа через полтора думали быть на месте. Про огонь погадали, погадали и порешили, что это костер горит в нашей цепи, а может, и не в нашей, да это все равно: свою цепь не перепрыгнешь, упрешься... Едем. Молчим. Пока были сухи, перед дождем, песни все пели да кричали, да гикали, а тут притихли — ни песен, ни громких разговоров. Хоть насчет костра и рассуждали, будто «свою цепь не перескочишь», однако была и другая мысль у каждого:

«А ну, да как ошиблись и едем прямо в лапы казаре?»

И от этих мыслей становилось не по себе, лезла в голову всякая чертовщина. Напрасно вздувал Чапаев спичку за спичкой, напрасно водил пальцем по карте, а носом по компасу,— ничего из этой затеи не получалось, и ехали наугад, вслепую, сами не зная

куда. Огонек впереди то вспыхивал, то замирал, и когда замирал, мигая, становился бледен, тускл и бесконечно далек, приобретал какую-то странную таинственность, будто это не огонек, а наваждение, призрак, который шутит над нами в ночной темноте. Мы полагали первоначально, что всего тут каких-нибудь шесть — восемь верст, но уже проехали добрый десяток, а он, огонек, все так же, как и прежде, безмятежно мигал и то приближался, то пропадал где-то далеко-далеко... Стали гадать-предполагать: да костер ли это? Может быть, фонарь светит откуда-нибудь с высоченного далекого столба?.. Но почему же он как будто все отдаляется, уходит?..

Решили дальше не ехать. С дороги давно уже сбились в сторону. Кони шагали по высокой мокрой густой траве, задевали ее копытами, и она хрустела, рвалась, как сочные, звонкие нити. Справа зажегся другой огонек — и тоже как будто совсем недалеко, но, проехав с версту, убедились, что и тут как бы не все обстоит ладно... Вон еще один, другой, третий... В черной, пустой и могильно-тихой степи становилось жутко... Дождя то нет, то снова застучит по измокшей жалкой одежонке... Бр-р-р!.. Как холодно!.. И как это скверно, когда холодные струи текут за шею, за спину, на грудь, словно змейки проползают по телу... Теперь бы в избу, к теплой печке, обогреться немножко... А впереди целая ночь, и все такая же холодная, такая же дождливая, мокрая, неприютная. Настроение понизилось до гнусности. Ехали и ехали — но куда? Временами казалось, что повернули обратно, проезжаем знакомые места, кружимся около одного, словно заколдованного места... Как только шорох в стороне — быстро повертываем головы и пристально-пристально всматриваемся: не разъезд ли казацкий? Может быть, и вот сейчас... раз... два... три... Черт знает, что за силу имеет над человеком ночная тьма! Она даже самых смелых, самых храбрых делает беспомощными, мнительными, неуверенно-робкими... Вон в стороне как будто чернеет что-то длинное, непрерывно неуклюжее... Выслали двоих. Они с разных сторон тихой рысью затрусили в ту сторону и, воротившись, сообщили, что это скирды необмолоченного хлеба... Было решено остановиться и здесь, под скирдами, ждать рассвета... Коней не расседлывали,

даже и не спутывали. Несколько человек, чередуясь через каждые два часа, должны были дежурить всю ночь.

Винтовки — заряженные, готовые — были у каждого под рукой на случай внезапного налета. Пристроились к снопам, выкопали в соломе небольшие ложбинки, двинули себя в середину... Дождь не переставал ни на минуту... Я было уселся довольно ладно и соломы на землю набросал немало, а через несколько минут уж почувствовал себя в луже, и было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому, и вдруг... запел — тихо, спокойно и весело запел свою любимую: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала — не ослышался ли? Может быть, мычит что-нибудь невнятное, а мне чудится песня... Но Чапаев действительно пел...

— Василий Иваныч, да что ты!

— А чего? — отозвался он глухо.

— Услышат. Ну, как разъезд?

— Не услышат, я тихонько... А то, брат, холодно больно да противно тут в воде.

И от этого хорошего, простого ответа мне самому сделалось как будто легче.

— А вот, Федя, вспоминаю,— говорит Чапаев.— Рассказывали мне, что в пустыне двое заплутались... Ну, как мы здесь с тобой — только их-то было двое всего-навсего... Бросили их там али сами как отстали, только сидят на песочке, а идти им и некуда... Нам хоть ночью... Ну, ладно... Солнце взойдет — отыщем, а они куда? И ночь и день — все песок кругом: и туда песок и сюда песок, больше нет ничего... Воды у них по фляжке висело — не пьют. Помирать-то не хочется, а знают — как выпьют, все, так и смерть пришла... Только водой и жили. Три дня все вместе ходили, а найти ничего не могут, не видят конца... На четвертый-то день упал один. Я, говорит, помираю, а ты рядом ложись: ходили вместе — вместе и ляжем... Упал на песок, да и конец... Тот, што один-то остался, посидел над дружком, а у того, глядит, и зубы оскалились, глаза оловянные открылись. Страшно ему стало одному в пустыне... Ну-ка... уйдет он от этого места, а и жалко станет. Походит-походит, да и опять

сюда оглядывается, штобы не потерять — боится... Хоть и мертвый тот, а все будто вдвоем... Так вот ты смотри, што вышло. На него верблюды пришли — там караван оказался... так и жив человек... а дружка в песке схоронил... Это вот — да! Тут никуда не уйдешь, коли во все стороны песок один тыщами верст рассыпается...

— Што тут? — обернулся он быстро в сторону и вскочил.

Федор — за ним, вскочил и Петька. Схватили винтовки, застыли в ожидании. Через несколько секунд выступила из тьмы фигура своего вестового; за ним, почвакивая и посапывая, приблизились кони... Опять прилегли в колючие, жесткие снопы...

— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было еще хуже моего. Да надумаю и вижу, што терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть? Я вон слышал еще, будто на море корабль разбило, а матрос обнялся с бревном да по волнам-то и гулял двое суток, пока его не подобрали... Тут вот позадумаешься, каково-то ему было, коли ноги в воде, да и сам, того гляди, туда же кувырнешься... А уцелел...

За разговорами сгрудились потеснее. Петька слушал с большим вниманием. Когда ему надо было откашляться, закрывал ладонью рот, тыкался еще глубже в солому и там хрюкал как-то неопределенно. В темноте его блестящие черные глаза светились, как у кошки. Лишь только Чапаев кончил, Петька быстро взглянул на него и весь передернулся,— видно было, что ему самому смертельно охота что-то сказать.

— Я вот... разрешите? — обратился он к Чапаеву.

Но тот ничего не ответил и молча поглаживал усы.

— Я хотя бы,— продолжал Петька,— на Дону, в восемнадцатом... Нас казаки в сарай человек двадцать заперли. Утром, говорят, разберемся, кто тут у вас большевик. А не скажете, так и все за большевиков уйдете. Капут, одним словом. Знаем, что расстреляют, сволочи... Мы это доску одну полегоньку — чик да чик, чик да чик,— она и отползла... Я самый у них маленький. Полезай, говорят, ты первый, а если попадешь — на нас не говори... сам, мол, один полез...

Часового убери камнем сразу-то, што ли, увидишь, как... Одним словом, полез я. А ночь вот — что сегодняшняя: дождик идет, а уж тьма-то, тьма-то... Я эдак тихонько ногу просунул — ничего... Я принагнулся... плечом... руку с головой выпустил, вторую ногу выставил... Гляжу — на земле, вышел у самого сарая, а за углом — как есть, часовой стоит... Лег на брюхо, думаю: проползти надо сначала, чтоб его разглядеть — сидит человек или ходит... Вот по грязи, будто червяк, плыву, а ребята высунули головы, смотрят... Он на полене сидит и голову наклонил,— спит, может, думаю... Взял тут кирпич — из сарая дали, как дополз к нему, да как хрясну его, да по виску его. Клюкнул, сердешный, в землю и крикнуть не знал што... А я его еще раза четыре стукнул — забрызгался кровью, испачкался... Вышли мы всей артелью, сарай-то с краю был... Мы тут ползком, все ползком, так и ушли непримеченные... Знали, где от своих отбились, нашли... Э-эх, тоже страху было!..

— Страх страхом, а жив,— заметил как-то неопределенно Чапаев.

— Жив! — подтвердил обрадованный Петька, польщенный вниманием.— И все живы — так артелью и доползли... Право слово!..

— Верю,— усмехнулся Чапаев.

Петька снова прикрыл рукою рот и два-три раза хрюкнул в солому...

— Вон спят,— показал Чапаеву на лежащих кругом спутников.— А я не могу и никогда не засну, если што такое...

А все-таки усталость свое взяла. Когда перестали говорить и притулились снова в глубину скирды, задремали чуткой, нервной дремотой, то и дело просыпаясь от малейшего шороха. Так продремали до рассвета, а лишь забрезжило первой, белесоватой мутью, поднялись усталые, промокшие, дрожащие от холода, измученные бессонной ночью. Согреться решили на быстрой езде. И в самом деле, как только Чапаев пораспутался с картою и выбрал направление, поскакали на ближний сырт и тут, уже через несколько минут, почувствовали себя бодрее. А когда стало подыматься солнце,— вконец повеселели. С сырта заметили обоз и хотели направиться к нему, но обозники, увидев группу конных, ударились вскачь наутек.

Петька полетел за ними карьером, хотя бы только узнать — свои или нет. Остальные ехали ровной рысью... Обоз оказался свой — как раз из той бригады, в которую держали путь... Через полчаса подъезжали к избушке, где поселился Сизов со своим полевым летучим штабом... Местечко называлось Усихой!

. . . .

. . . . Еще не было шести часов, а Сизова с комиссаром застали на ногах. Взобравшись на плоскую крышу мазанки-избушки, они водили бинокли из стороны в сторону, внимательно всматривались, о чем-то совещались между собой. Когда заметили подъезжавших, спустились вниз и ввели их в грязную полутемную лачужку. Вид у них был самый ужасный: бледно-зеленые, трупного цвета лица, лихорадочные глаза, крайняя степень измученности и печать какой-то безысходности во взорах. Оба были без гимнастерок, в нижних рубахах: духота и жарища в халупе не позволяли работать одетыми. Сизов был совершенно бос. По грязным, заплесневелым ногам можно было судить, что последний раз он мылся в бане, верно, несколько месяцев назад. От бессонных ночей и крайнего напряжения у него дрожали руки, а когда начинал торопиться в разговоре, голос прерывался, он начинал захлебываться словами, а кадык дергался нервно, то втягиваясь, то выскакивая стремительно; пересохшие бледные губы изрезаны были трещинами. Сизов уж ни одного слова не мог сказать спокойно: он выкрикивал высоким протестующим фальцетом, махал руками в такт своей речи, бил кулаками в грудь, доказывая то, что ясно было и без доказательств,— доказывал, что без патронов и снарядов воевать нельзя. Место было тут равнинное, видно с крыши далеко, и Сизов в бинокль отлично рассматривал расположение казары.

— Так будут ли патроны, товарищ Чапаев? — спросил он надрывающимся голосом и смотрел Чапаеву в лицо, ловил и взгляд и первое слово.

— Подвезут... приказано...

— Што же — приказано... Я не могу дальше!..

— Так подожди... Ну, откуда я тебе возьму? Не с собой ведь вожу,— урезонивал Чапаев.— Говорю везут, скоро быть должны...

— Знаете,— переводил Сизов с одного на другого свой горящий, полусумасшедший взгляд,— мы с комиссаром весь день с этой крыши не слезаем. Тут больше неоткуда... А по четыре атаки в день, подлецы, делают... По четыре атаки! Мы все видим: как и готовятся, как и лава несется — все видно отсюда. А как следует — ничего нельзя: патронов нет... Вчера приказал через третьего... Потом — через пятого... Теперь через десяток стреляют... На десять шагов допускаем... Ручными бомбами только и спасаемся... Нет возможности никакой. Ведь че-ты-ре раза в день! А место видели сами... Простыня.

— Приказ на завтра получили? — спросил Чапаев и оглянулся.

— Получил... Тут все свои,— успокоил Сизов.— Да что же без патронов — я не смогу этого ничего... голыми руками нельзя...

— Ну, знаю,— начинал сердиться и Чапаев,— знаю, чего говоришь зря? Тебя сразу облегчат. Шмарин начинает... Силы на него будут отвлечены, а ты...

— Ясно,— согласился Сизов.— Только вот одно: патроны...

— А снарядов как? — спросил Чапаев.

— Да тоже. Ну, тут кое-как еще ладно. Хлеба... Хлеба нисколько... Вот и вас нечем угостить — ни корки нет, ей-богу... Только воду одну — вон, в чайнике...

— Вместе и хлеб грузовики везут,— пояснил Чапаев.— Мы сейчас же к Шмарину, ждать некогда... Ну, прощай...

С тяжелым чувством уезжали от Сизова. Ехать было верст пятнадцать. Голодны кони, голодны сами, но знали, что Шмарину еще с вечера должно было прийти продовольствие, поэтому, как только приехали, сейчас же организовали завтрак. Шмарин парился над приказом дивизии,— ему с бригадой назавтра утром открывать действия. Задача выпала очень серьезная, обдумать надо чрезвычайно тонко, а советчиков у Шмарина раз-два, да и обчелся. Призывал он начальника штаба, но ведь что же и от него узнаешь особенного? Невелика фигура. Начальник штаба у Шмарина, кажется, в писарях до того сидел, а тут некого было поставить — ну, и ткнули. Сидит, смекает немного, парень неглупый оказался, но по штаб-

ной премудрости — ей-же-ей ничего не слыхивал и не знает. Потолковали за чаем, узнали подробно, что тут за обстановка, какое где жилье, далеко ли, сколько сил у неприятеля и насколько можно верить полученным сведениям, слышно ли, что сам он, неприятель, готовится к чему-нибудь теперь же. Все это выяснено было еще в порядке частной беседы, а лишь только подкрепились, вплотную сели за карту, и Чапаев подробнейшим образом стал объяснять Шмарину, как надо проводить операцию от первого момента до последнего. Можно было в восторг прийти от чапаевской предусмотрительности и точности выкладок, которые он тут делал. Способность учитывать малейшие обстоятельства — его особенная, характерная черта.

Если вот так начнешь — вот што получится, а у Сизова вот што будет к тому времени... Потапов за рекой будет вот в каком положении...

Учитывал быстроту движений измученных, почти разутых и нездоровых бойцов, количество и быстроту подвоза патронов, снарядов, хлеба; отсутствие воды, встречи с населением или полный его уход; серьезность и объем проделанной разведывательной работы, готовность казаков к встрече; усилия, на которые способна бригада Сизова; расхождения в стороны дорог и быстроту движения по бездорожным лугам...

Все, решительно все прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу три-четыре предположения и каждое обосновывал суммою наличных, сопутствующих и предшествующих ему фактов и обстоятельств... Из ряда предположительных оборотов дела выбирался самый вероятный, и на нем сосредоточивалось внимание, а про остальные советовал только не забывать и помнить, когда, что и как надо делать.

Совещание длилось часа два. Когда было окончено, собрались уж было ехать обратно в штаб дивизии, но тут пришли из бригадного резервного полка, который стоял от позиции верстах в двух, и пригласили... на спектакль. Что-то необычное. Назавтра такое серьезное дело, тут рядом окопы противника,— и вдруг спектакль?!

— Это всегда так,— улыбнулся Шмарин.— Как только приедут, ребята уж поджидают, и тут хоть бой начинай, а ставь... Смерть охотники!..

— Так ведь тут же так близко...

— А чего им... Было так, что — если все спокойно — из окопов половина уползала. Насмотрятся одно действие — обратно, а за ними другие... Так и пересмотрят до одного...

— Тут и ставили рядом?

— Рядом... Анна Никитична бедовая, она с ними все сама ездит... Заслышат еще где красноармейцы, что она с театром спешит,— уж ждут-ждут ее, ждут-ждут... Подготовлять все сами начнут... Иной раз только она сюда, а тут и сцена, глядишь, давно сколочена... Заборов-то в станицах поломали — ай-ай!

Чапаев с Федором знали, что за последние недели Анна Никитична создала подвижный театр, но никак не предполагали, что она так близко к окопам ставит спектакли, а она сама про это до поры до времени молчала: в бригаде, говорит, ставлю... Ну, и не допытывались. А когда в бригаду поедут — только-только про военные дела успеют поговорить. Теперь, по разговорам, оказалось, что как-то, двигаясь по степи, она со своей кочующей труппой угодила как раз под обстрел. Бригада шла в наступление, и полк, возле которого в это время очутилась труппа, уже снялся с места, пошел вперед не долго думая, актеры оставили на возу по вознице, а сами взяли винтовки и пошли рядовыми... Анна Никитична всегда была верхом. Она подъехала к комиссару полка, через десять минут вместе с ним и еще пятком бойцов ускакала в разведку... Удивительные были времена! Артист, организатор, политический работник, пропагандист и агитатор, комиссар — все это сливалось прежде всего в одно понятие: боец. Дивизионная труппа и была за то особенно любима красноармейцами, что они чувствовали тут своего же брата бойца, который всегда с ними, а по надобности и вместе идет в наступление.

Ждали красноармейцы эту свою труппу всегда с величайшим нетерпением и обычно знали каждый момент и самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет, сюда приедет или в другую бригаду. И если знали, что труппа едет к ним,— настроение повышалось, из уст в уста передавалось об этом, как о величайшей радости. Начинались приготовления. А когда труппа прибывала на место, очень часто даже из скудных своих средств устраивали ей дружеское угощение.

Подмостки обычно сколачивались заранее, и если снимались с места, уходили в открытую степь, знали, что тесу там найти невозможно, а труппа вот-вот подойдет,— всю эту гору досок так и волокли за собой...

Какая же это была радость, какое великое торжество, когда устанавливали сцену! Любопытных было такое множество, что их по-приятельски приходилось разгонять, чтобы не толкались, не мешали расставлять и укреплять декорации, готовить костюмы, гримироваться. Бывало так, что какой-нибудь особенно дотошный красноармеец стоит-стоит у раскрытого сундука с костюмами, любуется там на разные фраки да сюртуки, а потом, когда отвернутся, выдернет разукрашенный цветной камзол, напялит с треском да с веселой, расплывшейся от удовольствия физией и крикнет:

— Ребята, смотри на короля!

Ну, конечно, «короля» сейчас же берут под микитки, сдирают с него королевскую одежду, иной раз в шею двинут раза два-три, и он — куда-нибудь к кулисам, посмотреть, нельзя ли там чего-нибудь на себя напялить, похохотать...

Это время приготовления к спектаклю едва ли не большим было удовольствием, чем самые спектакли... Артисты начинают одеваться... Но куда спрятаться от зрителя, чтобы поразить его все-таки прелестью неожиданности?.. Тычутся-тычутся — ничего не выходит. Тогда из двух зол выбирают меньшее: или все тут заранее насмотрятся один за другим, или уж небольшую компанию отрядить, им показаться, а зато другим — ни-ни... Так и делают. Выберут человек сорок — пятьдесят, тут одеваются, тут примеряют парики, гримируются... Только ахнешь, как вспомнишь, сколько потрачено угля на этот самый грим! Можно себе представить, что за богатства театральные были в 1919 году, коли черную сухую корку считали богатством! До гримов ли было дорогих! Если и попадет бывало что ценное из этой области, так «зря» не расходуют, а в какие-нибудь «высокоторжественные», особенные случаи,— положим, победа большая, обмундирование привезли, паек прибавили, да мало ли в полку своих особенных, позиционных радостей!

Играли актеры не сильно знаменито, а все-таки впечатление производили немалое. Надо честь отдать

Анне Никитичне: из небольшого, скудного репертуара она умела выбирать по тем временам самое лучшее. Играла сама, понимала бойца, знала, что ему нужна была простая, понятная, сильная, своевременная вещь. Такие находились. Несколько из них даже было написано своими же дивизионными писателями, иные — не бесталанно. Многие (большинство) — неуклюже, нелитературно, зато имели какое-то необъяснимое качество самородности, силы, верного уклона, верных мыслей и сильных чувств при полном иной раз неумении эти мысли и чувства воплотить в художественную форму. Репертуар слабоватый, но по тем временам не из бедных; в других местах было хуже, слабее, а то и просто вредными пьесами подкармливали.

Потребовалась исключительная любовь Анны Никитичны к делу, чтобы совсем «из ничего» создать этот подвижный, столь любимый бойцами театр — и в какой ведь обстановке! Это не диво, что при других, при благоприятных условиях они рождались, а тут вот, когда нет ничего под руками, когда части в непрерывных и тяжких боях,— тут заслуга действительно немалая.

Бывало, на двух, на трех верблюдах и тянутся по степи. Сами пешком, имущество на горбах верблюжьих прилажено. Где можно, лошадей доставали; тогда все по телегам разместятся и от полка к полку, от полка к полку, а там уж давным-давно поджидают многоценных гостей...

Когда Чапаев и все присутствующие получили приглашение «пожаловать» на спектакль, оказалось, что все уже было готово, сейчас же могут «занавеску подымать», как доложил кто-то из приехавших красноармейцев. Решили съездить — отчего же нет? Тут совсем недалеко. Тем более, что у Шмарина лошадей пришлось все равно обменивать на свежих. Когда подъезжали к массе зрителей, тем уж было известно, кого поджидали. Все оглянулись. Из уст в уста полетело торопливо: «Чапаев... Чапаев... Чапаев...»

Картина замечательная! На земле, у самой сцены, первые ряды зрителей были положены на животы; за ними другая группа сидела нормально; за сидевшими, сзади них, третья группа стояла на коленях, будто на молитве в страстной четверг; за этими — и таких было большинство — стояли во весь рост. Сзади них —

десятка два телег, и в телегах сидели опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу кавалеристы — на конях, во всеоружии... Так разместились несколько сот человек и на совершенно ровной поляне, и все видели, все слышали...

Чапаева, Федора, Петьку пропустили вперед, поместили «во втором ярусе» — сидеть на земле.

Ставили какую-то небольшую трехактную пьеску, написанную здесь же, в дивизии. Содержание было чрезвычайно серьезное, и написана она была неплохо. Показывалось, как красные полки проходили через казацкие станицы и как казачки встречались с нашими женщинами-красноармейками, как их чурались и проклинали сначала, а потом начинали понимать... Вот входит полк. Красноармейки, в большинстве коммунистки, одеты по-мужски: рубаха, штаны, сапоги, штиблеты, лапти, коммунарки на голове или задранный картузишко, и волосы стрижены то наголо, то под гребенку. Встречают их бабы-казачки, отворачиваются, бранятся, плюются и иные глумятся или потешаются в разговоре:

— Што ты, дура, штаны напялила? Што ты с ними делать будешь?

— Эй, солдат,— окликает казачка красноармейку,— зачем тебе прореха нужна?

— Через вас только, проклятых,— бранятся в другом месте казачки по адресу красноармеек,— через вас все пропадет у нас... Разорили весь край,— окаянные, набрали вас тут б...ей — девать-то некуда... Чего терять вам, прощелыгам? Известно, нечего, ну и шататься... Чужой хлеб кто жрать не будет?

— Да нет же,— пытаются возражать коммунистки-женщины.— Мы не из тех, как вы думаете, не из тех: мы — работницы... Так же, как и вы, работаем, только по фабрикам, а не хозяйством своим...

— Сволочи вы — вот кто!

— Зачем — сволочи? У нас тоже семьи дома поостававались... дети...

— Ваши дети — знаем! — галдели бабы.— Знаем, што за дети... подзаборники.

Коммунистки-женщины доказывают казачкам, что они не «шлюхи» какие-нибудь, а честные работницы, которых теперь обстоятельства вынудили оставить работу и семью — все оставить и пойти на фронт.

— Што здесь, што там,— кричали им в ответ казачки,— где хочешь — одинаково брататься вам, беспутные... Кабы не были такими, не пошли бы сюда... не пошли бы...

— А знаете ли вы, бабы, зачем мы идем?

— Чего знать, знаем,— отпихиваются те.

— Да и выходит, что не знаете.

— А мы и знать не хотим,— отворачиваются бабы,— што ни скажи — одно вранье у вас.

— Да это что же за ответ — прямо говорите! — атаковали их красноармейки.— Прямо говори: знаешь али нет? А не знаешь — скажем...

— Скажем, скажем...— замычали бабы,— нечего тут говорить — одно похабство.

— Да не похабство — зачем? Мы просто другое расскажем. Эх, вы!.. Хоть, к примеру, скажем так: мы — бабы и вы — бабы. Так ли?

— Так, да не больно так...

Говорившая коммунистка как будто озадачена.

— Чего?.. Так вы же — бабы?

— Ну, бабы...

— И белье стираете свое, так ли?

— А што тебе, кто у нас стирает? Воровать, што ли, хочешь, распознаешь?

— Поди, дети есть,— продолжается непрерывная и умная осада,— нянчить их надо.

— А то — без детей... у кого их нет? Это ваши по оврагам-то разбросаны да у заборов...

Но никакими оскорблениями не оскорбишь, не собьешь с толку настойчивых проповедниц.

— С коровой путаешься... У печки... Мало ли...

— Ты дело говори, коли берешься,— обрывает казачка дотошную красноармейку.— Про это я сама знаю лучше тебя.

— Вот и все делай тут,— последовал ответ.— Поняли? Работаешь ты, баба, много, а свет видишь? Свет видишь али нет, спрашиваю? Хорошо тебе, бабе, весело живется? А?

— Та... веселья какая,— уж послабее сопротивляется баба, к которой обращена речь.

А атака все настойчивей и настойчивей:

— Да и казак колотит — чего молчать? Бьет мужик-то,— верно, что ли?

— А поди ты, сатана! — замахала руками казачка.— А твое какое дело?

— Кавалер он, знать, твой-то,— усмехнулась агитаторша.— Неужто уж так и не колотил ни разочку? Ври, тетенька, другому, а я сама это дело знаю. Был у меня и свой, покойничек: такой подлец жил — ни дна ему, ни покрышки! Пьяный дрался да грыз, как пес цепной... Али и его теперь жалеть стану? Да мне одной теперь свет рогожей: хочу — встану, хочу — лягу, одна-то...

— Молотишь, девка, пустое,— уж совсем ослабленно протестует казачка.

— А и так — пусть не били тебя,— шла та на уступки,— пусть не били... а жизни хорошей все-таки не узнаешь... И никогда не узнаешь, потому что кто тебе ее даст, жизнь-то эту? Никто. Сама! Сама могла бы, а ты вон пень какой: и с места не стронешь, да ведь и слова-то хорошего слушать не хочешь. Ну, кто тебя выведет после этого?

— Чего выводить-то?..— недоумевает казачка.— Вывели уж, ладно.— И тут загалдели все.

— Надо! — крепко убеждает красноармейка.— На дорогу надо выходить — тут только и жизнь настоящая начинается... Не знаете вы этого, бабы!

— Начинается...— роптали казачки.— Все у вас там «начинается», кончать-то вот не можете.

— Не удается, бабка, а хотелось бы... Ой, как бы хотелось поскорее-то,— говорила горячо коммунистка с неподдельным сожалением.— Мы и штаны затем надели, чтобы окончить скорее, а вы не поняли вот... смеетесь...

— Смешно — и смеемся,— ответили в толпе, но смеху давно уже не было.

— Сопротивление, слово за словом, все тише, все слабее, все беспомощнее.

— Понимали бы лучше, чем смеяться-то,— урезонивали баб,— от смеху умен не будешь...

— Ишь, умны больно сами...

В этом роде длится беседа — оживленно, естественно, легко... Игра идет с большим подъемом... Очень хорошо передается, как казачки начинают поддаваться неотразимому влиянию простых, ясных, убедительных речей... Беседы эти устраиваются не раз, не два. Красноармейки-женщины, пока стоят с полком

в станице, помогают казачкам, у которых остановились, нянчиться с ребятами, за скотиной ходить, по хозяйству...

И вот, когда уже полк снимается,— выходит, что картина переменилась. Бабы-казачки напекли своим «учительницам» пирогов, колобков сдобных, вышли их провожать с поклонами, с поцелуями, со слезами, с благодарными словами — новыми, хорошими словами...

Отныне в станице два лагеря, и те женщины-казачки, что слушали тогда коммунисток-женщин,— эти все считаются «большевичками» и подвергаются жестокому гонению.

Полк ушел. Станица оставлена наедине сама с собою. Многие казачки снова ослабевают, остаются вполне сознательными только единицы, но у всех — у всех при воспоминаниях о «красных солдатках» загораются радостно глаза, тепло становится на сердце, верится тогда, что не вся жизнь у них пройдет в коровьем стойле, что придет какая-то другая жизнь, непременно придет, но не знают они — когда и кто ее за собою приведет.

. . . .

Пьеса окончена. Опущен занавес. Было приказано не кричать и аплодисментами не заниматься. Но безудержно восторженно хлопали бойцы любимой труппе...

Что-то подумали на позиции казаки, когда услышали этот гвалт? Чувствовали ли они, что тут, на сцене, выводят ихних жен и обращают их в «коммунистическую веру»?

По окончании спектакля — сюрприз. При занятии станицы, оказывается, нашли в одной халупе стихотворение, посвященное Чапаеву и написанное белогвардейским поэтом П. Астровым, чья фамилия и значилась под последней строкой. Это стихотворение было теперь здесь прочитано с эстрады — тщательно переписанное. Его потом преподнесли Чапаеву «на память».

Вот оно:

Из-за волжских гор зеленых
На яицкий городок
Большевистские громады
Потянулись на восток.

Много есть у них снарядов,
Много пушек и мортир,
И ведет их, подбоченясь,
Сам Чапаев-командир.

Хочет он Яик мятежный
Покорить, забрать в полон,
И горят, дымятся села,
И народный льется стон...

Почитай, во всех поселках
Казни, пьянство и грабеж...
И гуторят меж собою
Старики и молодежь:

«Будет горе, будет лихо
На родимой стороне.
Эй, казак, берись за пику
По веселой старине!..

Большевистских комиссаров
Надо гнать ко всем чертям —
Нам без них жилось свободней,
Старорусским казакам.

Гей, вы, соколы степные,
Подымайтесь, стар и млад.
Со стены сними винтовку,
Отточи острей булат».

Вмиг станицы зашумели,
И на красные полки
Дружно сомкнутою лавой
Полетели казаки.

А вослед им улыбался
Старый дедушка Яик,
И бежал назад с позором
Полоумный большевик.

Произошло чтение это неожиданно. Кто его подстроил — так и не узнали, да и не дознавались, впрочем, особенно. Во всяком случае можно было бы не читать, а просто передать Чапаеву переписанный экземпляр. Но уж когда начали читать — останавливать на половине не хотели, дослушали. Потом — у всех недоуменные, вытянутые лица.

Федор подтолкнул Чапаева:

— Поди выступи, расскажи, как тебя «били» казаки...

Предложение попало в нужное место: Чапаев задет был за живое. Он вышел на подмостки и произнес

короткую, но ярко образную речь, насыщенную эпизодами боевой жизни... Кончил. Провожали восторженно... У всех настроение было торжественное. А наутро многих-многих из этих «зрителей» то на лугах оставили изуродованными, растоптанными трупами, то калеками развозили к станицам и на Уральск...

Поездка эта была последняя, которую Федор с Чапаевым совершали вместе. Уже через несколько дней Федора отозвали на другую, более ответственную работу, а вместо него прислали комиссаром Батурина, с которым Клычков когда-то знаком был еще в Москве.

Куда уехал Федор и что там делал — не станем рассказывать, эта история совершенно особенная. Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали от него Федора,— ничто не помогало, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что за друга лишался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал постоянно от чужих нападок, относился разумно и спокойно к вспышкам чапаевским и брани — часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу комиссаров, всякого «политического начальства», не кляузничал об этом в ревсовет, не обижался сам, а понимал, что эти вспышки вспышками и останутся. Было и у Федора время, когда он готов был ставить Чапаева на одну полку с Григорьевым и «батькой Махно», а потом разуверился, понял свою ошибку, понял, что мнение это скроил слишком поспешно, в раздражении, бессознательно... Чапаев никогда не мог изменить Советской власти, но поведение его, горячечная брань по щекотливым вопросам — все это человека мало знавшего могло навести на сомнения. Помнится, еще где-то под Уфой приезжало из Москвы «высокое лицо», и это лицо, услышав только раз Чапаева и наслушавшись о нем разной дребедени, сообщило Федору примерно следующее:

«...Если он только немножко «того» — мы его сразу по ногам и рукам скрутим!..»

Федор тогда возмутился до крайности и даже наговорил «лицу» всяких дерзостей, за что и заслужил его немилость. Но что же было удивительного? Сомнения того «лица» были вполне законными, ибо Чапаев

при нем держался на первый день так же, как и при Федоре на двести первый. Во всяком случае, пробыв с глазу на глаз неотлучно с Чапаевым целые полгода, Федор уносил о нем самое лучшее воспоминание. Ему, как и Чапаеву, тяжела была эта разлука. Не знал того, что разлука эта спасла от неминуемой смерти, что *за него и на его месте* через две недели погибнет заместивший его Павел Степаныч Батурин...

Вот что заставило только Федора потом задумываться и сомневаться: где *героичность* Чапаева, где его *подвиги,* существуют ли они вообще, существуют ли сами герои? Они были так долго неразлучны — изо дня в день, из часа в час... Времена были самые жаркие, походные, сплошь боевые... Каждый шаг Чапаева Федор знал, видел, понимал, даже скрытые пружинки, закулисные соображения — и те, в большинстве, знал и видел отлично. Вот он перебирает в памяти день за днем — от встречи в Александровом-Гаю до последнего дня здесь, в Уральске. Сломихинский бой, колоссальная работоспособность, быстрота передвижения, быстрота сообразительности, быстрота в работе... На Уфу... Пилюгинский бой. Уфимский... Опять сюда... Где же *конкретно* те факты, которые надо считать героическими? А молва о Чапаеве широкая, и молва эта, верно, более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе — о, это великий героизм! Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва. По молве этой чудится, будто «сам Чапаев» непременно носился по фронту с обнаженной занесенной шашкой, сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которою имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла! Во время хотя бы

несколько иное и с иными людьми — не знали бы героя народного, Василия Иваныча Чапаева! Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже *слышали* от других, верили этому слышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и *своим* вымыслом, несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы,— и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта...

Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве. Имя его войдет в историю гражданской войны блестящею звездой. И есть за что: таких, как он, было немного.

Мы подошли к драме — она и закончит наши записки.

Мы знаем, что просьбы об оставлении Федора ни к чему не привели. Его отзывали категорически и даже строго, когда он сам намекнул, что хотел бы остаться работать с Чапаевым. Оглянувшись на эти минувшие шесть месяцев, и сам Клычков теперь не узнавал себя — так он вырос, так окреп духовно, так закалился в испытаниях, так просто и уверенно стал подходить к разрешению всевозможных вопросов, которые ему до фронта казались безмерно трудными.

Только теперь почувствовал он могучее влияние боевой страды, воспитательное значение фронтовой обстановки...

Приехал Батурин, остановился у Федора. Разговорились по-приятельски про старое житье-бытье в Москве. Потом перешли на дивизию. Федор стал ему рассказывать про обстановку, в которой остается он работать. Мрачный, неразговорчивый, как будто чем-то опечаленный, Павел Степаныч сразу оживился, узнав, в какую своеобразную среду попал...

Днем заседала партийная дивизионная конференция. Федор проводил ее в последний раз, знакомил, между прочим, со всеми и своего заместителя. Тепло, задушевно, с искренним сожалением провожали товарищи Федора Клычкова,— его за эти полгода они полюбили и привыкли ценить, а особенно дорожили им потому, что умел сдерживать Чапаева и *чапаевщину*, то есть все эти неприятные, временами просто опас-

ные, выходки и выпады в сторону политработников, ЧК, штабов...

После конференции, вечером, Федор созвал к себе на прощанье всех командиров и комиссаров. Был тут и Павел Степаныч. Но странно было его настроение: как сел в угол, так и просидел почти без движения, никому не сказавши ни слова, все эти несколько часов, пока друзья и товарищи провожали Федора, поминали боевую минувшую жизнь, сожалели, что уходит простой, хороший, верный товарищ...

Наутро простились, расцеловались, разъехались в разные стороны: Федор — в Самару, а Чапаев с Батуриным — на позицию, по бригадам и полкам.

Наступали успешно. Бригада Шмарина да еще одна, приданная от другой дивизии, шли по Уралу, по большому тракту. Бригада Потапова шла на Бухарскую сторону — так называются зауральские земли. Сизов со своими полками совершил маневр на Усиху, куда приезжали к нему Чапаев с Федором после «ночных огней». Этот маневр не дал того, чего ждали; затраты были слишком велики — они не соответствовали результатам боев. Чапаев, такой чуткий и гибкий во всех своих действиях, так быстро все улавливавший и ко всему применявшийся, понял здесь, в степях, что с казаками бороться надо уже не тем оружием, каким боролись недавно с мобилизованными насильно колчаковскими мужичками. Казаков на испуг не возьмешь, захваченной территорией с толку их не собьешь: территория казацкая — вся широкая степь, по которой будет он скакать вдоль и поперек, в которой всюду найдет привет казачьего населения, будет жить у себя в тылу, будет неуловим и бесконечно вреден,— серьезно, по-настоящему опасен. Казацкие войска не гнать надо, не ждать надо, когда произойдет у них разложение, не станицы у них отымать одну за другою,— это дело очень важное и нужное, но не *главное*. А главное дело — *сокрушить* надо живую силу, уничтожить казацкие полки. Если из пленных колчаковцев было можно восполнять поредевшие ряды своих полков, то из пленных казаков этого набора делать невозможно; тут что казак, то и

враг непримиримый. Во всяком случае другом и помощником сделается он не скоро! Уничтожение живой неприятельской силы — вот задача, которую поставил Чапаев перед собою. Чем дальше, глубже в степь, тем труднее это сделать: возрастет нужда, одолеет измученность, голод и безводица сделают свое дело, оторванность от центра скажется болезненно и тяжко.

Трудно будет и казаку, но трудней того — красноармейцу. Значит, надо торопиться, надо идти на все: жертвовать силами, жертвовать средствами, многое отдать сознательно, чтобы больше того не потерять, забравшись глубоко в степи. И Чапаев нащупывает пути, которые бы вели к намеченной цели. Усихинский маневр — не то, совсем не то, что надо. И войска сгруппировываются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу — Лбищенск... Потери... да, потери, но результаты уже более серьезные. Пяток таких ударов — и кончено!

За Лбищенском миновали Горяченский. Под Мергеневским стали. Свое положение отступавшие казаки понимали отлично и видели, что ожидает их в голодном песчаном низовье. Отпор красным войскам надо дать где-то здесь, пока не поздно, пока не все потеряно. И они усиливают оборону станиц до последней степени. Крепко защищали Лбищенск, упорно держались, долго не отдавали, но там этот могучий лобовой удар, видимо, был для них неожиданным. Рассчитывали, что Чапаев все еще живет маневрами, все еще только верит в обхват. Ошиблись. Но на ошибке этой научились и теперь укрепили Мергеневский насколько хватило сил и средств: использовали оставшиеся от весенних боев глубокие окопы, сгрудили сюда артиллерию, наставили за каждым уголком, в каждую щель, попрятали в окопах пулеметы. Мергеневский брали красные полки лобовым ударом. Взяли. Несмотря ни на что — взяли. Положили немало казаков, но больше легло красноармейцев. Победа досталась дорогою ценою. Казаки уловили чапаевскую тактику и на каждый новый ход отвечали своим особым ходом. Когда убедился Чапаев по мергеневскому бою, что лобовой удар надо временно оставить,— Сизову дал задачу идти по большому пути, а Шмарина направил к Кушумской долине, на Кзыл-Убинский поселок,

чтобы выходом против Сахарной облегчить захват этой станицы Сизову.

В это же время сюда из-под Сломихинской двигались казацкие полки; они набрели на хутор, где задержался иваново-вознесенский обоз. Начались ужасные расправы. Случайно спаслись, убежали только три красноармейца. Они и сообщили о случившемся. В бригаде затревожились — отсюда казаков не ждали. Повернули полк опять на хутор, на выручку обозу. Но вернуть его целиком не удалось — все лучшее захватили казаки с собою, с боем отступая от хутора.

Представилось ужасное зрелище: две девушки валялись с отрезанными грудями, бойцы — с размозженными черепами, с рассеченными лицами, перерубленными руками... Навзничь лежал один худенький окровавленный красноармеец, и в рот ему воткнут отрезанный член его... Омерзительно и страшно...

Этими ужасами казаки, видимо, хотели, кроме утоления мести, устрашить красноармейцев, заставить их трепетать казацкого плена, трепетать самого пребывания здесь, в степях, подтолкнуть к дезертирству. Результаты как раз получились обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с поражающей стойкостью, воистину «до последней капли крови». Молва о случившемся здесь, на хуторе, помчалась из роты в роту, по всем полкам. Раздавались проклятья свирепым палачам, бойцы давали себе клятву победить или умереть в бою!

Сизов спустился с боем к Каршинскому и здесь ожидал вестей о походе Шмарина, но тот с полками запутался в степи и никак не мог с ними в течение ряда дней установить связь. Посылал гонцов, но их перехватывали дежурившие кругом казацкие разъезды, выматывали у них разные сведения, отбирали письма и документы, а дальше — сносили голову. Расстреливать — жалели пуль, а вешать было не на чем. Сколько гонцов ни посылали — участь была одинаковая. А положение из рук вон плохо: станиц тут нет, голая степь кругом, только редко-редко хутор где встретится. Хлеба доели последние крохи, кололи скотину; питались одним мясом, поджаривая его на кострах. Усилились разные болезни, одолела желтуха. Лечить было некому и нечем. Воды нет. Скакали к Ку-

шуму,— он тут пересыхал,— и доставали вместо воды только зеленовато-коричневую жижицу, наподобие той, что бывает в старых заплесневелых прудах. Наполняли котелки и ведерки этой мерзостью, отжимали грязь, а что оставалось — пили. Привозили по ведерку в полк, и там начиналась драка: кому первому?

Кто-то случайно наткнулся на колодец. Немноговодны они, казацкие колодцы,— набралось тут всего пятнадцать ведер. Потребовалось у спуска, где цепляется бадья, поставить пулемет, а кругом — немалую охрану. Каждому полку выдавали поровну, и у поставленных ведер стояли тысячные очереди бойцов с желтыми, худыми, измученными лицами.

Каждый подходил, заглядывал в студеную воду, и глаза его загорались недобрым огоньком,— так и казалось, что кинется он вперед, уцепится за ведро обеими руками, опустит в воду распаленную голову и жадными губами станет пить, пить, пить... Вы его бейте, рвите, гоните, стреляйте — он не оставит воды! Так бы, может, и случилось, если бы и тут не было охраны, если бы и тут кружка не передавалась через вторые руки. Подходит, сердяга, дадут ему эту кружку, и смотрит он, смотрит, как на дне тоненьким слоем раскатилась вода.

— Еще немножко, товарищ,— обратится он к водочерпию с умоляющим, скорбным, тяжелым взглядом.

— Нельзя... всем поровну...

— Хоть капельку...

— И капельки нельзя,— отвечают ему.

Посмотрит еще раз на дно, медленно поднесет к губам, все жалея пить, и долго, долго тянет и сосет, будто в кружке не вода, а густой, сочный, сладкий мед, и будто доверху его — никак не выпьешь, не осилишь.

Попадались колодцы, наполовину забросанные землею. Отрывали. Но там, в глубине, встречали только влажную грязную землю — воды не было. Два колодца встретились заваленные трупами коров и лошадей. Смердило. Вонь слышна была издалека. Но раскопали и эти колодцы. Повыбрасывали трупы, а добытую со дна вонючую шоколадную жижицу опять отжимали от всякой дряни и пили.

Так мучилась шмаринская бригада, пока не нащупала сизовские полки, которые к тому времени уже

захватили Сахарную. Ждать подмогу не стали, торопились идти дальше.

Грозный, взволнованный Чапаев отдал Шмарина под суд за невыполнение приказа и сам требовал — расстрелять его!

Но председательствовавший в комиссии по разбору дела Сизов настаивал — снизить Шмарина на командира полка. В этом предложении его поддержал Батурин, и Шмарина наутро убрали из комбригов.

Уже подготовлялись полки к дальнейшему походу — через Калмыков на Гурьев, к Каспийскому морю... Но тут-то и случилась драма, которую никогда-никогда не забыть.

Штаб дивизии стоял во Лбищенске; отсюда Чапаев с Батуриным продолжал на автомобиле почти ежедневно навещать бригады. Подступали осенние холода. За свежими, ядреными днями опускались быстро сумерки, за сумерками — черные, глухие осенние ночи... Все безнадежней положение отступающих казацких частей: впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая сторона... Если сопротивляться, то только теперь — дальше будет поздно! И казаки решили сделать последнее отчаянное усилие: обмануть бдительность своего победоносного противника и ударить его прямо в сердце. Они решили проделать из-за Сахарной глубокий рейд мимо Чижинских болот по Кушумской долине — как раз мимо тех мест, где по весне у Сломихинской била их Чапаевская дивизия,— выйти незаметно в тыл красным войскам и внезапным ударом сокрушить все, что сгрудилось во Лбищенске. А здесь тогда было немало народу и учреждений дивизионных, и даже всякого добра военного, патронов, снарядов, обмундирования как раз привезли на ту пору,— собирались дивизию одевать-обувать, увидев, как от грязи, от голоду, от муки походной целые роты и батальоны повалкой лежали в тифу.

В этот многотрудный путь от Уральска на Гурьев от тифа бойцов убыло многим больше, чем от сражений. Халупы станиц, полковые обозы, а то и просто придорожные канавки полным-полны были больными красноармейцами. Одних не успевали отвозить, как заболевали другие, а других везти было не на чем, и они оставались по пустым халупам пустых станиц или по траве, в канавах, на дороге...

Не было медикаментов, переболел и перемер наполовину медицинский состав. У казаков было немногим лучше, но на их стороне было то преимущество, что в станицы приходили они первые, все там забирали, все с собою угоняли, увозили, а то, чего были не в силах взять, сжигали, уничтожали, отравляли — всячески приводили в негодность. Красные полки двигались по местам разоренным и опустошенным, все больше и острее нуждаясь в хлебе, воде, патронах, снарядах, повозках, лошадях... Положение чем дальше, тем несноснее. Казаки это знали и хорошо учитывали при своем, бесспорно, талантливом налете. Они думали: когда уничтожен будет штаб, разорвана связь и полки, ушедшие вниз за сотню верст, останутся с голыми руками,— они сдадутся сами по себе, видя полную безнадежность дальнейшего сопротивления... Будет сокрушена, думали они, несокрушимая Чапаевская дивизия, а вместе с ее гибелью освободятся от красных пришельцев уральские степи.

На операцию свою возлагали они надежды очень крупные и потому во главе дела поставили опытнейших военных руководителей... Над Лбищенском собирались черные тучи, а он не знал, что так близка эта ужасная катастрофа.

Сегодня Чапаев мрачнее обыкновенного рано утром умчался на автомобиле, но пробыл на фронте недолго, в полдень воротился во Лбищенск... Продвижение стало замедляться: тиф косил бойцов без жалости и без счету, обозы не могли доставлять ко времени все необходимое. Он видел и понимал, что «подтянуть» никого и никак нельзя,— через себя не перескочишь! Бригады работали, выбиваясь из сил, но тяжкая обстановка одолевала даже героическое, самоотверженное напряжение. Мрачен Чапаев. Забежал на минутку к Батурину, поделился сомнениями — опять к себе. Все ходит, ходит взад-вперед по комнате просторной казацкой избы. Хочется ему придумать что-то — и не может придумать, потому что нет его, этого желанного ответа. Петька из-за двери посматривает и молчит, только ждет — не прикажет ли ему что-нибудь Василий Иваныч.

Приходил Чеков, но еще в коридоре остановил его Петька и посоветовал лучше не ходить. «Сейчас не для тебя у него время, друг»,— сказал он Чекову, и

тот, пофыркивая в густые пышные усы, без разговоров повернулся и ушел. Заглянул Теткин Илья. Этот что-то даже «очень важное» сообщить хотел, но и он, услышав, в каком состоянии духа Чапаев, ушел обратно. С болью сердечной пришлось только пропустить начальника штаба Новикова. Но этот с «докладом» шел, его и отговаривать Петька не осмелился.

Новиков, молодой человек лет двадцати трех, офицер, был одним из тех немногих, которым Чапаев доверял, а Новикова он даже и любил. Поступив в Красную Армию еще в 1918 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, кажется, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, и они его любили и уважали,— «свой» был, словом, человек. Насколько его уважал Чапаев — уже по тому одному можно заключить, что за все время совместной работы ни разу на него не крикнул, не грозил, не пугал всеми муками ада, а таких счастливцев не было ведь почти ни одного.

Новиков вошел в комнату и остановился у приотворенной двери, придерживая под мышкой пачку бумаг.

— Входи, чего ты? — посмотрел на него Чапаев.

— Слушаю,— подошел Новиков и, увидев, что Чапаев сел к столу, наклонился и стоя начал доклад. Он рассказывал и показывал на карте, какую линию заняла дивизия по последним сводкам. Особенно Чапаев остановился расспросами на сведениях о бригаде, которая ушла за Урал, на Бухарскую сторону, и, отрезанная, почти лишенная подвоза, сражалась там в безмерно трудных условиях. Но когда узнал он, что телеграммой оттуда извещают о прибытии последнего транспорта,— повеселел, стал ласковый, говорил спокойней и тише.

— Как известно вам,— докладывал Новиков,— на обозников тут неподалеку, верстах в пятнадцати, вчера нападение сделано.

— Знаю.

— Расследовали, произвели дознание. Есть убитые и раненые... Казачий разъезд, преследуя, подходил совсем близко к станице, но потом ускакал в неизвестном направлении.

— Догоняли? — спросил Чапаев.

— Опоздали, не видели даже, куда ускакал. Обозники, что спаслись, тоже не знают.

— А не думаешь, Новиков, што тут, близко где-нибудь побольше имеется?

— Не могу знать. По вашему приказанию рано утром сегодня пущены во все стороны разъезды, улетело два аэроплана...

— Нет еще никого?

— Летчики здесь, докладывали: нет ничего, движения никакого не заметно.

— Ты знаешь? — спросил Чапаев.— Сегодня выставишь школу курсантов.

— Слушаю...

Еще несколько вопросов, и Чапаев отпустил Новикова. Скоро пришел Павел Степаныч. Он только что разговаривал с вернувшимися разведчиками,— нигде ничего ими не обнаружено.

До сих пор удивительным и неразгаданным остается: кто же в ту роковую ночь дивизионную школу снял с караула? Чапаев такого распоряжения никому не давал, Новиков — вне всяких подозрений: он сражался геройски и тяжко пострадал той же ночью во лбищенском бою.

Что у казаков была связь со станичниками, в том нет никакого сомнения. По крайней мере, в некоторых избах сразу обнаружились засады, откуда били и винтовки и пулеметы; склады и учреждения дивизионные указывались чрезвычайно быстро,— все подготовлено и рассмотрено было заранее.

Когда Батурин сидел у Чапаева, мимо Петьки, несмотря на сопротивление, прорвалась к ним какая-то доброжелательная казачка, у которой сын служил в Уральске, и впопыхах старалась рассказать и убедить, что приближается опасность, потому что «в поле ездют», но и это предупреждение не имело никакой силы. Чапаев с Батуриным только усмехнулись, подумав, что женщина говорит про тот самый разъезд, который наскочил на обозчиков... Про эту «дуру бабу» Петька рассказывал тут же пришедшему вторично Теткину, который безобидно повернулся опять, узнав, что занят «с комиссаром».

Уже полночь давно осталась позади, чуть дрожат предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном.

Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых. За ними подъезжали, смыкались, грудились и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой.

Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных... Поздно была обнаружена опасность,— казаки уже рассеялись по улицам станицы. Поднялась беспорядочная, слепая стрельба — никто не знал, в кого и куда надо стрелять... Красноармейцы повскакали и в одном белье метались в разные стороны. Видна была полная неорганизованность, полная неподготовленность. Отдельные кучки сбивались сами по себе, и те, что успели захватить винтовки, задерживались на каждом мало-мальски удобном месте, где можно было спрятаться, открывали огонь вдоль по улицам, а потом снимались и бежали дальше к реке. Общее направление всех отступавших было на берег Урала. Казаки гонялись на окраине за бегущими красноармейцами, рубили, захватывали, куда-то уводили,— здесь не было почти никакого сопротивления. Но проникнуть в центр станицы не могли. В одном месте несколько десятков человек сгрудились вокруг Чапаева и скоро залегли цепью. Сам Чапаев выскочил тоже в белье — с ним была винтовка, в левой руке держал револьвер... Уж совсем поредели сумерки, можно было все рассмотреть без труда... Прошли в ожидании две-три томительные минуты... Цепь увидала, как на нее неслась казацкая лава. Дали залп, другой, третий... Затрещал подтащенный пулемет — лава отхлынула.

На соседней улице, где остановился политический отдел, возле Батурина тоже сомкнулась группа человек в восемьдесят: тут были с Суворовым во главе почти все работники политотдела, сам Батурин, Новиков, Крайнюков. Увидев, что казацкие атаки становятся все чаще и настойчивее, Батурин сам повел в атаку свой крошечный отряд. Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие пулеметчики повскакали и кинулись бежать, оставив Батурину в руки два пулемета. Пулеметы повернуты были немедленно против врага... В это время тяжело в ногу ранен был Новиков. Его оттащили немного в сторону, но не знали, куда деть, оставили. Он дополз до халупы, протащился и спрятался там под лавку... Батуринская группа держалась дольше всех, но не

имея связи ни в одну сторону, она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а главный бой главными силами идет где-то по соседству, верно, около Чапаева... Так и погибла с этой верой... Связи не было, и потому успех одной группы совершенно парализовался соседними неудачами: никто не знал, что делается рядом, что надо делать самому. Увидев, что лобовыми атаками скоро успехов не добьешься, казаки частью спешились и задворками, через сады стали проникать в тыл обороняющимся группам...

Когда поднялась в тылу перестрелка, а тут, с фронта, снова и снова выносились казацкие лавы, группа батуринская не выдержала, начала отступать, рассеялась. Помчались бойцы в одиночку прятаться, кто куда успеет. Не уцелел, конечно, ни один... Жители выдавали поголовно; спаслись только убежавшие к Уралу, сохранившиеся при переправе... Батурин убежал в халупу и спрятался где-то под печью, но хозяйка выдала его немедленно, рассказала, что «это, надо быть, сам комиссар и есть»,— помнила, знать, окаянная, по собранию, где Павел Степанович держал к станичникам речь. Разъяренные, рассвирепевшие казаки, узнав, что в руки попал «сам комиссар», даже и не подумали что-либо узнавать от него, допрашивать и выпытывать,— они горели звериной охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю — каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие... Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, с остервенелыми лицами ждали, когда его бросят на землю... И как только бросили — в горло, в живот, в лицо воткнулись шашки и штыки... Началась вакханалия. Но и этого было мало: ухватили за ноги, ударили, размахнувшись, с такой силой, что разлетелась черепная коробка, выскочили мозги... Потом рвали, драли, кололи и резали его одежду, пинали этот сгусток мяса и крови, каждый метил пнуть непременно в лицо... Тут же поблизости стояло несколько пленных красноармейцев; они с ужасом смотрели, во что превращен был славный комиссар Павел Степаныч Батурин. Несчастные! Они почти все до одного — уже через несколько минут — сами погибли под казацкими шашками...

А Чапаев — где он?

В окопах долго удержаться не удалось — и сюда проникли по берегу казаки... Надо было отступать к обрыву... Здесь обрыв высоко над волнами, и на горку идти — все равно что быть мишенью. Но деваться некуда, по обеим сторонам уже поставлены казацкие пулеметы: они бьют по реке и хоронят пловцов, которые думали скрыться на Бухарскую сторону. Чапаеву пробило руку. Он вздумал утереть лицо и оставил кровавые полосы на щеке и на лбу... Петька был все время подле.

— Василий Иваныч, дайте голову завяжу! — крикнул он Чапаеву.

— Ничего... голова здоровая...

— Кровь на лбу бежит,— задыхающимся голосом старался его уверить Петька.

— Ну, полно — все равно...

Они шаг за шагом отступали к обрыву. Не было почти никакой надежды — мало кто успевал спастись через бурный Урал. Но Чапаева решили спасти.

— Спускай его на воду! — крикнул Петька.

И все поняли, кого это *«его»* надо спускать. Четверо ближе стоявших, поддерживая бережно окровавленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся,— позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала...

А Петька остался на берегу до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького рядового, но такого славного, благородного воина. С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в песке кровавую массу человеческого тела...

Месяца через два после этой трагической кончины Революционный военный совет республики отдал приказ о том, что за славные дела награждается орденом Красного Знамени славный воин Петр Исаев... Опоздала почетная награда — на два месяца не захватила своего героя.

Вместе со всеми до самого берега отступал с Исаевым рядом и Чеков. Его убили на песке, к воде спуститься не успел — пуля пробила ему голову.

Теперь сопротивления уже не оказывали нигде. Казаки гонялись за убегавшими, нагоняли их, ловили и зарубали на месте...

— Жиды, комиссары и коммунисты — выходи!

И те выступали вперед, не желая подводить под расстрел красноармейцев,— только не всегда их этим спасали. Выходили перед рядами своих товарищей — такие гордые и прекрасные в своем молчаливом мужестве, с дрожащими губами и горящими гневными глазами и, посылая проклятья казацкой нагайке, умирали под ударами шашек, под ружейными пулями... Других уводили в поле, под пулеметы... Там за станицей есть три огромные кирпичные ямы,— они доверху завалены трупами расстрелянных...

Бригады стояли у Сахарной и выше по станицам, когда помчалась страшная весть: уничтожен штаб, политический отдел, все дивизионное командование, разрушена связь, отнят отдел снабжения — нет и не будет снарядов, патронов, одежды, обуви, хлеба... Очутиться в таком положении — ужасно! Красноармейцы измучены боями, изнурены голодухой, безбожно — целыми ротами — мучаются, гибнут в тифу... Отрезанные, окруженные казаками, потерявшие управление — что станут делать?

Сизов взял на себя командование дивизией,— никто его не назначал, не утверждал,— сам взял, ждать было некогда.

Идти вперед — бессмысленно! Идти назад — это значило с голыми руками пробиваться сквозь казацкие массы у Лбищенска. Но в этом последнем исходе хоть отдаленно поблескивает надежда на успех, а в первом решении и этой надежды нет,— там верная, скорая гибель. Решено отступать немедленно, быстро, незаметно снявшись со стоянок, стараясь неприятеля ввести в заблуждение, обмануть его бдительность... Один другому со скорбью, ужасом передавали бойцы мрачную весть, и скоро все до последнего знали о том, что случилось во Лбищенске.

— Вперед или назад? — спрашивали друг друга и не знали того, что сам новый командир осиротелой ди-

визии не решил еще в ту минуту этого больного, мучительного вопроса: вперед или назад?

От Мергеневского бригада пошла первая, скоро за нею должна была идти и вторая, что стояла в Сахарной. Сняться решено было ночью — так тихо, чтобы неприятель и не думал, что уходят красные полки. В кольцо замкнули обозы и артиллерию, оставили на охрану кавалерийский дивизион, поднялись и бесшумно, тихим ходом задвигались во тьме... В станице горели костры,— пусть думают казаки, что у этих костров все еще греются безмятежно красные бойцы...

А они все дальше, дальше уходят в степь... Команда — шепотом, и этот шепот из уст в уста передается по невидимым цепям и колоннам... Скрипнет колесо, придавит кому-нибудь ногу, и он охнет невольно. Кто-то глухо, сдержанно кашлянет в кулак — и снова тишина, тишина... Не шли, а словно на крыльях летели. Уж позади остался Каршинский поселок, вот на виду Мергеневский. В это время донесся издалека глухой тяжелый удар — в Сахарной отступавший последним кавалерийский дивизион взорвал оставшиеся снаряды, их не на чем было увозить. Как только взорвал, на рысях ударился догонять давно ушедшие части...

Почти двое суток шагали не отдыхая. Чуть приникнут — и дальше; некогда стоять, дорога каждая минута. На вторую ночь подходили ко Лбищенску. Отсюда казаки еще накануне, до прихода первой бригады из Мергеневского, ушли вверх на Уральск. Они тоже торопились и много надежд возлагали на внезапность, на быстроту удара. Отрезанные части они считали обреченными: их добьют из Сахарной! А сами — скорей, скорей на Уральск! Но обернулось поиному, совсем по-иному; «обреченные» остались живы и целы.

Вот уж и вторая бригада проходит через зловещий, кровавый Лбищенск... Он все еще страшен, глух и пуст. Валяются по улицам неубранные тела проколотых, иссеченных шашками, расстрелянных красноармейцев... Первая бригада не задерживалась здесь— ушла тогда же на Кожехаров. Трупы подбирали, уносили, хоронили... Отправились в поле и в общие братские могилы схоронили тех, что сотнями поставлены были под казацкие пулеметы... Ни прощальных слов, ни похоронного марша — с обнаженными головами



Дмитрий Фурманов. ЧАПАЕВ.



Дмитрий Фурманов. ЧАПАЕВ.

опускались бойцы на колени и застывали в безмолвии над дорогими могилами, полные скорбных чувств, тяжелых и суровых дум...

Во Лбищенске отдыхали недолго — снялись и пошли... Тут настигли преследовавшие от Сахарной казацкие части, и завязался бой — бой не на жизнь, а на смерть. Казаки не хотели верить, что столь измученные войска могут сопротивляться, наскакивали бешеными атаками, торопились покончить упущенное дело. А красные полки, обреченные на гибель, вырывались из железных объятий смерти, пробивали путь, отражали атаки, доказали еще и еще в этой изумительной обстановке, что представляли собой полки Чапаевской дивизии...

Под хутором Янайским очутились ночью. Усталость была беспредельная. Повалились с ног. Каменным сном заснули бойцы. Даже караулы не могли совладать с собою — спали и они. Красный лагерь представлял собою сплошное мертвое царство. Казаки приготовились к внезапному удару; они цепями подкрались почти вплотную, замерли в нескольких шагах, только боялись начать в такую глухую непроглядную темь,— ждали первых признаков робкого, дрожащего рассвета... Конные массы отброшены по флангам,— они нацелились поскакать за бегущими, перепуганными красноармейцами... Было все готово. Над красными частями нависала смерть!

Первый удар казаки давали на испытание: будет паника или нет? Побегут или останутся на месте?.. И только колыхнулся дремучий мрак сентябрьской ночи, как по казацким частям загремело: «Ура!!! Ура!!! Ура!!!» Залпами открыли огонь... Откуда-то сзади грохнули орудия...

Как ни крепко спали бойцы — повскакали и сразу за винтовки... Но не было порядка, не было стройного сопротивления,— от первых же казацких пуль погибло немало командиров. Произошло замешательство. Никто не мог определить сразу, что надо делать, ждали команду, но ее не было. Сопротивление было раздробленным, случайным, ненадежным... Все нарастал беспорядок, все увеличивалось замешательство, с минуты на минуту можно было ожидать сумасшедшей, губительной паники... Командир артиллерийского дивизиона Николай Хребтов,— тот, что работал у Крас-

ного Яра,— подбежал к орудиям, но там не было наготове ни одного «номера»: кто отбежал к повозкам, кто лежал уткнувшись, спасаясь от огня. Властным окриком поднял людей, пустил снаряд, за ним другой, третий... и открыл жестокий, сокрушительный огонь. Этого было достаточно, чтобы предотвратить панику. Лишь только бойцы увидели, услышали, что бьют свои батареи,— встрепенулись, ободрились, а тут на смену погибшим командирам явились новые. Завязался упорный, кровопролитнейший бой,— таких боев немного запомнят даже старые боевые командиры Чапаевской дивизии... От сопротивления переходили к атакам и снова замирали, когда несносен становился пулеметный огонь...

С грохотом и воем шли на красные цепи два неприятельских броневика: один в открытую, по равнине, другой в обход, по глубокому оврагу. Не привыкать стать — только еще плотнее прилегли к земле, застыли в ожидании... А когда чудовище приблизилось, Николай Хребтов одному снарядом угодил прямо в лоб, и тот, покачнувшись, осел на месте. Восторгу не было пределов. Поднялись на новую атаку. И били... А потом снова зарывались в землю и ждали очередной схватки...

Казаков угнали за несколько верст. В этом — янайском — бою немало погибло красных бойцов, но еще больше на поле осталось казаков. И так было, что лежали они рядами,— здесь скошена была вся цепь неумолимым пулеметным огнем...

Другого боя, подобного янайскому, не было. Скоро подошла подмога... Казаки угонялись вспять через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому назад быстро-быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление уж на самый Гурьев, до берегов Каспийского моря...

Проходили и Лбищенск, застывали над братскими могилами, пели похоронные песни, клялись бороться, клялись победить, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством отдали свои жизни на берегах и в волнах неспокойного Урала.

1923



☆☆

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

РАЗГРОМ

РОМАН

I. МОРОЗКА

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. Из полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

— Свезешь в отряд Шалдыбы,— сказал Левинсон, протягивая пакет.— На словах передай... впрочем, не надо — там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.

«Жулик»,— подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно называл просто по фамилии.

— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левинсон едко.

— Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

— Иди, сдай оружие начхозу,— сказал он с убийственным спокойствием,— и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

— Обожди,— сказал Морозка угрюмо.— Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:

— Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче.— Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил:— Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

— То-то и есть,— засмеялся командир,— а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а тут ты со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене,— скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце.— Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

— Вольно,— снисходительно сказал Гончаренко,— сам таким дураком был. По какому делу посылают?

— А так, по плевому: промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

— Дурак...— пробурчал подрывник, откусывая дратву,— трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

— Мишка-а... у-у... Сатана-а...— любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу.— Мишка... у-у... божья скотинка...

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее,— серьезно сказал подрывник,— так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

— Сын?..— переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

— Значит, четвертый...— подытожил отец покорно.— Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обом-

шалые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь действительно была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчи-

це из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

В-з-з... в-з-з...— жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий. Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

— Обожди,— сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья.

Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

— Слышишь?.. Стреляют!..— выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец.— Стреляют!.. Да?..

Та-та-та...— залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло четкий плач японских карабинов.

— В карьер!..— закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

— Обожди здесь,— сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод за луку седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по

златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

— Сволочи, что делают, что только делают...— все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

— Мишка, сюда!..— крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину...

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

— Ложись!..— крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью, повязкой на голове.

— Ложись...— хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

— Больно, ой... бо-больно!..— стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у

парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

— Молчи, зануда!..— прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. МЕЧИК

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

— Желторотый...— насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца.— Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

— Известно, сопливый...— бурчал он недовольным голосом.

— Не трепись,— перебил Левинсон сурово.— Бакланов! Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать — Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темень, тянуло свежим и крепким, как бы настоенным на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика,— что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук,— было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

— Где я? — тихо спросил Мечик.

Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую жесткую ладонь, пощупал пульс.

— Сойдет...— сказал он спокойно.— Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко...— Помолчав немного, неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо,— сказал высокий мужчина, кончая перевязку.— Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский.— Он несколько оживился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно

глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик — в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках...

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.

— Да вот... послан из города...

— Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

— «При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-лю-ци-не-ров...» — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза.— Та-ак...— протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

— Как же ты, паскуда...

— Что? Что?..— растерялся Мечик.— Да ведь это же — «максималистов»... Прочтите, товарищ!..

— Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

— Они не разобрали...— говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь.— Ведь там же написано — «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

— А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

— Дурак...— сказал сурово.— Не видишь: «максималистов»...

— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадованно.— Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое...

— Выходит, зря били...— разочарованно сказал матрос.— Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом изза каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером на изумрудном бережку, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в

жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.

— Да-а... Приходит это он до меня. Я, конешно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное. Вижу только сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю».— «Почему такое?..» — «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились».— «Ну-к что ж, говорю, чехословаки? Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня — только што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...

Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

— И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот — жизнь!..

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

— Блудливая она — Варька,— сказал однажды Пика.— Морозка, муж ее, в отряде, а она блудит...

Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.

— А отчего она... такая? — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.

— А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать — и все тут...

Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.

С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле, она слишком много «крутила» с мужчинами — со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

— Посиди со мной...— сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.

— Ишь ты...— сказала невольно с некоторым удивлением.

Однако, оправив постель, присела рядом.

— Тебе нравится Харченко?— спросил Мечик.

Она не слышала вопроса — ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:

— А вить такой молоденький...— И спохватившись: — Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы — на одну колодку...

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше,— оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его — сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

— Хороша курва! — сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под

фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.

— Ну, чего испугалась? — спокойно продолжал хрипловатый голос.— Это я не на тебя — на патрет... Много я баб переменил, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

— Ну, и напугал...— сказала не своим — певучим бабьим голосом.— Откуда это тебя, черта патлатого...— И, обращаясь к Мечику: — Это — Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

— Да мы с ним знакомы... трошки,— сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.

III. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друга на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видел обоих.

— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?..— ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? — думал он с досадой и недоумением.— Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди,

«Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.

— Как свечечка!..— восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни, и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громад-

ный, плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

— Что же ты... делаешь? — с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером.

— Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!..— кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик — в стеганом мужицком надеване и в лаптях — побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик

ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

— А куда Шалдыба отступил?

— На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

— У Крыловки их здорово потрепали,— продолжал он бойко, шмыгая носом.— Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части — шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунгуз Ли-Фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимый мудростью многих поколений.

— Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел не понимая.

— Нюхом, нюхом!..— пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

— Ничего не унюхал... Уж как есть...— виновато сказал разведчик. «Что я — собака, что ли»,— подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

— Ну, ступай...— махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый, песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее.

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом у пояса.

— Что делать с Морозкой?..— с места выпалил Бакланов, собирая над переносьем тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза.— Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

— А ты не кричи,— сказал он спокойно и убедительно,— кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался,— когда вылезаю с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтобы баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

— Мой.

— Бакланов, возьми-ка у него смит...

— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

— Не балуй, не балуй...— с суровой сдержанно-

стью сказал Бакланов, туже собирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

— Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

— Пускай все узнают...

— Иосиф Абрамыч...— заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом.— Ну, пущай — отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

— Слушай, дорогой,— сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки,— у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.

— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.

IV. ОДИН

Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? — подумал Мечик, когда ординарец уехал.— Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечику с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голову мягкую шапчонку. От круглой блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики. Двое парней — один с перевязанной рукой, другой — прихрамывая на ногу,— вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к бараку — один бережно поджимая руку, другой — воровато припадая на ногу.

— Эй, ты, помощник смерти! — закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю.— Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться...— заворчал он масляным голосом, садясь рядом и обнимая сестру здоровой рукой.— Мы тебя любим — ты у нас одна, а этого черномазого гони — гони его к мамаше, гони его, сукиного сына!..— Он той же рукой пытался оттолкнуть Харченко, но фельдшер плотно прижимался к Варе с другого бока и скалил ровные, пожелтевшие от «маньчжурки» зубы.

— А мне иде ж притулиться? — плаксиво загнусил хромой.— И что же это такое, где ж это правда, и кто ж это уважит раненого человека,— как это вы смотрите, товарищи, милые граждане?..— зачастил он, как заведенный, моргая влажными веками и бестолково размахивая руками.

Его спутник устрашающе дрыгал ногой, не подпуская близко, а фельдшер хохотал неестественно гром-

ко, незаметно залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкову руку, и вдруг, поймав на себе растерянный взгляд Мечика, вскочила, быстро запахивая кофточку и заливаясь, как пион.

— Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!..— сказала в сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей.

— Вот тебе и сестра-а!..— певуче возгласил хромой. Скривился, как перед табачной понюшкой, и захихикал — тихо, мелко и пакостно.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

— Ребята... шкодят...— хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону — казалось, раненый все еще глядит, ощерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он смог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом...

— Жара...— буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженой голове против волос. Вышел же он сказать, что нехорошо надоедать человеку, который не может же заменить всем мать и жену.

— Скучно лежать? — спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

— Мне — что?.. поправился и пошел,— встрепенулся Мечик,— а вот вам как?.. Вечно в лесу.

— А если надо?..

— Что надо?..— не понял Мечик.

— Да в лесу мне быть...— Сташинский принял руку и впервые с человеческим любопытством посмотрел Мечику прямо в глаза своими — блестящими и черными. Они смотрели как-то издалека и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алиньских костров.

— Я понимаю,— грустно сказал Мечик и улыбнулся также приветливо и грустно.— А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично,— перехватил он недоуменный вопрос,— а госпиталь в деревне?

— Безопасней здесь... А вы сами откуда?

— Я из города.

— Давно?

— Да уж больше месяца.

— Крайзельмана знаете? — оживился Сташинский.

— Знаю немножко...

— Ну, как он там? А еще кого знаете? — Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустился на пенек, словно его сзади ударили под коленки.

— Вонсика знаю, Ефремова...— начал перечислять Мечик,— Гурьева, Френкеля — не того, что в очках,— с тем я не знаком,— а маленького...

— Да ведь это же все «максималисты»?! — удивился Сташинский.— Откуда вы их знаете?

— Так ведь я все с ними больше...— неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея.

«А-а...» — хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.

— Хорошее дело,— буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал.— Ну-ну... поправляйтесь...— сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.

— Васютину еще знаю!..— пытаясь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.

— Да... да...— несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.

Мечик понял, что чем-то не угодил ему,— сжался и покраснел.

Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом,— он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расползаясь по лицу. Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.

Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солоны и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

— Спишь? — спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

— Ну спи...

Когда стемнело, снова подошли двое — Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

— Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду,— сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

— Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

— Плохо...— сказал он сумрачно и тихо.

— Ноги болят?..

— Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.

V. МУЖИКИ И «УГОЛЬНОЕ ПЛЕМЯ»

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно — потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

— Осипу Абрамычу,— почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных коров угасал мужичий маятный день.

— Маловато чтой-то,— сказал Рябец, выходя на крыльцо.— Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

— А сход на что в буден день? Аль срочное что?

— Да есть тут одно дельце...— замялся председатель.— Набузил тут один ихний,— у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась...— Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал.

— А коли пустое, так и не след бы собирать!..— разом загалдели мужики.— Время такое — мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

— Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел: чем косят люди? Целых кос ни у кого, хучь бы одна для смеху,— все латаные. Не работа — маята.

— Семен надысь какую загубил! Ему бы все скорей,— жадный мужик до дела,— идет по прокосу, сопит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж сколько ни чини, не то.

— Добрая «литовка» была!..

— Мои-то — как там?..— задумчиво сказал Рябец.— Управились чи не? Трава нонче богатая — хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в грязно-белых рубахах, некоторые с узелками — прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя, и пота, и свежескошенных трав.

— Здравствуйте в вашу хату...

— Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет — здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

— Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?

— Как твой? Не бреши!.. Я — по межу, тютелька в тютельку. Нам чужого не надыть — своего хватает...

— Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиней ваших с огорода не сгонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом вырос над толпой, сказал:

— Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу — и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости господи!..— оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

— Он и до нас дойдет, это уж как пить...

— И откуда напасть такая?

— И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

— Главная вещь — и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб — одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные ему одному тревожные нотки. «Плохо дело,— думал он сосредоточенно,— совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых куда можно... Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить...»

— Бакланов! — окликнул он помощника.— Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе.

Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали...

— А что? — встрепенулся Бакланов.— Разве тревожно что?.. или что? — он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.

— На войне, милый, всегда тревожно,— сказал Левинсон ласково и ядовито.— На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале...— Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.

— Ишь ты, какой умный...— завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня.— Не дрыгай, не дрыгай — все равно не вырвешься!..— ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

— Иди, иди — вон Маруся зовет...— хитрил Левинсон.— Да пусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

— Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

— Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

— Дозорного, я думаю, одного? — спросил Бакланов, вставая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

— Геройский у тебя помощник,— сказал кто-то.— Не пьет, не курит, а главное дело — молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжиться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» — «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай — молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок — с мисочки — и хлебец крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку, дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить.— Что это там ко-

рышок наш набузил? — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку.— Проучить, проучить... чтоб другим неповадно было!..— загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — пятно на весь отряд кладет,— ввернул сладкоголосый парень, по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищеных сапогах.

— Тебя не спросили! — не глядя, обрезал Дубов.

Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

— Видал гуся? — мрачно спросил взводный.— Зачем ты его держишь? По слухам его самого за кражу с института выгнали.

— Не всякому слуху верь,— сказал Левинсон.

— Уж заходили бы, что ли ча!..— взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа.— Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

— Начинай, Осип Абрамович,— угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром — вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

— Как вы решите, так и будет,— закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным — сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

— Тоже и это не порядок,— строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох.— В старое время, при Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым и водют под сковородную музыку!..— Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

— А ты по-миколашкину не меряй!..— кричал сутулый и одноглазый — тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился.— Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тю-тю, не воротишь!..

— Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не право,— не сдавался дед.— И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже несподручно.

— Кто говорит — плодить? Никто за воров и не чепляется! Воров, может, ты сам разводишь!..— намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад.— Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год воюет,— неужто и дынькой не побаловаться?..

— И что ему шкодить было?..— недоумевал один.— Господи твоя воля — благо бы добро какое... Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал... На, бери — свиней кормим, не жаль дерьма для хорошего человека!..

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходилось на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход.

— Пущай сами решают с председателем!..— выкрикнул кто-то.— Нечего нам в это дело лезти.

Левинсон поднялся снова, постучал по столу.

— Давайте, товарищи, по очереди,— сказал тихо, но внятно, так что все услышали.— Разом будем говорить — ничего не решим. А Морозка-то где?.. А ну, иди сюда...— добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец.

— Мне и отсюда видать...— глухо сказал Морозка.

— Иди, иди...— подтолкнул его Дубов.

Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами, немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь.

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его

дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту.

— Вот теперь и обсудим,— сказал Левинсон попрежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями.— Кто хочет говорить?.. Вот ты, дед, хотел, кажется?..

— Да что тут говорить,— смутился дед Евстафий,— мы так только, промеж себя...

— Разговор тут недолгий, сами решайте! — снова загалдели мужики.

— А ну, старик, мне слово дай...— неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему.

Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой.

— Самим решать?.. боитесь?! — рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух.— Сами решим!..— Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами.— Наш, говоришь, Морозка... шахтер? — спросил напряженно и едко.— У-у... нечистая кровь — сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блудишь? позоришь угольное племя? Ладно!..— Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит.

Морозка, бледный, как полотно, смотрел ему в глаза не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое.

— Ладно!..— снова повторил Дубов.— Блуди! Посмотрим, как без нас проживешь!.. А нам... выгнать его надо!..— оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону.

— Смотри — прокидаешься!..— выкрикнул кто-то из партизан.

— Что?! — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед.

— Да цыц же вы, го-споди...— жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос.

Левинсон сзади схватил взводного за рукав.

— Дубов... Дубов...— спокойно сказал он.— Подвинься малость — народ загораживаешь...

Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая.

— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову.— Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь,— напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, сказать, боевой — не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст...

— Свой...— с горечью перебил Дубов.— А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь,— вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа,— учить будет!..

— Вот я к тому и веду,— продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет).— Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу прогонять тоже не резон — прокидаемся. Мое мнение такое: спросить его самого!..— и он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.

— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели сознательный!..

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился в Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.

— Говори, как сам мыслишь!..

Морозка покосился на Левинсона.

— Да разве б я...— начал он тихо и смолк, не находя слов.

— Говори, говори!..— закричали поощрительно.

— Да разве б я... сделал такое...— он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца...— ну, дыни эти самые... сделал бы, ежели б подумал... со зла или как?.. А то ведь сызмальства это у нас — все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... да разве ж я, братцы!..— вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влаж-

ным...— Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» — протяжно кричали на пароме.

— Ну, как я сам себя накажу?..— с болью, но уже значительно тверже и менее искренно продолжал Морозка.— Только слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет — мараться не стану...

— А если не сдержишь? — осторожно спросил Левинсон.

— Сдержу я...— и Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.

— А если нет?..

— Тогда что хотите... хоть расстреляйте...

— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.

— Значит, и шабаш! Амба!..— закричали со скамей.

— Ну вот, и делов-то всех...— заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу.— Дело-то пустяковое, а разговоров на год...

— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..

— Да закрывай ты, ч-черт!..— шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения.— И то надоело уж... Жрать охота,— кишка кишке шиш показывает!..

— Нет, обождите,— сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь.— С этим вопросом покончено, теперь другой...

— Что там еще?!

— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять...— Он оглянулся вокруг.— А секретаря-то у нас и не было!..— засмеялся он вдруг мелко и добродушно.— Иди-ка, Чиж, запиши... такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного...— Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.



Александр Фадеев. РАЗГРОМ.



Александр Фадеев. РАЗГРОМ.

— Да мы того не требуем!..— крикнул кто-то из мужиков.

Левинсон подумал: «Клюнуло...»

— Цыц, ты-ы...— оборвали мужика остальные.— Слухай лучше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!..

— А Рябцу мы особо отработаем...

— Почему особо? — заволновались мужики.— Что он за шишка?.. Невелик труд — председателем всякий может!..

— Кончать, кончать... согласны!.. записывай!..— Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.

— И-эх... Ваня! — подскочил к Морозке лохматый востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу.— Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря... И-эх!..— вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.

— Иди ты,— беззлобно пхнул его ординарец.

Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.

— Ну, и здоровый этот Дубов,— говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками.— Вот их с Гончаренкой стравить! Кто кого, как ты думаешь?

Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.

Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.

На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.

«Мишку еще не поил...» — встрепенулся Морозка, входя постепенно в привычный вымерянный круг.

В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.

— Ишь, обрадовался,— оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями.— Только блудить умеешь, а отдуваться так мне одному...

VI. ЛЕВИНСОН

Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезертиры из чужих отрядов,— народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левинсону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сделать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности — особенно когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем — за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену,— человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищеные сапоги, чтобы покорять девчат на вечорке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно — *дело*. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

С той поры, как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью,

как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке,— каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это — очень важно и нужно.

...В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить...

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья сбитой копытами грязи...

Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотэ-алиньским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка.

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов, мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушиваясь. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с «задрипанной Маруськой». А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это «не птичьего ума дело». Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников.

Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, как до поездки,— в этом отношении он был неисправим.

— В городе провал, и Крайзельман в тюрьме...— сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться.— Во Владимиро-Александровском и на Ольге — японский десант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!.. закуривай...— и протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя было понять — относится ли «закуривай» к сигаретке, или к делам, которые плохи, «как табак».

Левинсон бегло взглянул на адреса — одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия.

— Плохо, а?..— участливо спросил Канунников.

— Ничего... Письмо кто писал — Седых?

Канунников утвердительно кивнул:

— Это заметно: у него всегда по разделам...— Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем «раздел IV:

Очередные задачи», понюхал сигаретку.— Дрянной табак, правда? Дай прикурить... Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и прочего... Трубку мне купил? — И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу.

Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов: из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:

«...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования, чего нужно добиться во что бы то ни стало,— это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии...»

— Позови Бакланова и начхоза,— быстро сказал Левинсон.

Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна — «самая важная». Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... «Сохранить боевые единицы...» Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. —Это потом,— подумал он и снова спрятал его.— Сохранить боевые е-ди-ни-цы».

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать *все,* чтобы сохранить отряд как боевую единицу.

— Нам придется скоро отсюда уходить,— сказал Левинсон.— Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом...

— Да, за начхозом,— как эхо повторил Бакланов и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится.

— Мне — что, за мной дело не станет, я всегда готов... Только вот, как быть с овсом...— И начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных лошадях, о том, что «всего овса им никак не поднять»,— словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно

морщился, мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении.

Левинсон взял его за пуговицу и сказал:

— Дуришь...

— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...

— Укрепиться?.. Здесь?..— Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза.— А уж седина в волосах. Да ты чем думаешь, головой ли?..

— Я...

— Никаких разговоров! — Левинсон вразумительно подергал его за пуговицу.— В любой момент быть готовым. Ясно?.. Бакланов, ты проследишь за этим...— он отпустил пуговицу.— Стыдно!.. пустяки там вьюки твои, пустяки! — Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что вьюки — это точно пустяки.

— Да, конечно... ну что ж, ясно... не в этом суть...— забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы везти овес на собственной спине, если командир найдет это необходимым.— Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу-у... хоть сегодня — в два счета.

— Вот-вот...— засмеялся Левинсон.— Да уж ладно, ладно, иди! — и он легонько подтолкнул его в спину.— Чтоб в любой момент.

«Хитрый, стерва»,— с досадой и восхищением думал начхоз, выходя из комнаты.

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров.

К известиям Левинсона относились различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела.

— Крышка! Стоп!..— перебил его пастух Метелица.— Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак! — Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело.— Здесь нас, как курят,— стоп,

и крышка!..— И он забегал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки.

— А ты потише немножко, не то скоро устанешь,— посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно — весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догонять и драться.

Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боится больших пространств и не лишена военной сметки.

— Правильно!.. У него котелок варит! — воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым полетом Метелицыной самостоятельной мысли.— Давно ли коней пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет...

— Метелица?.. У-у... да ведь это — сокровище! — подтвердил Левинсон.— Только смотри — не зазнавайся...

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план Метелицы своим — более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми было принято.

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибиши, в верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему.

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, перечел его. Ничего нового и радостного. По-прежнему нигде не принимают на службу, продано все, что можно, приходится жить за счет «Рабочего Красного Креста», у детей — цинга и малокровие. А через все — одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось

ворошить круг мыслей, связанный с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону.

Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал: «Что, если так же спят часовые?..» Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому, вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь, сукин сын»,— подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы.

Придерживаясь кустов, он пробрался к поскотине.

— Кто там? — сурово окрикнул часовой, брякнув затвором.

— Свои...

— Левинсон?.. Что это тебя по ночам носит?

— Дозорные были?

— Минут с пятнадцать один уехал.

— Нового ничего?

— Пока что спокойно... Закурить есть?..

Левинсон отсыпал ему «маньчжурки» и, переправившись через реку вброд, выехал в поле.

Глянул подслеповатый месяц, из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко — каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса послышались совсем близко. Левинсон узнал двоих: дозорные.

— А ну, обожди,— сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала.

— Так можно напужать,— сказал передний встревоженно-бодрым голосом.— Трр, стерва!..

— Кто это с вами? — спросил Левинсон, подъезжая вплотную.

— Осокинская разведка... японцы в Марьяновке...

— В Марьяновке? — встрепенулся Левинсон.— А где Осокин с отрядом?

— В Крыловке,— сказал один из разведчиков,—

Отступили мы: бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас, для связи. Завтра на корейские хутора уходим...— Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его.— Все прахом пошло. Сорок человек потеряли. За все лето убытку такого не было.

— Снимаетесь рано из Крыловки? — спросил Левинсон.— Поворачивайте назад — я с вами поеду...

...В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой, тяжелой от бессонницы.

Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения — уйти заблаговременно, заметая следы. Еще красноречивей сказал об этом вид самого осокинского отряда: он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которой крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий,— он сидел на площади возле дороги, уставившись в землю мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу.

Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.

VII. ВРАГИ

В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и оттого, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная левинсонова тревога и с каждой травины, с каждого душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь.

...Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские

черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым ожесточением,— заскучал Пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво — нитки путались и рвались, садился в шашки играть — проигрывал, и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням — свертывали безрадостные солдатские узелки,— грустно улыбаясь, обходили каждого «за ручку». Сестра, осмотрев перевязки, целовала «братишек» на последнее прощанье, и шли они, утопая во мху новенькими лапоточками, в безвестную даль и слякоть...

Последним Варя проводила хромого.

— Прощай, братуха,— сказала, целуя его в губы.— Видишь, бог тебя любит — хороший денек устроил... Не забывай нас, бедных...

— А где он, бог-то? — усмехнулся хромой.— Нет бога-то... нет, нет, ядрена вошь!..— Он хотел добавить еще что-то, привычно-веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком.

Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик — в новой шагреневой рубахе, сшитой ему сестрой,— полусидел на койке, подмостив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, вились густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше.

— Вот и ты поправишься, уйдешь скоро,— грустно сказала сестра.

— А куда я пойду? — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления,— не было в них радости. Мечик поморщился.— Некуда идти мне,— сказал он жестко.

— Вот тебе и на!..— удивилась Варя.— В отряд пойдешь к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш... Да ничего, научишься...

Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или

поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отрава.

— А ты не бойся,— как бы поняв его, сказала Варя.— Такой красивый и молоденький, а робкий... Робкий ты,— повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское.—...Это у Шалдыбы там, а у нас ничего...— быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов,— у него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята — можно ладить... Ты ко мне наезжай почаще...

— А как же Морозка?

— А как же та? на карточке? — ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову.

— Ну... Я уж и думать забыл... Порвал и карточку,— добавил он торопливо,— видала бумажки тогда?..

— Ну, а с Морозкой и того мене — он, поди, привык. Да он и сам гуляет... Да ты ничего, не унывай,— главное, приезжай почаще. И никому спуску не давай... сам не давай. Ребят наших бояться не нужно — это они на вид злые: палец в рот положи — откусят. А только все это не страшно — видимость одна. Нужно только самому зубы показывать...

— А ты показываешь разве?

— Мое дело женское, мне, может, этого не надо — я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя... Только не сможешь ты,— добавила она, подумав. И снова, склонившись к нему, шепнула: — Может, я и люблю тебя за это... не знаю.

«А правда, не смелый я совсем,— подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом.— Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие...» В мыслях его, однако, не было теперь грусти — тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны — разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли — земля пахла спиртом и муравьями — да еще от Вари — глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви — хотелось верить.

«...И чего мне унывать, в самом деле? — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию.— Надо сразу поставить себя на равную ногу: спуску никому не давать... Самому не давать — это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться... И я сделаю это,— подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви.—...Все тогда пойдет по-новому... И когда я вернусь в город, никто меня не узнает — я буду совсем другой...»

Мысли его отвлеклись далеко в сторону — к светлым будущим дням,— и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розовые тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розовые тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу: Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень. И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты № 1, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть.

Через несколько дней пришло из отряда второе письмо,— привез его Морозка. Он натворил большого переполоху — ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и... просто «для смеху».

— Носит тебя, дьявола,— сказал перепуганный Пика с певучей укоризной.— Тут человек умирает,— кивнул он на Фролова,— а ты орешь...

— А-а... отец Серафим! — приветствовал его Морозка.— Наше вам — сорок одно с кисточкой!..

— Я тебе не отец, а зовут меня Ф-федором...— озлился Пика. Последнее время он часто сердился,— делался смешным и жалким.

— Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут... Супруге — почтение! — откланялся Морозка Варе, снимая фуражку и надевая ее на Пикину голову.— Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Толь-

ко ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугале, оч-чень неинтеллигентно!

— Что — скоро нам удочки сматывать? — спросил Сташинский, разрывая конверт.— Зайдешь потом в барак за ответом,— сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча.

Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем.

— Чего не был давно? — спросила наконец с деланным равнодушием.

— А ты, небось, скучала? — переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность.— Ну ничего, теперь нарадуешься — в лес вот пойдем...— он помолчал и добавил едко: —страдать...

— Тебе только и делов,— ответила она сухо, не глядя на него и думая о Мечике.

— А тебе?...— Морозка выжидательно поиграл плетью.

— И мне не впервой, чать не чужие...

— Так идем?..— сказал он осторожно, не двигаясь с места.

Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность.

Она ждала, что вот-вот Морозка обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее.

— Что-то финтишь ты, девка...— сказал он вдруг хрипло и с расстановкой.— Влипла уже, что ли?

— А ты что — спрос? — Она подняла голову и посмотрела на него в упор — строптиво и смело.

Морозка знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся, с головной болью, в груде тел на полу и увидел, что его молодая и законная жена спит

в обнимку с рыжим Герасимом — зарубщиком из шахты № 4. Но — как и тогда, так и во всей последующей жизни — он относился к этому с полным безразличием. По сути дела он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек, как Мечик, показалась ему сейчас очень обидной.

— В кого же это ты, желательно бы узнать? — спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной и спокойной усмешкой: он не хотел показывать обиды.— В энтого, маминого, что ли?

— А хоть бы и в маминого...

— Да он ничего — чистенький,— согласился Морозка.— Послаже будет. Ты ему платков нашей — сопли утирать.

— Если надо будет, и нашью и утру... сама утру! Слышишь? — Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно: — Ну, чего ты храбришься, что толку в лихости твоей? За три года ребенка не сделал — только языком трепишься, а туда же... Богатырь шиновый!..

— Заделаешь тебе, как же, ежели тут целый взвод работает... Да ты не кричи,— оборвал он ее,— не то...

— Ну, что — не то?..— сказала она вызывающе.— Может, бить будешь?.. А ну, попробуй, посмотрю я...

Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил.

— Нет, бить я не стану...— сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом деле.— Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата.— В голосе его скользнули незнакомые ей нотки.— Ну, да что ж — живи. Может, барыней будешь...— Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки.

— Слушай, обожди!..— крикнула она, вдруг переполняясь жалостью.— Ваня!..

— Не надо мне барских объедков,— сказал он резко.— Пущай моими пользуются...

Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала, Выждала, пока он скроется за поворо-

том, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед.

Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги (ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем), Мечик понял, что у Морозки с Варей «ничего не вышло» и причиной этому — он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виноватости ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом...

У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик: казалось, ординарец идет к нему; на самом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозка скрывал это даже от себя, полный неутомимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась, он смотрел на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под уздцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику, будто нарочно, и Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами без слов — слов у него не было.

— Сидите тут в тылу,— с ненавистью сказал Морозка в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика.— Рубахи шагреневые понадевали...

Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно...

— Чего ты ругаешься? — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозка выругался.— У меня ноги перебиты, а не — в тылу...— сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозка носит шагреневые рубахи.— Мы тоже знаем таких фронтовиков,— добавил он, краснея,— я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан... на свое несчастье...

— Ага-а... заело? — чуть не подпрыгнув, завопил

Морозка, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства.— Забыл, как я тебя из полымя вытащил?.. Таскаем мы вас на свою голову!..— закричал он так громко, словно каждый день таскал «из полымя» раненых, как каштаны,— на св-вою голову!.. Вот вы где у нас сидите!..— он ударил себя по шее с невероятным ожесточением.

Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением.

— Вы что кричите? — спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом.

— Совесть моя где?! — кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть.— Вот она где, совесть,— вот, вот! — рубил он с остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги с разных сторон бежали сестра и Пика, крича что-то наперерыв. Морозка вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный.

— Обожди, письмо захватишь!.. Морозка!..— растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.

VIII. ПЕРВЫЙ ХОД

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком — один хлеще другого — вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям.

Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он

вспоминал, что Мечик ведь «спутался» с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и, вместо злорадного торжества над унижением противника, Морозка снова чувствовал *свою* непоправимую обиду.

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек,— они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми.

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело — так непохоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности; они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком — не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил «как все», когда все казалось ему простым и ясным,— теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно это большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.

Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне [1], грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся

---

[1] Суслон — составленные на жнивье снопы.

пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным выморочным полем, и тревожная пустота последнего только сильней подчеркивала его одиночество.

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке,— от неожиданности она так и села на задние ноги.

— Ну, ты-ы, кобло́, вот кобло́!..— выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку.— Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-поймешь, ей-богу...

— А что?

— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-де вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси, поди, всех не переправил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу...— Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это — сразу, быстрей слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим,— втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время,— все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.

— Какие дезертиры, чего ты треплешься? — перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть.— Тебе бы только фа-

сон давить, женя с ручкой! — презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек — каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало,— паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся,— в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой привычке («для смеху»), попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.

— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету,— перебил вконец осатаневшую бабу,— расскажет тоже: «Га-азы пущают...» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей — га-азы...

Мужики, забыв про бабу, обступили его,—он вдруг почувствовал себя большим ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать», до тех пор опровергал и высмеивал россказни дезертиров, пока окончательно не расходил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу, между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял другого,— их естественный порядок напом-

нил ему, как сам он только что сорганизовал мужиков; напоминание это было приятно.

У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.

— Катись колбаской!..— проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной — вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц — гораздо важнее того, что произошло в госпитале.

— Михрютка,— сказал он жеребцу и взял его за холку.— Надоело мне все, браток, до бузовой матери...— Мишка мотнул головой и фыркнул.

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение «наплевать на все» и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.

На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров — они были безоружны и под охраной, Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.

— Иван Филимонов...— лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.

— Как?..— грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов; на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)

— Филимонов?.. Отчество!..

— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.

Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке не-

обыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот,— величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит наскрозь» и обмануть его почти невозможно; когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недомогание.

— А ты все в бумагах возишься, как мыша,— сказал он наконец.— Отвез я пакет в полной исправности.

— Ответа нет?

— Не-ету...

— Ладно,— Левинсон отложил карту и встал.

— Слушай, Левинсон...— начал Морозка.— У меня просьба к тебе... Сполнишь — вечным другом будешь, правда...

— Вечным другом? — с улыбкой переспросил Левинсон.— Ну, говори, что там за просьба.

— Пусти меня во взвод...

— Во взво-од?.. С чего это тебе приспичило?

— Да долго рассказывать — очертело мне, поверь совести... Точно и не партизан я, а так...— Морозка махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дела.

— А кто же ординарцем?

— Да Ефимку можно приспособить,— уцепился Морозка.— Ох, и ездок, скажу тебе,— в старой армии призы брал!

— Так, говоришь, вечным другом? — снова переспросил Левинсон таким тоном, точно это соображение могло иметь как раз решающее значение.

— Да ты не смейся, холера чертова!..— не выдержал Морозка.— К нему с делом, а он хаханьки.

— А ты не горячись. Горячиться вредно... Скажешь Дубову, чтоб прислал Ефимку, и... можешь отправляться.

— Вот эт-то удружил, вот удружил!..— обрадовался Морозка.— Вот поставил марку... Левинсон... эт-то н-номер!..— Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею об пол.

Левинсон поднял фуражку и сказал:

— Дура...

...Морозка приехал во взвод — уже стемнело. Он

застал в избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете ночника разбирал наган.

— А-а, нечистая кровь...— пробасил он из-под усов. Увидев сверток в руках Морозки, удивился.— Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли?

— Шабаш! — закричал Морозка.— Отставка!.. Перо в зад, без пенсии... Снаряжай Ефимку — командир приказывает...

— Видно, ты удружил? — едко спросил Ефимка, сухой и желчный парень, заросший лишаями.

— Вали, вали — там разберемся... Одним словом — с повышением, Ефим Семенович!.. Магарыч с вас...

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла.

— Калека, вертило немазаное! — выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища.

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся — ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому не известные слова и выражения: все здесь он принимал как должное.

— Да... пора, пора уж...— говорил Дубов.— Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабел вовсе — заржавел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам...

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову.

Морозка старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: «А как жинка твоя поживает?...»

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... Глухо, нестрашно кричали в забоке сычи, в тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши; у берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь...» — думал Морозка и ласково подсвистывал жеребцу.

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух письма с рудника, а ложась спать, назна-

чил Морозку дневальным «по случаю возвращения в Тимофеево лоно».

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком.

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок.

— Что? что? — спросил испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок — услышал, вернее, почувствовал, отдаленный выстрел, через некоторое время другой.

У кровати стоял Морозка, кричал:

— Вставай скорей! Стреляют за рекой!..

Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками.

— Буди ребят,— распорядился Дубов,— сейчас же крой по всем халупам... Скоро!..

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось — безветренно-холодное. По мглистым, нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за другим — взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали.

— В ружье!.. по коням! — командовал Дубов.— Митрий, Сеня... Бежите по хатам, будите людей... Скоро!..

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно.

— Завязывай...— сказал кто-то упавшим в дрожи голосом.

Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота:

— Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!..— Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез.

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома: с вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная — выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело,— ругаясь в бога и священный синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взво-

дом, а он все не мог найти людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков.

Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали.

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз,— многие, спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левинсона — тот стоял возле освещенных факелом бревен и спокойно разговаривал с Метелицей.

— Что ж ты так поздно? — набросился Бакланов.— А говоришь еще: «Мы-ы... шахте-еры...» — Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хула та не будет достойной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место: в глубине души Дубов полагал, что звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и Сучанский рудник, и все шахтерское племя по крайней мере до седьмого колена.

Изругавшись вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшихся из-за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стреляли они «в белый свет, как в копейку», по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему стало еще горше от сознания, что он не оправдал доверия командира, не стал примером для других.

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же недостает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью — «могут ли его уважать, если он та-

кой подлец и свинья»,— и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы сменить Кубрака с должности, а его некем было заменить.

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы.

— Товарищи...— начал Левинсон, и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца.— Мы уходим отсюда... куда — этого не стоит сейчас говорить. Японские силы — хотя их не нужно преувеличивать — все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь передушили б нас, как цыплят!.. Срам!..— Левинсон быстро перегнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох цыпленком, которого душат в темноте неумолимые, железные пальцы.

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:

— Прравильно... Все ето... прравильно...— Крутнул квадратной головой и громко икнул.

Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: «Вот, например, Дубов — он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех,— срам!..» Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал:

— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыткий...— вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-ирно... справа по три... а-а-арш!..

Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте ры-

ба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.

IX. МЕЧИК В ОТРЯДЕ

Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие.

— Он, Левинсон-то, смекалистый,— говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину.— Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. и поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!..— Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще и из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому хороших качеств.

В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.

Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» — но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.

До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.

За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам,— Варя ни одному не могла сказать: «желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти слова. Ей казалось, что только он — такой красивый, скромный и нежный — способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.

И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.

В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.

— Давай уж хоть простимся как следует,— сказала, зардевшись от бега и смущения.— Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась,— и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.

Ее смущение и подарок так не вязались с ней,— Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.

— Смотри же, наезжай!..— крикнула она, когда они уже скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.

Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось,

что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.

Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим про́торям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись,— Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленный своим видом, Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.

Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда.

В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве,— закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках,— позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.

— Вот он, Левинсон-то,— сказал Пика.

— Где?

— Да вон — рыжий...— Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.

— Глянь, ребята,— Пика!..

— Пика и есть...

— Приплелся, черт лысый!..

Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная — подойти или ждать, пока позовут.

— Кто это с тобой? — спросил наконец Левинсон.

— А парень один с госпиталя... ха-роший парень!..

— Раненый это, что Морозка привез,— вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.

У маленького человека, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза,— они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.

— Вот пришел к вам в отряд,— начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть.— Раньше был у Шалдыбы... до ранения,— добавил для вескости.

— А у Шалдыбы с каких пор?

— С июня — так, с середины...

Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.

— Стрелять умеешь?

— Умею...— неуверенно сказал Мечик.

— Ефимка... Принеси драгунку...

Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.

— Ну вот... Во что бы тебе выстрелить? — Левинсон поискал глазами.

— В крест! — радостно предложил кто-то.

— Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на столб, вон туда...

Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).

— Левой рукой поближе возьми — легше так,— посоветовал кто-то.

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела — тут он все-таки зажмурился — успел заметить, как городок слетел со столба.

— Умеешь...— засмеялся Левинсон.— С лошадью обращаться приходилось?

— Нет,— сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.

— Жаль,— сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль.— Бакланов, дашь ему Зючиху,— он лукаво прищурился.— Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит... В какой взвод мы его направим?

— Я думаю, к Кубраку — у него недостача,— сказал Бакланов.— Вместе с Пикой будут.

— И то...— согласился Левинсон.— Вали.

...Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это была слезливая скорбная кобыла, грязно-белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом — покорная крестьянская лошадка, испахавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.

— Это мне, да?..— спросил Мечик упавшим голосом.

— Лошадь неказистая,— сказал Кубрак, хлопнув ее по заду.— Копыта у ее слабые — не то, сказать, от воспитания, не то от болезненного отношения... Ездить, однако, можно...— Он повернул к Мечику квадратную в седоватом ежике голову и повторил с тупой убежденностью: — Можно ездить...

— Разве других у вас нет? — спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить.

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых опасностей и болезней.

— Вернулся с походу — сразу не расседлывай,— поучал взводный,— пущай постоит, остынет. А как только расседлал, вытри ей спину ладошкой или сеном, и перед тем как седлать, тоже вытирай...

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала. Послед-

нее время всякий свой поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни, которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отвратительной лошадью: никто не будет видеть, что он уже совсем другой, сильный, уверенный в себе человек, а будут думать, что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверить даже хорошей лошади.

— У кобылы у етой, помимо протчего — ящур...— неубедительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик обижен и доходят ли слова по назначению.— Лечить бы его надо купоросом, одначе купоросу у нас нету. Ящур лечим мы куриным пометом — средство тоже очень искреннее. Наложить надо на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздкой — очень помогаить...

«Что я — мальчишка, что ли? — думал Мечик, не слушая взводного.— Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не желаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает...»

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений. Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных.

— Да где он, холера, новенький этот?.. Чего кобылу свою не вяжет!..— кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети.— Пошла, пошла-а, стерва!.. Дневальный, убери кобылу, ну ее к...

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колючий кустарник, шагал по темным дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку — хриплая гармонь исходила «саратовской», пыхали цигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшед-

шем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной.

Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула из-за угла одинокая фигура.

— Товарищ! Где пройти к штабу? — окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку.— Здравствуйте...— сказал с сильным смущением.

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук...

— Второй двор направо,— ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь...

«Морозка... да... ведь он здесь...» — подумал Мечик и, как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями, в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться.

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить.

Человек двадцать партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напоминал Мечику гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади,— никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьей и удалой парень, легко ходивший по земле, ловко надувавший попа из-за ласковых милостей попадьи. Мечику казалось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешные на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать; смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренне. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо-спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие.

Глядя на него, Мечику невольно захотелось рас-

сказать самому — в сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их,— но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко.

Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть,— думал Мечик, обидчиво поджимая губы,— все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоет, а я не боюсь...»

В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, предоставляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, непоеная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал всеобщую нелюбовь, как «лодырь и задавала».

Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки — Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что больше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Мечик, после ссоры с отделенным из-за нечищеной винтовки, лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами:

— Рассердились?.. Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?

— Я не сержусь,— сказал Мечик со вздохом.

— Значит, скучаете? Это другое дело, это я могу понять...— Чиж опустился на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо смазанные сапоги.— Что ж, знаете, и мне скучно — интеллигентных людей тут мало. Разве только Левинсон, да он тоже...— Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги.

— А что?..— спросил Мечик с любопытством.

— Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек. Просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет. Не верите? — Чиж горько улыб-

нулся.— Ну, да! Вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец.— Слово «полководец» он произнес с особым смаком.— Бросьте!.. Все это мы сами сочинили. Я вас уверяю... Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода: вместо того чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений! Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас — стратегические соображения...— Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно.

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды.

— Неужели это верно? — сказал он, приподымаясь.— А он показался мне очень порядочным человеком.

— Порядочным?! — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства.— Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек — я ранен семью пулями и оглушен снарядом,— я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но во всяком случае я был бы не хуже его — скажу не хвалясь...

— Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?

— Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..

Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни — все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.

И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.

X. НАЧАЛО РАЗГРОМА

Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.

— Иду сейчас проулком,— сказал он Дубову,— только из-за угла выскочил, а прямо на меня — парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?

— Ну?..

— Да ничего... «Где,— говорит,— к штабу тут пройти?..» — «А вон,— говорю,— второй дом направо...»

— И что же? — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.

— Ну, встретил — и все!.. Что же еще? — ответил Морозка с непонятным раздражением.

Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечорку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.

Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.

— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному.— Сгниешь тут от скуки... О чем там Левинсон думает?..

— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.

Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных пе-

реживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.

Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки»[1]. Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.

— Ну, Бакланыч, теперь держись...— сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив сколько могут поднять заводные лошади.

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались

---

[1] Щеки — ущелье.

новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

— Как же так? — холодно переспрашивал Левинсон.— Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине,— что же они, назад идут?..

— Н-не знаю,— заикался разведчик.— Может, то передовые были в Соломенной...

— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

— Мужики сказывали...

— Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобней будет вернуться. «Ты бы сам сунулся»,— думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

— Придется тебе самому съездить,— сказал Левинсон Бакланову.— Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

— А кого взять? — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

— Возьми, кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубрака,— Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может, и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них

в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле — легкая зябь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

— Эк у тебя кобыла опаршивела,— говорил Бакланов.— Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? — Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния.— Не показал, да?

— Да как сказать...— смутился Мечик.— Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.

Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимания от пустяков, затем следовали практические выводы.

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем...

Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

После нескольких верст Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и силь-

ный человек и что он, Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

— В сопки тебя кто направил?

— Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

— Максималисты?.. Зря ты с ними путаешься — трепачи...

— Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

— Гимназию-то кончил? — перебил Бакланов.

— Что? Да, кончил...

— Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал,— пояснил он, точно оправдываясь.— До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

— Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось.

Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими платками, от жирных суслонов ложились тени,

спокойно-густые и мягкие. У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

— С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слыхать... Хоть бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал.

— Значит, они и впрямь в Монакине,— сказал Бакланов.— Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе — с пучком сена, привязанным к шесту, и подводой у ворот — напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба. И вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом:

— А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идетя?.. Агромяту-ущая сила гапонцив биля школы!.. Сюда идуть, а текайте ж, сюда идуть!..

Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил — почти в упор — в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки, и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли.

— Бежим!..— крикнул Бакланов.— К подводе!..

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то и дело оглядываясь на-

зад,— нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

— Здесь они... все-е!.. — кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением.— Все-е... Гла-авные!.. Слышишь, играют?..

Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал дикую радость избавления и то, как в горячей пыли корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

— Ловко получилось! Да? Они в село и мы — разом. А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил!..

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

— Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить.

— Зачем?..— сказал Мечик прерывающимся голосом.— Поедем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные...— Он заставил себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

— Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят? — подумал Бакланов с тайной дрожью.— Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда (приехали они ночью) выставил уси-

ленное охранение — спешенный взвод Кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, за валом старой монгольской крепостцы. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом.

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стонал во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды; они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту же пустоту, еще мрачней и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно-опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер!..» — с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой: «Ребята... шкодят...» Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно...» — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мягкой. Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился,— сказал он ласково.— Я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертывая шинели; Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль, все лезли к нему и спрашивали:

— Где?.. Где?..

Мечик, нащупав наконец винтовку, вылез на гребень и понял, что речь идет о неприятеле, но, не видя его, тоже стал спрашивать:

— Где?..

— Чего сгрудились? — зашипел вдруг взводный и сильно толкнул кого-то.— Раскладывайся цепью!..

Пока расползались по валу, Мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля.

— Да где он?..— несколько раз спросил у соседа. Тот, лежа на животе и не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисла. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться — послышалась команда:

— Взво-од...

Он высунул винтовку и, по-прежнему ничего не видя и сердясь на то, что все видят, а он нет,— выстрелил наугад при слове «пли». (Он не знал, что добрая половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает это во избежание насмешек в будущем.)

— Пли!..— снова скомандовал Кубрак, и снова Мечик выстрелил.

— Ага-а, текают!..— закричали кругом; все вдруг заговорили громко и бестолково, лица стали веселыми и возбужденными.

— Будя, будя!..— кричал взводный.— Кто там стреляет? Патронов не жалко!..

Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись над Мечиком и хвастали, как слетали с седел японцы, в которых они целились. В это время ударил гулкий орудийный выстрел, заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадали на землю; Мечик тоже съежился, как ушибленный: это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни. Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали.

Через минуту, а может быть, через час — время до боли скрадывалось,— Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу,— они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека и сильно раздувались ноздри.

— Лежишь? — спросил Бакланов, распуская складки на лбу.— Ну как?

Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение над собой, спросил:

— А где наши лошади?..

— Лошади наши в тайге, скоро и мы там будем, только бы задержать немножко... Нам-то ничего,—

добавил он, видно, желая подбодрить Мечика,— а вот Дубова взвод на равнине. А, черт!..— выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва.— Левинсон тоже там...— И побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками.

Следующий раз, когда пришлось стрелять, Мечик уже видел японцев: они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Мечику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если придется. То, что он испытывал, было не страх, а мучительное ожидание, когда же все кончится. В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул Кубрак и закричал:

— Куда ты палишь?..

Мечик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к Пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и, как-то нелепо, над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же Пика не поднял головы.

Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Мечик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствуя даже в момент самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно и что целый ряд людей, не испытывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю и, когда очнулся в селе,— теперь они шли шагом, длинной цепочкой,— невольно стал отыскивать глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой? Впереди шагал Левинсон, но выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силой. Пока Мечик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули; казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах. Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал, что, если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики.

Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя.

Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их покойными, обомшелыми лапами.

XI. СТРАДА

Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху.

— Это что такое?

— А что? — пробормотал Мечик.

— А ну, расседлай, покажи спину...

Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу.

— Ну да, конечно... сбита спина,— сказал Левинсон таким тоном, словно и не ожидал ничего хорошего.— Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать — дядя?..

Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом, он сильно устал, борода его вздрагивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку.

— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?..

Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Мечик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно:

— Ему, дураку, сколько раз говорено...

— Я так и знал! — Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на Мечика, был холоден и строг.— Пойдешь к начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вылечишь...

— Слушайте, товарищ Левинсон...— забормотал Мечик голосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не оттого, что скверно ухаживал за лошадью, а оттого, что как-то нелепо и унизительно дер-

жал в руках тяжелое седло.— Я не виноват... Выслушайте меня... постойте... Теперь вы можете мне поверить... Я буду хорошо с ней обращаться...

Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади.

Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крошка хлеба, овса добывалась с боем, вновь и вновь растравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей.

Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной, мелочной суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их думать о ней больше, чем о том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным.

Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут завтра убить, или я сдохну с голода, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно...»

И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром... И чем меньше становилось этих проводов, тем труд-

нее было ему убеждать,— он превращался в силу, стоящую над отрядом.

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду, гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь сползал с берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину. Однажды Левинсон заметил это.

— Обожди...— сказал он Лаврушке.— Почему ты сам не слазишь? — спросил у кривого, словно ущемленного с одной стороны дверью, парня, загонявшего Лаврушку пинками.

Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и неожиданно сказал:

— Слазь сам, попробуй...

— Я-то не полезу,— спокойно ответил Левинсон,— у меня и других дел много, а вот тебе придется. Снимай, снимай штаны... Вон уж и рыба уплывает.

— Пущай уплывает... а я тоже не рыжий...— Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона.

— Ну и морока с таким народом...— начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно-громкого оклика командира.

— Вернись... — В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы.

Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться перед другими, сказал снова:

— Сказано, не полезу...

Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него глаз, ушедших вовнутрь, и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны.

— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой.

Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопился, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой случайности и убьет его, забормотал скороговоркой:

— Сейчас, сейчас... зацепилось вот... а, черт!.. Сейчас, сейчас...

Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и только: сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над отрядом. Но он готов был идти и на это: он был убежден, что сила его правильная.

С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля и огороды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рябцова баштана.

После многоверстного перехода через Удегинский отрог, во время которого отряд питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую падь, к одинокой корейской фанзушке в двадцати верстах от устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки, с ржавым смитом у пояса. Левинсон признал даубихинского спиртоноса Стыркшу.

— Ага, Левинсон!..— приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза.— Жив еще? Хорошее дело... А тут тебя ищут.

— Кто ищет?

— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен?

— Авось не найдут... Жрать тут будет нам?

— Может, и найдут,— загадочно сказал Стыркша.— Они тоже не дураки,— голова-то твоя в цене... На сходах, вон, приказ читают: за поимку живого или мертвого — награда.

— Ого!.. и дорого дают?..

— Пятьсот рублей сибирками.

— Дешевка! — усмехнулся Левинсон.— Пожрать-то, я говорю, будет нам?

— Черта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них пудов на десять, так они на нее молятся — мясо на всю зиму.

Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся седоватый кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему,

что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:

— Не надо куши-куши... Не надо...

— Стреляйте, все равно...— махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него.

Кореец тоже сморщился и заплакал. Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание.

Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко»,— снова думал он и глубже зарывался в солому.

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден.

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу, к госпиталю.

Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце после невероятного напряжения билось медленно-медленно, казалось — оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать, он опустил голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся... Никто не заметил, как он спал. Все видели перед собой его привычную, чуть согнутую спину. А разве мог подумать кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать?.. «Да... хватит ли сил у меня?» — подумал Левинсон, и вышло это так, словно спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях.

— Ну вот... скоро и жинку свою увидишь,— сказал Морозке Дубов, когда они подъезжали к госпиталю.

Морозка промолчал. Он считал, что дело это кончено, хотя ему все дни хотелось повидать Варю. Обманывая себя, он принимал свое желание за естественное любопытство постороннего наблюдателя: «Как это у них получится».

Но когда он увидел ее — Варя, Сташинский и Харченко стояли возле барака, смеясь и протягивая руки,— все в нем перевернулось. Не задерживаясь, он вместе со взводом проехал под клены и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги.

Варя, отыскивая Мечика, бегло отвечала на приветствия, улыбалась всем смущенно и рассеянно. Мечик встретился с ней глазами, кивнул и, покраснев, опустил голову: он боялся, что она сразу подбежит к нему и все догадаются, что тут что-то неладно. Но она из внутреннего такта не подала виду, что рада ему.

Он наскоро привязал Зючиху и улизнул в чащу. Пройдя несколько шагов, наткнулся на Пику. Тот лежал возле своей лошади; взгляд его, сосредоточенный в себе, был влажен и пуст.

— Садись...— сказал устало.

Мечик опустился рядом.

— Куда мы пойдем теперь?..

Мечик не ответил.

— Я бы сичас рыбу ловил...— задумчиво сказал Пика.— На пасеке... Рыба сичас книзу идет... Устроил бы водопад и ловил... Тольки подбирай.— Он помолчал и добавил грустно: — Да ведь нет пасеки-то... нет! А то б хорошо было... Тихо там, и пчела теперь тихая...

Вдруг он приподнялся на локте и, коснувшись Мечика, заговорил дрожащим, в тоске и боли, голосом:

— Слухай, Павлуша... слухай, мальчик ты мой, Павлуша!.. Ну разве ж нет такого места, нет, а? Ну как же жить будем, как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша?.. Ведь никого у меня... сам я... один... старик... помирать скоро...— Не находя слов, он беспомощно глотал воздух и судорожно цеплялся за траву свободной рукой.

Мечик не смотрел на него, даже не слушал, но с каждым его словом что-то тихо вздрагивало в нем, словно чьи-то робкие пальцы обрывали в душе с еще живого стебля уже завядшие листья. «Все это кончи-

лось и никогда не вернется...» — думал Мечик, и ему жаль было своих завядших листьев.

— Спать пойду...— сказал он Пике, чтобы как-нибудь отвязаться.— Устал я...

Он зашел глубже в чащу, лег под кусты и забылся в тревожной дремоте... Проснулся внезапно, будто от толчка. Сердце неровно билось, потная рубаха прилипла к телу. За кустом разговаривали двое: Мечик узнал Сташинского и Левинсона. Он осторожно раздвинул ветки и выглянул.

— ...Все равно,— сумрачно говорил Левинсон,— дольше держаться в этом районе немыслимо. Единственный путь — на север в Тудо-Вакскую долину...— Он расстегнул сумку и вынул карту.— Вот... Здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь...

Сташинский глядел не в карту, а куда-то в таежную глубь, точно взвешивая каждую, облитую человеческим потом, версту. Вдруг он быстро замигал глазом и посмотрел на Левинсона.

— А Фролов?.. ты опять забываешь...

— Да — Фролов...— Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль.

— Конечно, я могу остаться с ним...— глухо сказал Сташинский после некоторой паузы.— В сущности, это моя обязанность...

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой.— Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?

— А что ж тогда делать?

— Не знаю...

Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

— Кажется, остается единственное... я уже думал об этом...— Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти.

— Да?..— выжидательно спросил Сташинский.

Мечик, почувствовав недоброе, сильней подался вперед, едва не выдав своего присутствия.

Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это

было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучения.

«Они хотят убить его...» — сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат.

— А как он — плох? Очень?..— несколько раз спросил Левинсон.— Если бы не это... Ну... если бы не мы его... одним словом, есть у него хоть какие-нибудь надежды на выздоровление?

— Надежд никаких... да разве в этом суть?

— Все-таки легче как-то,— сознался Левинсон. Он тут же устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче. Немного помолчав, он сказал тихо: — Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное, он сам... можно так?..

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, до завтра отложим?..

— Чего ж тянуть... все равно...— Левинсон спрятал карту и встал.— Надо ведь — ничего не поделаешь... Ведь надо?..— он невольно искал поддержку у человека, которого сам хотел поддержать.

«Да, надо...» — подумал Сташинский, но не сказал.

— Слушай,— медленно начал Левинсон,— да ты скажи прямо: готов ли ты? Лучше прямо скажи...

— Готов ли я? — сказал Сташинский.— Да, готов.

— Пойдем...— Левинсон тронул его за руку, и оба медленно пошли к бараку.

«Неужели они сделают это?..» Мечик ничком упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он пролежал так неизвестно сколько времени. Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном.

Остывшие, расседланные лошади поворачивали к нему усталые головы; партизаны храпели на прогалине, некоторые варили обед. Мечик поискал Сташинского и, не найдя его, почти побежал к бараку.

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?..— крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами.— Обождите! Я все слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее. Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!..— сказал он зловещим придушенным шепотом.— Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака. Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову.

— Что... что это?..— спросил тот, опасливо косясь на мензурку.

— Это бром, выпей...— настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец...» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивал что-то, и остановился на нетронутом обеде, возле, на табуретке. Это был молочный кисель, он уже остыл, и мухи кружились над ним. Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и, когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане,— сказал он медленно,— передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да?.. Все придут,— повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную — *его, Фролова,*— смерть ее особенного, отдельного, страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойствен-

ным всем людям. Немного подумав, он сказал: — Сынишка там у меня есть на руднике... Федей звать... об нем чтоб вспомнили, когда обернется все,— помочь там чем или как... Да давай, что ли!..— оборвал он вдруг сразу отсыревшим и дрогнувшим голосом.

Кривя побелевшие губы, знобясь и страшно мигая одним глазом, Сташинский поднес мензурку. Фролов поддержал ее обеими руками и выпил...

Мечик, спотыкаясь о валежник и падая, бежал по тайге, не разбирая дороги. Он потерял фуражку, волосы его свисали на глаза, противные и липкие, как паутина, в висках стучало, и с каждым ударом крови он повторял какое-то ненужно-жалкое слово, цепляясь за него, потому что больше не за что было ухватиться. Вдруг он наткнулся на Варю и отскочил, дико блеснув глазами.

— А я-то ищу тебя...— начала она обрадованно и смолкла, испуганная его безумным видом.

Он схватил ее за руку, заговорил быстро, бессвязно.

— Слушай... они его отравили... Фролова... ты знаешь?.. Они его...

— Что?.. отравили?.. молчи!..— крикнула она, вдруг поняв все сразу. И, властно притянув его к себе, зажала ему рот горячей, влажной ладонью.— Молчи!.. не надо... Идем отсюда.

— Куда?.. Ах, пусти!..— он рванулся и оттолкнул ее, лязгнув зубами.

Она снова схватила его за рукав и потащила за собой, повторяя настойчиво:

— Не надо... идем отсюда... увидят... Парень тут какой-то... так и вьется... идем скорее!..

Мечик вырвался еще раз, едва не ударив ее.

— Куда ты?.. постой!..— крикнула она, бросаясь за ним.

В это время из кустов выскочил Чиж,— она метнулась в сторону и, перепрыгнув через ручей, скрылась в ольховнике.

— Что — не далась? — быстро спросил Чиж, подбегая к Мечику.— А ну, может, мне посчастливится!..— Он хлопнул себя по ляжке и кинулся вслед за Варей...

XII. ПУТИ-ДОРОГИ

Морозка с детства привык к тому, что люди, подобные Мечику, подлинные свои чувства — такие же простые и маленькие, как у Морозки,— прикрывают большими и красивыми словами и этим отделяют себя от тех, кто, как Морозка, не умеет вырядить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это *своими* словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непроходимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых крашеных слов и поступков.

Так, в памятном столкновении между Морозкой и Мечиком последний старался показать, что уступает Морозке из благодарности за спасение своей жизни. Мысль, что он подавляет в себе низменные побуждения ради человека, который даже не стоит этого, наполняла его существо приятной и терпеливой грустью. Однако в глубине души он досадовал и на себя и на Морозку, потому что на самом деле он желал Морозке всяческого зла и только сам не мог причинить его — из трусости и оттого, что испытывать терпеливую грусть много красивей и приятней.

Морозка чувствовал, что именно из-за этой красивости, которой нет в нем, в Морозке, Варя предпочла Мечика, считая, что в Мечике это не только внешняя красивость, а подлинная душевная красота. Вот почему, когда Морозка снова увидал Варю, он невольно попал в прежний безвыходный круг мыслей — о ней, о себе, о Мечике.

Он видел, что Варя все время пропадает где-то («наверно, с Мечиком!»), и долго не мог заснуть, хотя старался уверить себя, что ему все безразлично. При каждом шорохе он осторожно приподнимал голову, всматривался в темноту: не покажутся ли две их совестливо крадущиеся фигуры?

Однажды его разбудила какая-то возня. В костре шипели мокрые валежины, и громадные тени плясали по опушке. Окна в бараке то освещались, то гасли — кто-то чиркал спичкой. Потом из барака вышел Харченко, перекинулся словами с кем-то невидным в темноте и пошел меж костров, кого-то разыскивая.

— Кого нужно? — хрипло спросил Морозка. Не расслышав ответа, переспросил: — Что?

— Фролов умер,— глухо сказал Харченко.

Морозка туже натянул шинель и снова заснул.

На рассвете Фролова похоронили, и Морозка в числе других равнодушно закапывал его в могилу.

Когда седлали лошадей, обнаружилось, что исчез Пика. Его маленькая горбоносая лошадка уныло стояла под деревом, всю ночь нерасседланная. Вид ее был жалок. «Сбежал, старость, не выдержал»,— подумал Морозка.

— Да ладно, не ищите,— сказал Левинсон, морщась от боли в боку, мучившей его с утра.— Лошадь не забудьте... Нет, нет, не навьючивать!.. Начхоз где? Готово?.. По коням!..— Он сильно вздохнул и, сморщившись опять, грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое, отчего сам стал большим и тяжелым, поднялся в седло.

Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату. Хотя в последнее время старик не вызывал в нем ничего, кроме тоски и нудных воспоминаний, все же осталось такое ощущение, точно вместе с Пикой ушла какая-то часть его самого.

Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное, голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились с шумом тяжелые валуны.

Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы. А зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыхание какого-то огромного, вечно живого тела.

Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка, посланный незадолго до обеденного отдыха к Кубраку с распоряжением: «Подтянуть хвост, чтобы кто-нибудь не откусил».

Ефимка с трудом проехал по цепи, изодрал штаны о колючий кустарник и поругался с Кубраком: взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой «щербатый нос». Между прочим, Ефимка заметил, что Морозка с Варей едут

далеко друг от друга и что вчера их тоже не видно было вместе.

На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:

— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?

Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:

— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее...

— Бро-осил!..— Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно раздумывая, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и Варей тоже не было прочной семейной связи.

— Ну что ж — и так бывает,— сказал он наконец,— тоись, я говорю, как кому повезет... Но-о, кобылка!..— Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним.

«Эх, жистянка... н-ну!..» — подумал Морозка с каким-то, из последних сил, отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им — едут себе, и никаких,— думал он с завистью.— А чего им тужить на самом деле? Хотя б Левинсону?.. Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю... Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться с телом,— Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.

Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу,— все эти мысли приобрели

теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот, которые он пролил, и даже все его «беспечное» озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.

Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, ясной и правильной, дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов (и даже Ефимка, казалось, ехал теперь по той же дороге), но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — таких, как Мечик, в первую голову.

После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку.

— Что я скажу тебе, а что я тебе скажу...— забормотал он мигающей скороговоркой.— Вот язви ее в копыта, в копыта, право слово, Варьку-то, Варьку... У меня, брат, ню-ух по этой части!..

— Что?.. По какой части? — грубо спросил Морозка, подняв голову.

— Насчет баб, очень я баб понимаю,— пояснил парень, немного смутившись.— Хоть и нет еще ничего, нет ничего, да меня, брат, не проведешь — нет, брат, не проведешь... Глазами она за им так и ширяет, так и ширяет.

— А он что?..— возбужденно краснея, спросил Морозка, поняв, что речь идет о Мечике, и забыв, что он должен делать вид, будто ничего не знает.

— А что ж он? Он ничего...— сказал парень каким-то неискренним, оглядывающимся голосом, точно все, о чем он говорил, неважно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи.

— Ну и хрен с ними! Мое какое дело? — Морозка фыркнул.— Может, и ты с ней спал — я почем знаю,— добавил он с презрением и обидой.

— Вот тебе!.. Да я вить...

— Пошел, пошел к федькиной матери!..— внезапно раздражаясь, закричал Морозка.— На кой ты загнулся с нюхом своим! Пошел, н-ну!..— и он вдруг с силой ударил парня ногой по заду.

Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши.

— Ах ты, с-су...— выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку.

Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой рысцой.

— Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом с твоим!.. Я тебе...— рычал Морозка, сбоку суя кулаком и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться.

— Ну, ребятишки! — сказал над ними чей-то удивленный голос.— Вот они что делают...

Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозка, отлетев, ударился спиной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду.

— Давай руку, подсоблю...— без насмешки сказал Гончаренко.— Удумали тоже!

— Да как же он, стерва... гадов таких... убивать мало!..— кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась.

— Нет, ты скажи, нет, ты скажи,— повторял он, чуть не плача,— значит, всякому так: захотел — и в зад, захотел — и в зад?..— Заметив, что к месту происшествия стекается народ, он пронзительно закри-

чал: — Рази виноват, виноват кто, что жена, жена у его...

Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше за Морозкину судьбу (если о скандале узнает Левинсон), бросил визжащего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой.

— Идем, идем,— строго говорил он упиравшемуся Морозке.— Вот вышибут тебя, сукиного сына...

Морозка, поняв наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться.

— Что, что там случилось? — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы.

— Медведя поймали,— спокойно сказал Гончаренко.

— Медве-едя?..— немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя.

Морозка впервые с любопытством посмотрел на Гончаренку и улыбнулся.

— Здоровый ты, холера,— сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение оттого, что Гончаренко здоровый.

— За что ты его? — спросил подрывник.

— Да как же... гадов таких!..— снова заволновался Морозка.— Да его б надо...

— Ну-ну,— успокоительно перебил Гончаренко,— за дело, значит?.. Ну-ну...

— Собира-айсь!..— кричал где-то Бакланов звонким, срывающимся с мужского на мальчишеский голосом.

В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зелено-карим глазом и тихо заржал.

— Эх!..— вырвалось у Морозки.

— Ладный конек...

— Жизни не жалко! — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее.

— Жизнью ты лучше не кидайся — сгодится...— Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду.— Мне еще коня поить, гуляй себе,— и он крепким, размашистым шагом пошел к своей лошади.

Морозка снова с любопытством проводил его гла-

зами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека.

Потом, когда становились взводы, он, сам того не замечая, пристроился рядом с Гончаренкой и уж всю дорогу до Хаунихедзы не расставался с ним.

Варя, Сташинский и Харченко, зачисленные во взвод Кубрака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой: впереди, согнувшись, ехал Левинсон; за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов.

Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему.

Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные — о которых никому нельзя рассказывать,— но вместе с тем такие живые, земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке — в шагреневой рубахе, красивый, стройный, белокурый, немножко робеющий,— она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный, влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним, ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущие отношения с Мечиком такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение.

Столкнувшись с Мечиком, она, по свойственной ей чуткости к людям, поняла, что он слишком расстроен и возбужден, чтобы следить за своими поступками, и что расстроившие его события много важнее всяких ее личных обид. Но именно потому, что раньше эта встреча представлялась ей по-иному, нечаянная грубость Мечика оскорбила и напугала ее.

Варя впервые почувствовала, что грубость эта не случайна, что Мечик, может быть, совсем не тот, кого ждала она долгие дни и ночи, но что нет у нее никого другого.

У нее не хватило мужества сразу сознаться в этом: не так легко было выбросить все, чем долгие дни и ночи она жила — страдала, наслаждалась,— ощутить в душе внезапную, ничем не заполнимую пустоту. И она заставляла себя думать так, будто ничего особенного не случилось, будто все дело в неудачной смерти Фролова, будто все пойдет еще по-хорошему, но вместо того с самого утра думала только о том, как Мечик обидел ее и как он не имел права обижать ее, когда она подошла к нему со своими мечтами и со своей любовью.

Весь день она испытывала мучительное желание увидеть Мечика и поговорить с ним, но ни разу не оглянулась и даже во время обеденного отдыха не подошла к нему. «Что я буду бегать за ним, как девочка? — думала она.— Ежели он вправду любит меня, как говорил, пущай подойдет первый, я ни словом не попрекну его. А ежели не подойдет, все равно — одна останусь... так ничего и не будет».

На главном становике тропа пошла шире, и рядом с Варей пристроился Чиж. Вчера ему не удалось поймать ее, но он был настойчив в таких делах и не терял надежды. Она чувствовала прикосновение его ноги, он дышал ей на ухо какие-то стыдные слова, но, погруженная в свои мысли, она не слушала его.

— Ну как же вы, а? — приставал Чиж (он говорил «вы» всем лицам женского пола, независимо от их возраста, положения и отношения к нему).— Согласны — нет?..

«...Я все понимаю, разве я требую от него что-нибудь? — думала Варя.— Но неужто ему трудно было уважить меня?.. А может, он сам теперь страдает — думает, я на него в обиде. Что, ежели поговорить с ним? Как?! после того, как он прогнал меня?.. Нет, нет, и пущай ничего не будет...»

— Да что вы, милая, оглохли, что ли? Согласны, говорю?

— Чего согласны? — очнулась Варя.— Да ну тебя ко всем!

— Здравствуйте вам...— Чиж обиженно развел руками.— Да что вы, милая, представляетесь, будто в первый раз или маленькая.— Он принялся снова терпеливо нашептывать ей на ухо, убежденный, что

она слышит и понимает его, но ломается, чтобы по бабьей привычке набить себе цену.

Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долины, а Мечик все не подъезжал к Варе и, как видно, не собирался. И чем больше она убеждалась в том, что он так и не подъедет к ней, тем сильнее она чувствовала бесплодную тоску и горечь прежних своих мечтаний и тем труднее ей было расстаться с ними.

Отряд спускался в балку на ночлег, в сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.

— Так вы не забудьте, миленькая,— с ласковой наглой настойчивостью проговорил Чиж.— Да, огонек я в сторонке разложу. Имейте это в виду...— Немного погодя он кричал кому-то: — То есть как — «куда лезешь»? А ты чего стал на дороге?

— А ты чего в чужой взвод прешься?

— Как чужой? Разуй глаза!..

После короткого молчания, во время которого оба, очевидно, разували глаза, спрашивавший заговорил виноватым, съехавшим голосом:

— Тьфу, и правда «кубраки»... А Метелица где? — И, как бы вполне загладив виноватым голосом свою ошибку, он снова натужно закричал: — Мете-елица!

А внизу кто-то, до того раздраженный, что, казалось, не исполни его требования — он или покончит с собой, или начнет убивать других, вопил:

— Огня-а давай!.. Огня-а-а дава-ай!..

Вдруг на самом дне балки полыхнуло бесшумное зарево костра и вырвало из темноты мохнатые конские головы, усталые лица людей в холодном блеске патронташей и винтовок.

Сташинский, Варя и Харченко отъехали в сторону и тоже спешились.

— Ничего, теперь отдохнем, ог-гонек запалим! — с нарочитой и никого не веселящей бодростью говорил Харченко.— Ну-ка, за хворостом!..

— ...Всегда вот так — вовремя не остановимся, а потом страдаем,— рассуждал он тем же малоутешительным тоном, шаря руками в мокрой траве и действительно страдая — от сырости, от темноты, от боязни, что его укусит змея, и от угрюмого молчания Сташинского.— Помню, вот тоже с Сучана шли—давно б уж заночевать пора, хоть глаз выколи, а мы...

«И зачем он говорит все это? — думала Варя.— Сучан... куда-то они шли... глаза выколи... Ну кому все это нужно теперь? Ведь все, все уже кончилось, и ничего не будет». Ей хотелось есть, и от этого както усиливалось другое ощущение — немой и сдавленной пустоты, которую она теперь ничем не могла заполнить. Она едва не расплакалась.

Однако, поев и отогревшись, все трое повеселели, и окружавший их темно-синий, чужой и холодный мир показался уже своим, уютным и теплым.

— Эх, шинель ты моя, шинель,— сытым голосом говорил Харченко, развертывая скатку.— На огне не горит и в воде не тонет. Вот бы мне бабу сюда!..— Он подмигнул и рассмеялся.

«И чего взъелась на него? — думала Варя, чувствуя, как от веселого костра, от съеденной каши, от домашних разговоров Харченки к ней возвращаются обычная ее мягкость и доброта.— И ничего ведь не было, с чего я так расстроилась? И парень сидит да скучает из-за моей дурости... А ведь стоит только пойти к нему, и все, все пойдет, как сначала...»

И ей вдруг так не захотелось носить в себе что-то обидное и злое и страдать от этого, когда всем вокруг так хорошо и бездумно и когда ей тоже может быть бездумно-хорошо, что она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику, и не было уже в этом ничего зазорного для нее или плохого.

«Мне ничего, ничего не нужно,— думала она, сразу повеселев,— лишь бы он только хотел и любил меня, лишь бы он возле был... нет, я бы все отдала, ежели бы он всегда ездил, говорил, спал со мною, такой красивый и молоденький...»

Мечик и Чиж развели отдельный костер на отлете. Они поленились сварить себе ужин, пожарили над огнем сало и, так как налегали на него больше, чем на хлеб, истратив все, оба сидели голодные.

Мечик еще не пришел в себя после смерти Фролова и исчезновения Пики. Весь день он будто плыл в тумане, сотканном из чужих и строгих, отделяющих его от остальных людей мыслей об одиночестве и смерти. К вечеру эта пелена спала, но он никого не хотел видеть и всех боялся.

Варя с трудом отыскала их костер. Вся балка жила в таких же кострах и дымных песнях.

— Вот вы куда запрятались? — сказала она, выходя из кустов с бьющимся сердцем.— Здравствуйте.

Мечик вздрогнул и, чуждо-испуганно посмотрев на нее, отвернулся к огню.

— А-а!..— приятно осклабился Чиж...— Вас только и не хватало. Садитесь, милая, садитесь...

Он засуетился, распахнул шинель и показал ей место рядом. Но она не села с ним. Его обычная пошлость — качество, которое она сразу почувствовала в нем, хотя и не знала, что это такое,— теперь особенно неприятно резнула ее.

— Пришла проведать тебя, а то ты нас совсем забыл,— заговорила она певучим, волнующимся голосом, обращаясь к Мечику и не скрывая, что пришла исключительно из-за него.— Там уж и Харченко справлялся, как, мол, здоровье, шибко, мол, раненый парень был, а теперь будто и ничего, о себе уж я не говорю...

Мечик молча пожал плечами.

— Скажите, живем прекрасно,— что за вопрос! — воскликнул Чиж, охотно принимая все на себя.— Да вы садитесь рядом, чего стесняетесь?

— Ничего, я не надолго,— сказала она,— так только, проходом...— Ей стало вдруг обидно, что она пришла из-за Мечика, а он пожимает плечами. Она добавила: — А вы, видать, ничего и не кушали — котелок чистый...

— Чего там не кушали? Если бы продукты хорошие давали, а то черт знает что!..— Чиж брезгливо поморщился.— Да вы садитесь рядом! — с отчаянным радушием повторил он снова и, схватив ее за руку, притянул к себе.— Садитесь же!..

Она опустилась возле на шинель.

— Уговор-то наш помните? — Чиж интимно подмигнул.

— Какой уговор? — спросила она, с испугом припоминая что-то. «Ах, не надо, не надо было приходить»,— вдруг подумала она, и что-то большое и тревожное оборвалось в ней.

— То есть как — какой?.. А вот обождите...— Чиж быстро перегнулся к Мечику.— Хоть в обществе секретов и не полагается,— сказал он, обняв его за плечо и оборачиваясь к ней,— но...

— Какие там секреты?..— сказала она с неестественной улыбкой и, быстро мигая, начала зачем-то поправлять волосы дрожащими, непослушными пальцами.

— Какого ты черта сидишь, как тюлень? — быстро зашептал Чиж на ухо Мечику.— Тут все уже сговорено, а ты...

Мечик отпрянул от Чижа, мельком взглянул на Варю и густо покраснел. «Ну что, дождался? Видишь теперь, что делается»,— с укором сказал ему ее плывучий взгляд.

— Нет-нет, я пойду... нет-нет,— забормотала она, как только Чиж снова повернулся к ней, точно он уже предлагал ей нечто позорное и унизительное.— Нет-нет, я пойду...— Она вскочила и пошла мелким, скорым шагом, низко склонив голову; скрылась в темноте.

— Опять из-за тебя упустил... Раз-зява!..— прошипел Чиж презрительно и злобно. Вдруг он подпрыгнул, подхваченный какой-то стихийной силой, и стремительными скачками, точно его подбрасывал кто-то, помчался вслед за Варей.

Он нагнал ее в нескольких саженях и, крепко обняв, повлек в кусты, приговаривая:

— Ну же, миленькая... ну, девочка...

— Пусти меня... отстань... кричать буду!— просила она, слабея и чуть не плача, но чувствуя, что у нее нет сил кричать и что кричать ей теперь не нужно: незачем и не для кого.

— Ну, миленькая, ну, зачем же! — приговаривал Чиж, зажав ей рот и все больше возбуждаясь от собственной нежности.

«И правда, зачем? Ну, кому это нужно теперь? — подумала она устало.— Но ведь это Чиж... да, но ведь это же Чиж... откуда он, почему он? Ах, не все ли равно...» И ей действительно стало все безразлично.

XIII. ГРУЗ

— Не люблю я их, мужиков, душа не лежит,— говорил Морозка, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка ступал правой передней ногой,

сшибал плетью ярко-желтые листья березок.— Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там у меня — землю пашут. Нет, не лежит душа! Не то, не то — кровь другая: скупые, хитрые они... да что там! — Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по сапогу.— А с чего бы, кажись, хитрить, скупиться? — спросил он, подымая голову.— Ну, ведь ни хрена, ни хре-на же у самих нету, подметай — чисто!..— И он засмеялся будто бы чужим, наивным, жалеющим смешком.

Гончаренко слушал, глядя промеж конских ушей; в серых его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по поводу услышанного.

— А я думаю, каждого из нас колупни,— сказал он вдруг,— из нас,— подчеркнул для большей прочности и посмотрел на Морозку,— меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова — в каждом из нас мужика найдешь... Найдешь,— повторил он убежденно.— Со многими потрохами, разве что только без лаптей...

— Это насчет чего? — оглянулся Дубов.

— А то и с лаптями... Разговор у нас насчет мужика... В каждом, говорю, из нас мужик сидит.

— Ну-у...— усомнился Дубов.

— А как же иначе?.. У Морозки, скажем, дед в деревне, дядья — у тебя...

— У меня, друг, никого,— перебил Дубов,— да и слава богу! Не люблю, признаться, это семя... Хотя Кубрака возьми: ну сам еще Кубрак Кубраком (не с каждого ж ума спросить!), а взвод он набрал? — И Дубов презрительно сплюнул.

Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд спустился к истокам Хаунихедзы. Ехали они по старой зимней дороге, устланной мягким, засыхающим парником. Хотя ни у кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпитале помощником начхоза, все были в приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха.

— Ишь, что делает! — подмигнул Морозка.— Дубов-то наш — старик, а? — И он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взводный согласен с ним, а не с Гончаренкой.

— Нехорошо ты говоришь о народе,— сказал подрывник, нисколько не обескураженный.— Ладно, пущай у тебя никого, не в том дело — у меня теперь тоже никого. Рудник наш возьмем... Ну ты, правда, еще российский, а Морозка? Он окромя своего рудника почти что ничего не видал...

— Как не видал? — обиделся Морозка.— Да я на фронте...

— Пущай, пущай,— замахал на него Дубов,— ну, пущай не видал...

— Так это ж деревня, рудник ваш,— спокойно сказал Гончаренко.— У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, на лето — обратно в деревню... Да у вас там зюбры кричат, как в хлеву!.. Был я на вашем руднике.

— Деревня? — удивился Дубов, не поспевая за Гончаренко.

— А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский; а разве не влияет?.. влияет! — И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, поставленной на ребро.

— Влияет... Конечно...— неуверенно сказал Дубов, раздумывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для «угольного племени».

— Ну вот... Возьмем теперь город; велики ль, сказать, города наши, много ль городов у нас? Раз, два и обчелся... На тысячи верст — сплошная деревня... Влияет, я спрашиваю?

— Обожди, обожди,— растерялся взводный.— На тысячи верст? как сплошная?.. ну да — деревня... ну влияет?

— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужика,— сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов.

— Ловко подвел! — восхитился Морозка, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости.— Заел он тебя, старик, и крыть нечем!

— Это я к тому,— пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться,— что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и Морозке — без мужика нам то-оже...— Он покачал головой и смолк, и, видимо,

все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить.

«Умный, черт,— подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гончаренку и проникаясь все большим уважением к нему.— Так припер старика — никуда не денешься». Морозка знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо,— в частности, Морозка совсем не чувствовал на себе того мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко,— но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо другому. Гончаренко был «свой — в доску», он «мог понимать», он «сознавал», а кроме того, он не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к работе, исполняли ее на первый взгляд медленно, но на самом деле споро — каждое их движение было осмысленно и точно.

И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в дружбе, ступени, о которой партизаны говорят: «Они спят под одной шинелькой», «они едят из одного котелка».

Благодаря ежедневному общению с ним Морозка начинал думать, что сам он, Морозка, тоже исправный партизан: лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приобщался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет места ненужным и праздным мыслям...

— О-ой... стой!..— кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и в то время как передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась.

— Э-э... ут... Метелицу зовут...— снова побежало по цепи. Через несколько секунд, согнувшись по-ястребиному, промчался Метелица, и весь отряд с бессознательной гордостью проводил глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую пастушью посадку.

— Поехать и мне, узнать, что там такое,— сказал Дубов.

Немного погодя он вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого.

— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем,— сказал сдержанно, но в голосе его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки.

— Как так, не евши?! О чем они там думают?! — закричали кругом.

— Отдохнули, называется...

— Вот язви его в свет!..— присоединился Морозка.

Впереди уже спешивались.

Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом.

Всю дорогу мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и он знал уже, что боль эту — следствие усталости и малокровия — можно вылечить только неделями спокойной и сытой жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для него спокойной и сытой жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта «совсем пустяковая болезнь» была у него всегда и потому никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью выполнить.

— А на мое мнение — надо иттить...— не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в четвертый раз повторил Кубрак с тупым упрямством человека, который не желает ничего знать, кроме того, что ему хочется есть.

— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... оставь себе заместителя и иди... А подводить весь отряд нам нет никакого расчета...

Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот неправильный расчет.

— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай,— прибавил он, пропустив мимо ушей новое замечание взводного. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго спросил: — Что?..

Кубрак поднял голову и замигал.

— Вперед по дороге пустишь конный дозор,— продолжал Левинсон с прежней, чуть заметной издевкой в голосе,— а назад на полверсте поставишь пе-

ший караул; лучше всего у ключа, что переезжали. Понятно?

— Понятно,— угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что ему хочется. «Холера двужильная»,— думал он о Левинсоне с бессознательной, прикрытой уважением, неприязнью к нему и жалостью к себе.

Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы. Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом — темная баранья шапка сползла ему на затылок, глаза были задумчиво, широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй детской улыбкой. «Вот ловко!..» — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом выразив то неясное чувство тихого, немножко жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало его в ночи.

И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. Наверно, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному «ночное» в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими, зачарованными глазами... Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего.

Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая, пахучая темь, ноги тонули в чем-то упругом, пахло грибами и гниющим деревом. «Какая жуть!» — подумал он и оглянулся. Позади не было уже ни одного золотистого просвета — лагерь точно провалился вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и нарочито-веселым шагом пошел по тропинке вглубь.

Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы было слышно.

— Кто?.. кто там?..— раздался из темноты срывающийся голос.

Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик, не отзываясь. В сжавшейся тишине лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стараясь достать патрон.

— Почаще смазывать надо,— насмешливо сказал Левинсон.

— Ах, это вы?..— с облегчением вырвалось у Мечика.— Нет, я смазываю... не знаю, что там случилось...— Он смущенно посмотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустил винтовку.

Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги разводящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью.

В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней — всеми силами постарается выполнить ее потому, что это было последнее и единственное, что ему оставалось.

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда.

И прежняя жизнь в городе, казавшаяся раньше такой безрадостной и скучной, теперь, когда он думал о том, что снова сможет вернуться к ней, выглядела такой счастливой и беззаботной и единственно возможной.

Увидев Левинсона, Мечик смутился не столько оттого, что винтовка была не в порядке, сколько оттого, что с этими своими мыслями он был захвачен врасплох.

— Ну и вояка! — сказал Левинсон добродушно.

После улыбающегося дневального ему не хотелось сердиться.— Жутко стоять, да?

— Нет... чего же,— смешался Мечик,— я уж привык...

— А я вот никак не могу привыкнуть,— усмехнулся Левинсон.— Уж сколько один хожу и езжу — днем и ночью,— а все жутко... Ну, как тут, спокойно?

— Спокойно,— сказал Мечик, глядя на него с удивлением и некоторой робостью.

— Ну, ничего, скоро вам легче будет,— отозвался Левинсон как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними.— Только бы на Тудо-Ваку выйти, а там легче... Куришь? Нет?

— Нет, не курю... так, иногда балуюсь,— поспешно добавил Мечик, вспомнив про Варин кисет, хотя Левинсон и не мог знать про существование этого кисета.

— А не скучно без курева?.. «Табак дело», как сказал бы Канунников,— был у нас такой хороший партизан. Не знаю, пробрался ли он в город...

— А зачем он пошел туда? — спросил Мечик, и от какой-то неясной мысли у него забилось сердце.

— Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а там вся наша сводка.

— Так можно ведь и еще послать,— сказал Мечик неестественным голосом, стараясь делать вид, будто нет ничего особенного в его словах.— Не думаете еще послать?

— А что? — насторожился Левинсон.

— Да так... Если думаете — могу я свезти... Мне там все знакомо...

Мечику показалось, что он слишком поторопился и Левинсону теперь все стало ясно.

— Нет, не думаю...— в раздумье протянул Левинсон.— У вас там что? родные?

— Нет, я вообще там работал... то есть у меня есть там родные, но я не потому... нет, вы можете на меня положиться: когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить секретные пакеты.

— А с кем вы работали?

— Работал я с максималистами, но я думал тогда, что это все равно...

— То есть как все равно?

— Да с кем ни работать...

— А теперь?

— А теперь меня как-то с толку сбили,— тихо сказал Мечик, не зная, что же наконец от него требуется.

— Так...— протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется.— Нет, нет, не думаю... не думаю отправлять,— повторил он снова.

— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?..— начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал.— Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь,— я буду с вами совсем откровенным...

«Сейчас я скажу ему все»,— подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.

— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки, а разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен — вы это знаете... Я теперь никому не верю — я знаю, что, если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко бы расправлялись со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..

Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена, слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем безразлично, как отнесется к этому Левинсон.

«Вот тебе и на... ну — каша!..» — думал Левинсон,

все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика.

— Постой,— сказал он наконец, тронув его за рукав, и Мечик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза.— Ты, брат, наговорил — не проворотишь!.. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное... Ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо...

— Да нет же! — воскликнул Мечик: ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все его несправедливо обижают и как он хорошо делает, говоря об этом откровенно, начистоту.— Я хотел сказать...

— Нет, обожди уж, теперь я скажу,— мягко перебил Левинсон.— Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и, если бы мы попали к Колчаку...

— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я...

— Это все равно... Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!..— И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным.

Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия.

— Но что ж с тобой сделаешь,— сказал он наконец с суровой и доброй жалостью,— пеняй тогда сам на себя. А идти тебе некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше подумай как следует, особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать...

— Я только об этом и думаю,— глухо сказал Мечик, и прежняя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его.

— А главное — не считай своих товарищей хуже себя. Они не хуже, нет...— Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску.

Мечик с вялой тоской наблюдал за ним,

— А затвор ты замкни все-таки,— сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во все время их разговора помнил о раскрытом затворе.— Пора бы уж привыкнуть к таким вещам — не дома.— Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода.— Да, как кобыла твоя? Ты все на ней ездишь?

— На ней...

Левинсон подумал.

— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней ездил... А Зючиху начхозу сдашь. Сойдет?

— Сойдет,— грустно сказал Мечик.

«Экий непроходимый путаник»,— думал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив, безволен и как же на самом деле безрадостно, что в стране плодятся еще такие люди — никчемные и нищие. «Да, до тех пор, пока у нас, на нашей земле,— думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой,— до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого бога — до тех пор могут рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...»

И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо скудной жизнью?

«Но неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?» — думал Левинсон, мысленно возвращаясь к Мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в детстве, ранней юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глубоко залегли — и слишком значительны для него были — напластования последующих лет, когда он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как *Левинсона,* как человека, всегда идущего во главе.

Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик — в черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с удивительным, недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была вылететь красивая птичка. Она так и не вылетела, и помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно убедиться в том, что «так не бывает»!

И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых птичках,— о птичках, которые должны откуда-то вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, он больше не нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним — все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о красивых птичках!.. «Видеть все так, как оно есть, для того чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть»,— вот к какой — самой простой и самой нелегкой — мудрости пришел Левинсон.

«...Нет, все-таки я был крепкий парень, я был много крепче его,— думал он теперь с необъяснимым, радостным торжеством, которого никто не мог бы понять, даже предположить в нем,— я не только многого хотел, но я многое *мог* — в этом все дело...» Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо, он чувствовал прилив необыкновенных сил, вздымавших его на недосягаемую высоту; и с этой обширной, земной, человеческой высоты он господствовал над своими недугами, над слабым своим телом...

Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже по-

вяли, дневальный больше не улыбался — слышно было, как он возится где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался к своему костру; костер едва тлел, возле него крепким и безмятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левинсон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От сильного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почувствовал тепло, заворочался и зачмокал во сне,— лицо его было открыто, губы по-детски выпячены, фуражка, прижатая виском, стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доброго щенка. «Ишь ты»,— любовно подумал Левинсон и улыбнулся; после разговора с Мечиком почему-то особенно приятно было смотреть на Бакланова.

Потом он, кряхтя, улегся рядом, и только закрыл глаза — закружил, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела, пока не ухнул сразу в бездонную черную яму.

XIV. РАЗВЕДКА МЕТЕЛИЦЫ

Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон. Метелица покинул отряд около четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после пяти медлительных и скучных дней,— но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, осенняя тайга — в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался наконец из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей омшаника, как видно, давным-давно заброшенного людьми.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками, края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым деревом и задушенными травами. Приподнявшись на цепких, полусогнутых ногах, стоял он минут десять, не шелох-

нувшись, зорко оглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу. Перед ним лежала хмурая долина в темных стогах и рощах, зажатая двумя рядами сопок, густо черневших на фоне неласкового звездного неба.

Метелица впрыгнул в седло и въехал на дорогу. Ее черные, давно не езженные колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя; шумела река. Верстах в двух, должно быть возле самой реки, горел костер — он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.

«Болото там, не иначе»,— подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс, под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь он походил на мужика с поля: после германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках.

Он был уже совсем близко от костра,— вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица с силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью.

У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый мальчишка — в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крик-

нуть ему что-то повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испуганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского плеча, пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная детская шея...

— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты, воробей, воробей,— вот дурак-то тоже! — смутившись заговорил Метелица, невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда не говорил с людьми, а только с лошадьми.— Стоит — и крышка!.. А ежели б задавил тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже! — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то такое же жалкое, смешное, детское... Мальчишка от испугу едва перевел дух и опустил руку.

— А чего ж ты налетел, как бузуй? — сказал он, стараясь говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще робея.— Напужаисси — тут у меня кони...

— Ко-они? — насмешливо протянул Метелица.— Скажите на милость! — Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными, подвижными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно-громко, на таких высоких, добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходят из него такие звуки.

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все, наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху и тоже — совсем по-детски — залился озорно и тоненько. От неожиданности Метелица прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут: один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая огненными от костра зубами, а другой — упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем телом при каждом новом взрыве.

— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал наконец Метелица, выпрастывая ногу из стремени.— Чудак ты, право...— Он соскочил на землю и протянул руку к огню.

Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.

— И веселый же ты, дьявол,— выговорил он наконец раздельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеждениям.

— Я-то? — усмехнулся Метелица.— Я, брат, веселый.

— А я так напужался,— сознался парнишка.— Кони тут у меня. А я картошку пеку...

— Картошку? Это здорово!..— Метелица уселся рядом, не выпуская из рук уздечки.— Где ж ты берешь ее, картошку?

— Вона, где берешь... Да тут ее гибель! — и парнишка повел руками вокруг.

— Воруешь, значит?

— Ворую... Давай я подержу коня-то... Или жеребец у тебя?.. Да я, брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец,— сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с подтянутым животом и мускулистую фигуру жеребца.— А ты откуль сам?

— Ничего жеребец,— согласился Метелица.— А ты откуда?

— А вон,— кивнул мальчишка в сторону огней.— Ханихеза — село наше... Сто двадцать дворов, как одна копеечка,— повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул.

— Так... А я с Воробьевки за хребтом. Может, слыхал?

— С Воробьевки? Не, не слыхал,— далеко, видать.

— Далеко.

— А к нам зачем?

— Да как сказать... Это, брат, долго рассказывать... Ко̀ней думаю у вас куповать, ко̀ней, говорят, у вас тут много... Я, брат, их люблю, ко̀ней-то,— проникновенно-хитро сказал Метелица,— сам всю жизнь пас, только чужих.

— А я, думаешь, своих? Хозяйские...

Парнишка выпростал из рукава худую грязную ручонку и кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные картофелины.

— Может, ты ись хочешь? — спросил он.— У меня и хлеб е, ну — мало...

— Спасибо, я только что нажрался — вот! — соврал Метелица, показав по самую шею, и только теперь почувствовал, как сильно ему хочется есть.

Парнишка разломил картофелину, подул на нее, сунул в рот половину вместе с кожурой, повертел на языке и с аппетитом стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он посмотрел на Метелицу и так же раздельно и четко, как раньше определил его веселым человеком, сказал:

— Сирота я, полгода уж как сирота. Тятьку у меня казаки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, а брата тоже...

— Казаки? — встрепенулся Метелица.

— А как же? Вбили почем зря. И двор весь попалили, да не у нас одних, а дворов двенадцать, не менее, и каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек сорок стоит. А волостное село за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох, и лютуют! Бери картошку-то...

— Как же вы так — и не бежали?.. Вон лес у вас какой...— Метелица даже привстал.

— Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болота там — не вылезешь — такое бучило...

«Как угадал»,— подумал Метелица, вспомнив свои предположения.

— Знаешь что,— сказал он, подымаясь,— попаси-ка коня моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнего отберут...

— Что ты скоро так? Сиди!..— сказал пастушонок, сразу огорчившись, и тоже встал.— Одному скушно тут,— пояснил он жалостным голосом, глядя на Метелицу большими просящими и влажными глазами.

— Нельзя, брат,— Метелица развел руками,— самое разведать, пока темно... Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем... Где у них там самый главный стоит?

Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник эскадрона и как лучше пройти задами.

— А собак у вас много?

— Собак — хватает, да они не злые.

Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, дви-

нулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во тьме. Через полчаса Метелица был под самым селом. Тропинка отвернула вправо, но он, по совету пастушонка, продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на прясло, огибавшее мужицкие огороды,— дальше пошел задами. Село уже спало; огни потухли; чуть видны были при свете звезд теплые соломенные крыши хатенок в садах, пустых и тихих; с огородов шел запах вскопанной сырой земли.

Метелица, миновав два переулка, свернул в третий. Собаки провожали его неверным хриплым лаем, точно напуганные сами, но никто не вышел на улицу, не окликнул его. Чувствовалось, что здесь привыкли ко всему, привыкли и к тому, что незнакомые, чужие люди бродят по улицам, делают что хотят. Не видно было даже обычных в осеннее время, когда по деревням справляют свадьбы, шушукающихся парочек: в густой тени под плетнями никто не шептал о любви в эту осень.

Руководствуясь приметами, которые дал ему пастушонок, он прошел еще несколько переулков, кружа возле церкви, и наконец уперся в крашеный забор поповского сада. (Начальник эскадрона стоял в доме попа.) Метелица заглянул внутрь, пошарил глазами, прислушался и, не найдя ничего подозрительного, бесшумно перемахнул через забор.

Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. Метелица, сдерживая могучий трепет сердца, почти не дыша, пробирался вглубь. Кусты вдруг оборвались, пересеченные аллеей, и саженях в двадцати, налево от себя, он увидел освещенное окно. Оно было открыто. Там сидели люди. Ровный, мягкий свет струился по опавшей листве, и яблони, отсвеченные по краям, стояли в нем, странные и золотые...

«Вот оно!» — подумал Метелица, нервно дрогнув щекой и вспыхнув и загораясь весь тем жутким, неотвратимым чувством бесстрашного отчаяния, которое толкало его обычно на самые безрассудные подвиги: еще раздумывая, нужно ли кому-нибудь, чтобы он подслушал разговор этих людей в освещенной комнате, он знал, в сущности, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не сделает этого. Через несколько ми-

нут он стоял за яблоней под самым окном, жадно вслушиваясь и запоминая все, что творилось *там*.

Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в прилизанных волосиках и юркий на глаз,— он ловко сновал по столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каждую, так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, принимая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тотчас же прятал под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах,— должно быть, из-за его полноты Метелица принял его за начальника эскадрона. Однако во все последующее время он, по необъяснимым для себя причинам, интересовался больше четвертым из игравших — с лицом обрюзглым и бледным и с неподвижными ресницами, тот был в черной папахе и в бурке без погон, в которую кутался каждый раз после того, как сбрасывал карту.

Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они говорили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая половина разговоров вертелась вокруг карт.

— Восемьдесят играю,— сказал сидевший к Метелице спиной.

— Слабо, ваше благородие, слабо,— отозвался тот, что был в черной папахе.— Сто, втемную,— добавил он небрежно.

Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вынув трубку, поднял до ста пяти.

— Я пас,— сказал первый, отворачиваясь к попику, который держал прикуп.

— Я так и думал...— усмехнулась черная папаха.

— Разве я виноват, если карты не идут? — оправдываясь, говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику.

— По маленькой, по маленькой,— шутил попик, сожмуриваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть таким мелким смешком всю незначительность игры своего собеседника.— А двести два очка уже списали-с... знаем мы вас!..— И он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком.

«Вот гнида»,— подумал Метелица.

— Ах, и вы пас? — переспросил попик ленивого офицера.— Пожалуйте прикуп-с,— сказал он черной папахе и, не раскрывая карт, сунул их ей.

В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, пока черная папаха не проиграла. «А задавался, рыбий глаз»,— презрительно подумал Метелица, не зная — уходить ли ему или подождать еще. Но он не смог уйти, потому что проигравший повернулся к окну, и Метелица почувствовал на себе пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей точности.

Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень древние старушки.

— А Нечитайлы нет,— зевая, сказал ленивый.— Как видно, с удачей. Лучше бы и я с ним пошел...

— Вдвоем? — спросила папаха, отвернувшись от окна.— Она бы сдюжила! — добавила она, скривившись.

— Васенка-то? — переспросил попик.— У-у... она бы сдюжила!.. Тут у нас здоровенный псаломщик был — да, ведь я вам рассказывал... Ну, только Сергей Иванович не согласился б. Никогда-с... Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? «Я, говорит, ее с собой возьму, я, говорит, на ней жениться не побоюсь, я, говорит...» Ой! — вдруг воскликнул попик, закрывая рот ладошкой и хитро поблескивая своими умненькими глазками.— Вот память! И не хотел, да проговорился. Ну, чур, не выдавать! — и он с мнимым испугом замахал ладошками. И хотя все так же, как Метелица, видели неискренность и скрытую угодливость каждого его слова и движения, никто не сказал ему об этом, и все засмеялись.

Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на одно плечо,— позади его виднелись еще двое.

— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил этот человек, бессознательным движением придержав шинель, чуть не упавшую, когда он наткнулся на Метелицу.

Взводный отпрыгнул и бросился в кусты.

— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед.

Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался наугад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный собачий лай доносился с улицы.

— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь к Метелице с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал.

— Врешь, не поймаешь...— торжественно сказал Метелица, до самой последней минуты действительно не веривший в то, что его смогут скрутить.

Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и подмял под себя. Метелица попытался высвободить руку, но жестокий удар по голове оглушил его...

Потом его били подряд, и, даже потеряв сознание, он чувствовал на себе эти удары еще и еще...

В низине, где спал отряд, было темновато и сыро, но из оранжевого прогала за Хаунихедзой глядело солнце, и день, пахнущий осенним тлением, занялся над тайгой.

Дневальный, прикорнувший возле лошадей, заслышал во сне настойчивый, монотонный звук, похожий на далекую пулеметную дробь, и испуганно вскочил, схватившись за винтовку. Но это стучал дятел на старой ольхе возле реки. Дневальный выругался и, ежась от холода, кутаясь в дырявую шинель, вышел на прогалину. Никто не проснулся больше: люди спали глухим, безликим и безнадежным сном, каким спят голодные, измученные люди, которым ничего не сулит новый день.

«А взводного нет все... нажрался, видать, и дрыхнет где в избе, а тут не евши сиди»,— подумал дневальный. Обычно он не меньше других восхищался и гордился Метелицей, но теперь ему казалось, что Метелица довольно подлый человек и напрасно его сделали взводным командиром. Дневальному сразу не захотелось страдать тут, в тайге, когда другие, вроде Метелицы, наслаждаются всеми земными радостями, но он не решался потревожить Левинсона без достаточных оснований и разбудил Бакланова.

— Что?.. Не приехал?..— завозился Бакланов, тараща спросонья ничего не понимающие глаза.— Как не приехал?! — закричал он вдруг, все еще не придя в себя, но поняв уже, о чем идет речь, и испугавшись этого.— Нет, да ты, братец, оставь, не может этого быть... Ах, да! Ну, буди Левинсона.— Он вскочил, быстрым движением перетянул ремень, собрав к переносью заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.

Левинсон, как ни крепко он спал, услышав свою фамилию, тотчас же открыл глаза и сел. Взглянув на дневального и Бакланова, он понял, что Метелица не приехал и что уже давно пора выступать. В первую минуту он почувствовал себя настолько усталым и разбитым, что ему захотелось зарыться с головой в шинель и снова заснуть, забыв о Метелице и о своих недугах. Но в ту же минуту он стоял на коленях и, свертывая скатку, отвечал сухим и безразличным тоном на тревожные расспросы Бакланова:

— Ну и что ж такого? Я так и думал... Конечно, мы встретим его по дороге.

— А если не встретим?

— Если не встретим?.. Слушай, нет ли у тебя запасного шнурка на скатку?

— Вставай, вставай, кобылка! Даешь деревню! — кричал дневальный, ногами расталкивая спящих. Из травы подымались всклокоченные партизанские головы, и вдогонку дневальному летели первые, недоделанные спросонья, матюки,— в хорошее время Дубов называл такие «утренниками».

— Злые все,— задумчиво сказал Бакланов.— Жрать хотят...

— А ты? — спросил Левинсон.

— Что — я?.. Обо мне разговору нет.— Бакланов насупился.— Как ты, так и я — точно не знаешь...

— Нет, я знаю,— сказал Левинсон с таким мягким и кротким выражением, что Бакланов впервые внимательно присмотрелся к нему.

— А ты, брат, похудел,— сказал он с неожиданной жалостью.— Одна борода осталась. Я бы на твоем месте...

— Идем-ка лучше умываться,— прервал его Левинсон, виновато и хмуро улыбнувшись.

Они прошли к реке. Бакланов снял обе рубахи и стал полоскаться. Видно было, что он не боялся холодной воды. Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а голова круглая и добрая, как у ребенка, и мыл он ее тоже каким-то наивным ребячьим движением — поливал из ладони и растирал одной рукой.

«О чем-то я много говорил вчера и что-то обещал, и как-то неладно теперь»,— подумал вдруг Левинсон, смутно и с неприязнью вспомнив вчерашний разговор с Мечиком и свои мысли, связанные с этим разговором. Не то чтобы они показались ему неправильными теперь, то есть не выражавшими того, что происходило в нем на самом деле,— нет, он чувствовал, что это были довольно правильные, умные, интересные мысли, и все-таки он испытывал теперь смутное недовольство, вспоминая их. «Да, я обещал ему другую лошадь... Но разве в этом может быть что-нибудь неладное? Нет, я поступил бы так и сегодня, значит, тут все в порядке... Так в чем же дело?.. А дело в том...»

— Что ж ты не умываешься? — спросил Бакланов, кончив полоскаться и докрасна растираясь грязным полотенцем.— Холодная вода. Хорошо!

«...А дело в том, что я болен и с каждым днем все хуже владею собой»,— подумал Левинсон, спускаясь к воде.

Умывшись, перепоясавшись и ощутив на бедре привычную тяжесть маузера, он почувствовал себя все-таки отдохнувшим за ночь.

«Что случилось с Метелицей?» Эта мысль теперь целиком овладела им.

Левинсон никак не мог представить себе Метелицу не двигающимся и вообще не живущим. Он всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и не раз замечал, что ему приятно бывает ехать рядом с ним, разговаривать или даже просто смотреть на него. Метелица нравился ему не за какие-нибудь выдающиеся общественно полезные качества, которых у него было не так уж много и которые в гораздо большей степени были свойственны самому Левинсону, а Метелица нравился ему за ту необыкновенную физическую цепкость, животную, жизненную силу, которая била в нем неиссякаемым ключом и которой

самому Левинсону так не хватало. Когда он видел перед собой его быструю, всегда готовую к действию фигуру или знал, что Метелица находится где-то тут рядом, он невольно забывал о собственной физической слабости, и ему казалось, что он может быть таким же крепким и неутомимым, как Метелица. Втайне он даже гордился тем, что управляет таким человеком.

Мысль о том, что Метелица мог попасть в руки врага,— несмотря на то что сам Левинсон все больше укреплялся в ней,— плохо прививалась людям. Каждый истомившийся партизан старательно и боязливо гнал ее от себя, как самую последнюю мысль, суливщую одни несчастья и страдания, а потому, очевидно, совершенно невозможную. Наоборот, предположение дневального, что взводный «нажрался и дрыхнет где-то в избе»,— как ни непохоже это было на быстрого и исполнительного Метелицу,— все больше собирало сторонников. Многие открыто роптали на «подлость и несознание» Метелицы и надоедали Левинсону с требованием немедленно выступить ему навстречу. И когда Левинсон, с особой тщательностью выполнив все будничные дела, в частности переменив Мечику лошадь, отдал наконец приказ выступать,— в отряде наступило такое ликование, точно с этим приказом на самом деле кончились всякие беды и мытарства.

Они проехали час и другой, а взводный с лихим и смолистым чубом все не показывался на тропе. Они проехали еще столько же, а взводного все не было. И уже не только Левинсон, но даже самые отъявленные завистники и хулители Метелицы стали сомневаться в счастливом исходе его поездки.

К таежной опушке отряд подходил в суровом и значительном молчании.

XV. ТРИ СМЕРТИ

Метелица очнулся в большом темном сарае,— он лежал на голой сырой земле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в го-

лове, волосы ссохлись в крови,— он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках.

Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том — нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя меж людей,— он будет, в конце концов, лежать и гнить, как всякий из этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь — напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на мертвое холодное дерево, а щели были так безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд,— они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра.

Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его душевные и физические силы сосредоточились на том — совершенно незначительном с точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным — вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их.

Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них.

Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей,— тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом.

— Пойдем, землячок,— сказал наконец передний беззлобно, даже немного виновато.

Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу.

Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком — в черной папахе и бурке — в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удив-

ленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, которого Метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой — в бурке.

— Можете идти,— отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей.

Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты.

— Что ты делал вчера в саду? — быстро спросил он, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.

Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что, независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.

— Ты брось эти глупости,— снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в Метелице.

— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный.

Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью.

— Оспой давно болел? — спросил он.

— Что? — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними.

— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?

— Брось, ваше благородие!..— решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно-спокойным, обрюзглым лицом в не-

опрятной рыжеватой щетине и не задушить его,— мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело.

— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с Метелицы.

Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу,— он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих.

В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова, с большими испуганными и глупыми глазами, просунулась в комнату.

— Ага,— сказал начальник эскадрона.— Собрались уже? Ну что ж — скажи ребятам, чтоб взяли этого молодца.

Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь.

Там, возле бревенчатой ктиторовой избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками.

Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не замечая, делал *ради* людей и *для* людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в паневах, деву-

шек в белых цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке,— их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе.

«Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему — живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким звериным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в его гибком и жадном теле.

Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо.

— Сюда, сюда, — сказал начальник эскадрона. указав ему место рядом. Метелица, разом перешагнув ступеньку, стал рядом с ним. Теперь он был хорошо виден всем — тугой и стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком, с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки, — с далеким хищным блеском своих летящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты.

— Кто знает этого человека? — спросил начальник, обводя всех острым, сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице.

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову,— только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным любопытством.

— *Никто* не знает? — переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово «никто», точно ему было известно, что все, наоборот, *знают* или *должны* знать «этого человека».— Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце гарцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели.

Толпа глухо заволновалась,— стоящие впереди обернулись назад,— кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка.

— Пропустите, пропустите! — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед.

Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка — с напуганными глазами, с тонкой, смешной и детской шеей,— которому он оставил вчера свою лошадь.

Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью (точно его неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал было:

— Вот тут пастушок у меня...

Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на Метелицу, спросил:

— Этот, что ли?

В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одеревенев, потом — на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему,— вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой... Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла.

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся,— с ласковой дрожью убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в Метелицу.— Кто же тогда, как не он?.. Да ты признай, признай, не бо... а-а, гад!..— со злобой оборвал он вдруг и изо всей

силы дернул парнишку за руку.— Да он, ваше благородие, кому ж другому быть,— заговорил он громко, точно оправдываясь и униженно суча шапкой.— Только боится парень, а кому ж другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал вечор на огонек. «Попаси, говорит, коня моего»,— а сам в деревню, а парнишка-то не дождал — светло уж стало,— не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле и кобура в сумке — кому ж другому быть?..

— Кто наехал? Какая кобура? — спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще рассеянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня — в седле и с револьверной кобурой в сумке.

— Вот оно что,— протянул начальник эскадрона.— Так ведь он не признает? — сказал он, кивнув на парнишку.— Впрочем, давай его сюда — мы его допросим по-своему...

Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь однако взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими — пронзительными и страшными.

— А-а... а!..— вдруг завопил парнишка, закатив белки.

— Да что ж это будет? — вздохнула, не выдержав, какая-то из баб.

В то же мгновение чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем,— начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком...

— Стреляйте в него!.. Да что же это такое? — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять.

Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался охватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгнове-

ние, как Метелица схватил за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд...

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле.

— Нечитайло! — кричал красивый офицер.— Собрать эскадрон!.. Вы тоже поедете? — учтиво спросил он начальника, избегая, однако, смотреть на него.

— Да.

— Лошадь командиру!..

Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху, по той дороге, по которой прошлой ночью ехал Метелица.

Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал:

— Слушай, дай я вперед поеду,— сказал он Левинсону.— Ведь черт его знает на самом деле...

Он пришпорил коня и скорее даже, чем ожидал, выехал на опушку, к заросшему омшанику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу — не дальше, как в полуверсте, спускалось с бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были регулярники — по их одинаковому обмундированию в желтых пятнах. Умерив свое нетерпение — скорей вернуться и предупредить об опасности (Левинсон мог вот-вот нагрянуть), Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился больше; эскадрон ехал шагом, расстроив ряды; судя по сбитой посадке людей и по тому, как мотали головами разыгравшиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях.

Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться.

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его.

— Человек пятьдесят.

— Пехота?

— Нет, конные...

— Кубрак, Дубов, спешиться! — тихо скомандовал Левинсон.— Кубрак — на правый фланг, Ду-

бов — на левый... Я тебе дам!..— зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая и других.— На место! — и он погрозил ему плеткой.

Передав Бакланову командование взводом Метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером.

Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана пробрался к омшанику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.

— Скажи, пусть сюда ползут,— шепнул он партизану,— только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? Живо!..— и он подтолкнул его, нахмурив брови.

Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в первый, давнишний период его военной деятельности.

В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.

В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг,— нет, он старался дать самое большее из того, что мог,— и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют *массы* людей,— нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию,— а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою.

Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил воз-

можность *управлять* событиями — тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них.

Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с *новым* его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.

Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уверенными и точными движениями, попрежнему предстала перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости.

Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников,— можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.

«Вот зверь, должно быть,— подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу.— Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой... Но почему он так плохо держится?.. Ведь как же нело...»

— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это мгновение эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой).— Пли!..

Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение.

— Пли!..— снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера.

Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напря-

женным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему,— некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест — наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу.

— Лошадей!..— кричал Левинсон.— Бакланов, сюда!.. По коням!..

Бакланов со свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда,— за ним с лязгом и гиком мчался взвод Метелицы, ощерившись оружием.

Вскоре весь отряд поскакал за ними.

Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всякое присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны,— он только видел перед собой чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины.

Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов.

Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина с чубатой головой полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле.

Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него... Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами... Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев, через кусты.

Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав...

В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу...

Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь сидел человек. Это был Морозка.

Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему.

Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие остекленевшие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами.

— Морозка...— тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади.

Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним.

Морозка распустил подпруги — одна из них была разорвана,— он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.

— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам — я пешком пойду! — крикнул Мечик.

Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла.

Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, сделал большой крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной низине справа от него — до самого хребта, отвернувшегося в сторону и затерявшегося в мутно-серой дали,— виднелся лес.

Небо — такое чистое с утра — теперь висело низкое и невеселое,— солнце едва проступало.

Шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив,— он с трудом приподнимался на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни, навстречу ему, ехало несколько конных партизан.

— У Морозки коня убили...— сказал Мечик, когда они поравнялись с ним.

Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: «А ты где был, когда мы тут бились?» Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий...

Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам,— остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце, в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади.

— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный.— По грибы ходил, что ли?

— Нет, я отбился,— сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался.— Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули?

— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке.— Я кричал тебе, да ты не слышал, видать...— И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним.

Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков,— они вели двух со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой в неровной проседи,— он сильно трясся и просил. Другой — тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую виднелись его измятые штанишки с отвисшей мошонкой. Мечик заметил, что к поясу у Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от креста.

— Этот, да? — бледнея спросил Левинсон, указав

пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.

— Он... он самый!..— загудели мужики.

— И ведь такая мразь,— сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах,— а Метелицу уже не воскресишь...— Он вдруг часто замигал и отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице.

— Товарищи! милые!..— плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими преданными глазами.— Да неужто ж я по охоте?.. Господи... Товарищи, милые...

Никто не слушал его. Мужики отворачивались.

— Чего уж там: всем сходом видели, как ты пастушонка неволил,— сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.

— Сам виноват...— подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову.

— Расстрелять его,— холодно сказал Левинсон.— Только отведите подальше.

— А с попом как? — спросил Кубрак.— Тоже — сука... Офицерей годувал.

— Отпустите его,— ну его к черту!..

Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью.

Чиж, в фуражке, испачканной чем-то нехорошим, но с нескрываемо победоносным видом, подошел к Мечику.

— Вон ты где! — сказал он обрадованно и гордо.— Эк тебя разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь... Теперь они его разделают...— протянул он многозначительно и свистнул.

В избе, где их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочнями. Чиж, давясь хлебом и щами, без умолку рассказывал о своих доблестях и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинными косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик старался слушать Чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука.

— ...Вдруг он как обернется — да на меня...— верещал Чиж, давясь и чавкая,— тут я его рраз!..

В это время звякнули стекла, и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел.

— Да когда же все это кончится!..— воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы.

«...Они убили его, этого человека в жилетке,— думал он, уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа где-то в кустах,— он даже не помнил, как забрался сюда.— Они убьют и меня рано или поздно... Но я и так не живу — я точно умер: я не увижу больше родных мне людей и этой милой девочки со светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клочки... А он, наверно, плакал, бедный человек в жилетке... Боже, зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? Как я несчастен!..»

Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом разливались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинными косами — она несла воду на коромысле, изогнувшись, как лозинка.

— Ох, и гуляет ваш один с хлопцами с нашими,— сказала она, подняв темные ресницы, и улыбнулась.— Он як... чуете? — И в такт разухабистой музыке, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду,— девушка застыдилась и юркнула в калитку.

А мы сами, каторжане,
Того да-жидалися-а...—

разливался чей-то пьяный и очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гармоньей и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному потному лицу.

Морозка шел посреди улицы с циничным развальцем, выставив перед и растягивая гармонь с таким — «от всей души» — выражением, точно он похабничал и тут же каялся; за ним шла орава таких же пьяных парней, без поясов и шапок. По бокам, крича и взды-

мая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята.

— А-а... Друг мой любезный! — в пьяном лицемерном восторге закричал Морозка, увидев Мечика.— Куда же ты? Куда? Не бойся — бить не будем... Выпей с нами... Ах, душа с тебя вон — вместях пропадать будем!..

Они всей толпой окружили Мечика, обнимали его, склоняли к нему свои добрые пьяные лица, обдавая его винным перегаром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец.

— Нет, нет, я не пью,— говорил Мечик, вырываясь,— я не хочу пить...

— Пей, душа с тебя вон! — кричал Морозка, чуть не плача от веселого исступления.— Ах, панихида... в кровь... В три господа!.. Вместях пропадать!

— Только немножко, пожалуйста, ведь я не пью,— сказал Мечик, сдаваясь.

Он сделал несколько глотков. Морозка, расплеснув гармонь, запел хрипловатым голосом, парни подхватили.

— Пойдем с нами,— сказал один, взяв Мечика под руку.— «...А я жи-ву ту-ута...» — прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к Мечику небритой щекой.

И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную трудную землю.

XVI. ТРЯСИНА

Варя, не участвовавшая в атаке (она оставалась в тайге с хозяйственной частью), приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. Она заметила, что захват квартир произошел беспорядочно, сам собой — взводы перемешались, никто не знал, где кто находится, командиров не слушались,— отряд распался на отдельные, не зависящие одна от другой части.

Ей попался по дороге к селу труп убитого Морозкиного коня, но никто не мог ей сказать определенно, что случилось с Морозкой. Одни говорили, что он

убит,— они видели это собственными глазами; другие — что он только ранен; третьи, ничего не зная о Морозке, с первых же слов начинали радоваться тому счастливому обстоятельству, что сами остались в живых. И все это, вместе взятое, только усиливало то состояние упадка и безнадежного уныния, в котором Варя находилась со времени ее неудачной попытки примириться с Мечиком.

Намучившись и натерпевшись от бесконечных приставаний, от голода, от собственных дум и терзаний, не имея больше сил держаться на седле, чуть не плача, она отыскала наконец Дубова — первого человека, действительно обрадовавшегося и улыбнувшегося ей суровой сочувственной улыбкой.

И когда она увидела его постаревшее нахмуренное лицо, с грязными и черными, опущенными книзу усами, и все остальные окружавшие ее знакомые, милые, грубые лица, тоже посеревшие, искрапленные навек угольной пылью,— сердце у нее дрогнуло от сладкой и горестной тоски, любви к ним, жалости к себе. Они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и наивной девчонкой, с пышными косами, с большими и грустными глазами, катала вагонетки по темным слезящимся штрекам и танцевала на вечорках, и они так же окружали ее тогда, эти лица, такие смешные и хотящие.

С того времени, как она поссорилась с Морозкой, она как-то совсем оторвалась от них, а между тем это были единственные близкие ей люди, шахтеры-коренники, которые когда-то жили и работали рядом и ухаживали за ней. «Как давно я их не видала, я вовсе о них забыла... Ах, милые мои дружки!..» — подумала она с любовью и раскаянием, и у нее так сладко заломило в висках, что она едва удержалась от слез.

Только одному Дубову удалось на этот раз разместить взвод в порядке по соседним избам. Его люди несли караул за селом, помогали Левинсону запасать продовольствие. В этот день как-то сразу выяснилось то, что скрыто было раньше в общем подъеме, в равных для всех буднях,— что весь отряд держится главным образом на взводе Дубова.

Варя узнала от ребят, что Морозка жив и даже не ранен. Ей показали его нового коня, отбитого

у белых. Это был гнедой, высокий, тонконогий жеребец с коротко подстриженной гривой и тонкой шеей, отчего у него был очень неверный, предательский вид,— его уже окрестили «Иудой».

«Значит, он жив...— думала Варя, рассеянно глядя на жеребца.— Что ж, я рада...»

После обеда, когда она, забравшись на сеновал, лежала одна в душистом сене, прислушиваясь сквозь сон, не лезет ли к ней кто-нибудь «по старой дружбе»,— она вновь с мягким, сонным и теплым чувством вспомнила, что Морозка жив, и уснула с этой же мыслью.

Проснулась она внезапно — в сильной тревоге с оледеневшими руками. Ночь, сплошная, движущаяся во тьме, глядела под крышу. Холодный ветер шевелил сено, стучал ветвями, шелестел листьями в саду...

«Боже мой, где же Морозка? где все остальные? — с трепетом подумала Варя.— Неужто я опять осталась одна, как былинка,— здесь, в этой черной яме?..» Она с лихорадочной быстротой и дрожью, не попадая в рукава, надела шинель и быстро спустилась с сеновала.

Около ворот маячил силуэт дневального.

— Это кто дневалит? — спросила она, подходя ближе.— Костя?.. Морозка вернулся, не знаешь?

— Выходит, ты на сеновале спала? — сказал Костя с досадой и разочарованием.— Вот не знал! Морозку не жди — загулял в дым: по коню поминки справляет... Холодно, да? Дай спичку...

Она отыскала коробок,— он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее:

— А ты сдала, молоденькая...— и улыбнулся.

— Возьми их себе...— Она подняла воротник и вышла за ворота.

— Куда ты?

— Пойду искать его!

— Морозку?.. Здорово!.. Может, я его заменю?

— Нет, навряд ли...

— Это с каких же таких пор?

Она не ответила. «Ну — свойская девка»,— подумал дневальный.

Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели

все тревожней и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху, под шинель,— он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный Кубрака,— она спросила, не знает ли он, где гуляет Морозка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись вконец, повернула обратно.

Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу, и теперь шла наугад, почти не думая о цели своих странствований; только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на Морозку.

Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки, и чуть слышно стонал,— как видно, его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он,— не в первый раз она заставала его в таком положении.

— Ваня! — позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь...— Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да?

Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его — он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел, прислонился к плетню и вытянул ноги.

— А-а... это вы?.. М-мое вам почтение...— пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия.— М-мое вам почтение, товарищ... Морозова...

— Пойдем со мной, Ваня,— она взяла его за руку.— Или ты, может, не в силах?.. Обожди — сейчас все устроим, я достучусь...— И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной,— она никогда не обращала внимания на такие вещи.

Но Морозка вдруг испуганно замотал головой и захрипел:

— Ни-ни-ни... Я тебе достучусь!.. Тише!..— И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он протрезвел от испуга.— Тут Гончаренко стоит, разве н-неизвестно?.. Да как же м-можно...

— Ну и что ж, что Гончаренко? Подумаешь — барин.

— Н-нет, ты не знаешь,— он болезненно сморщился и схватился за голову,— ты же не знаешь — зачем же? Ведь он меня за человека, а я... ну, как же?.. Н-нет, разве можно...

— И что ты мелешь без толку, миленький ты мой,— сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним.— Смютри — дождик идет, сыро, завтра в поход идти,— пойдем, миленький...

— Нет, я пропал,— сказал он как-то уж совсем грустно и трезво.— Ну, что я теперь, кто я, зачем,— подумайте, люди?..— И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами.

Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку:

— Ну, что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?.. Коня жалко, да? Так там уж другого припасли,— такой добрый коник... Ну, не горюй, милый, не плачь,— гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок! — И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты.

— У-у, цуцик! — сказал Морозка с пьяной нежностью и облапил его за уши.— Где ты его?.. К-кусается, стерва...

— Ну, вот видишь!.. Пойдем, миленький...

Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей.

За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике, и она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого Мечика. Потом Морозка нахохлился и вовсе замолчал: он заметно трезвел.

Так дошли они до той избы, где стоял Дубов.

Морозка, вцепившись в перекладинки лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его.

— Может, подсобить? — спросила Варя.

— Нет, я сам, дура! — ответил он грубо и сконфуженно.

— Ну, прощай тогда...

Он опустил лестницу и испуганно посмотрел на нее:

— Как «прощай»?

— Да уж как-нибудь,— она засмеялась деланно и грустно.

Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее, и ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними; за всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз — в день их свадьбы,— когда был сильно пьян и соседи кричали «горько».

«...Вот и конец, и все обернулось по-старому, будто и не было ничего,— думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся Морозка заснул, прикорнув возле ее плеча.— Снова по старой тропке, одну и ту же лямку — и все к одному месту... Но, боже ж мюй, как мало в том радости!»

Она повернулась спиной к Морозке, закрыв глаза и поджав по-сиротски ноги, но ей так и не удалось заснуть... Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедзский волостной тракт и где стояли часовые,— раздались три сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку, и — только он поднял свою кудлатую голову — снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь.

Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с сеновала. Дождя уж не было, но ветер покрепчал,— где-то хлопала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки.

В течение нескольких минут, пока Морозка доб-

рался до пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку с остекленевшими глазами и вспомнил вдруг, с омерзением и страхом, все свое вчерашнее недостойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг,— они гуляли запанибрата, и он, Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения — в чем? за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно, на самом деле, показаться на глаза Гончаренке после такого дебоша?

Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно: седло — без подпруги, винтовка осталась в избе Гончаренки.

— Тимофей, друг, выручи!..— жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору.— Дай мне запасную подпругу — у тебя есть, я видал...

— Что?! — заревел Дубов.— А где ты раньше был?! — Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой.— На!..— гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине.

«Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил»,— подумал Морозка и даже не огрызнулся — он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей,— казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни.

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам,— кричал:

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставишь при конях,— сказал он Дубову.

— За мной! Бегом!..— крикнул он через несколько

минут и ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь.

Дорогой им встретились убегавшие часовые.

— Их там несметная сила! — кричали они, панически размахивая руками.

Грохнул орудийный залп; снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими, равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя — загорелся стог или изба.

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца.

Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки,— она передвигалась к центру,— как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая, многоголовая лава людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они,— облегченно сказал Левинсон.— Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили — пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно дребез-

жащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины,— отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела.

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом,— горел целый квартал,— на фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненноликие фигурки людей.

Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо.

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей!.. Скорей!..— кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти (он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление),

а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди,— придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту; под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо — почва была очень вязкой. Особенно трудно приходилось поводырям из взвода Дубова — они вели по три лошади, только Варя вела две — свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся.

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...

— Что там случилось? — спросил он.

— Не знаю,— ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— Дальше идти некуда, трясина...

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда — это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним, она имела теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья,— конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха,— пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!..

И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими, горящими, круглыми глазами, которыми он быст-

ро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся там, на опушке леса,— его нервный, тонкий, резкий охрипший голос прозвучал слышно для всех:

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать! — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах.— Слушать мою команду! Мы будем *гатить* болото — другого выхода нет у нас... Борисов! (это был новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказ отступать... Кубрак! Выделить трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек... Все остальные — в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной!..— Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное, яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-зеленая, поросшая ряской поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья,— освещенные дымным пламенем, выхватывающим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей,— в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собствен-

ного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати,— дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено,— Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы: некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами — в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизью.

Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко.

Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух.

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба,— чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром,— и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

XVII. ДЕВЯТНАДЦАТЬ

В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост — там пролегал государственный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста.

Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом — остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудо-Вакский тракт.

Солнце уже подымалось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, не похожий на осенний.

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чув-

ствовать, что он чем-то обязан перед ними, но он, казалось, *не мог* уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы...

Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся беззвучным и бесплотным роем... «Зачем эта длинная бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак... скую долину... как это странно — вак... скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит — дозор... Да, да, дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и конечно нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..»

— Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову.

Рядом с ним ехал Бакланов.

— Я говорю, надо бы дозор послать.

— Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста...

Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью,— Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то проехал мимо.

— Морозка! — крикнул Бакланов вслед уезжавшему.— Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду...

«Разве он остался в живых? — подумал Левинсон.— А Дубов погиб... Бедный Дубов... Но что же

случилось с Морозкой?.. Ах, да — это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда...»

Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.

Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился.

Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки.

— Слезай!..— сказал один придушенным свистящим шепотом.

Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся,— несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты, и кто-то ругался со злобными придыханиями...

Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха — отдыха во что бы то ни

стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей,— он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель...

И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами,— это радостное видение большой залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...

— Сбежал, гад...— сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него.

Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться,— он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался,— но он ясно понял, что *никогда* не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...

В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову.

Когда Левинсон услышал выстрелы, они прозвучали так неожиданно и были так невозможны в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали, как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши.

Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан,— он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха... «Вот оно — то, чего я боялся»,— подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться...

И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда.

Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед, с заблестевшими глазами.

— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах.

Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним...

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у

них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова.

Это было последнее связное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепительно-грохочущее обрушилось на него — ударило, завертело, смяло,— и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью.

Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонятся за ним, и, когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще, без перерыва,— весь лес заговорил и ожил...

«Ай, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой...» — то шептал, то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа и нарочно так жалко кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы.

Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла.

Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно-гулкой тишины, что наступила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. Шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными желтоватыми глазками.

Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступлен-

ными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал,— повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы.— Что я наделал, как мог я это сделать,— я, такой хороший и честный и никому не желавший зла,— о-о-о... как мог я это сделать!»

Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка.

И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.

Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь сделать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман.

Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе, и все, что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Морозка, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами, и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное.

«Я не хочу больше переносить это»,— подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью»,— подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих

жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.

Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город, мне ничего не остается, как только уйти туда»,— подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться.

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки,— она была теперь вся в тени, Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. «Вдруг там белые?..» — думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок...

«А не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.

Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался Тудо-Вакский тракт.

Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние,— ему казалось, что очень долго, на самом деле оно длилось не больше минуты,— но когда он очнулся, он, к удивлению своему, почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом.

Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним,— пули густо визжали над головой,— но он понял также, что это стреляют сзади и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренку. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была

усеяна конскими и людскими трупами, несколько всадников, во главе с Кубраком, с трудом поспешали за Левинсоном, дальше виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то, на хромающей лошади, далеко отстал, махал рукой и кричал. Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикладами,— он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвернулся.

В эту минуту он, вместе с Варей и Гончаренкой, достиг поворота, и стрельба немного утихла; пули больше не визжали над ухом, Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек — с собой и Левинсоном. Они долго мчались под уклон, без единого возгласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися глазами в то узкое, желтое, молчаливое пространство, что стремительно бежало перед ними, как рыжий загнанный пес.

Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом.

Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то спросить и не мог вспомнить, и странно, мучительно смотрел на всех долгим невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими, глубокими, синими глазами. Восемнадцать человек остановились, как один. Стало очень тихо.

— Где Бакланов? — спросил Левинсон.

Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно.

— Убили Бакланова...— сказал наконец Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами руку, державшую повод.

Варя, ссутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко, истерически заплакала,— ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся.

Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился, и все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости; он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде... Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться.

Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом.

— Не плачь, уж чего уж...— виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо.

Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать.

Так выехали они из леса — все девятнадцать.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно — простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полноводная речица,— красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая — жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом,— и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности.

1925—1926

☆



СОДЕРЖАНИЕ

С 83 **Страницы подвига.** Советская военно-патриотическая проза в четырех томах. Том первый. / Под общ. ред. А. Дементьева; Сост. Л. Асанова; Слово к читателю А. Дементьева; Ил. В. Гальдяева.— М.: Правда, 1987.— 608 с., ил.

Первый том военно-патриотической прозы «Страницы подвига» посвящен гражданской войне, коммунистам — воспитателям масс. В сборник вошли романы А. Серафимовича «Железный поток», Д. Фурманова «Чапаев» и А. Фадеева «Разгром».

$С\frac{4702010200—1380}{080(02)—87}$ 1380—87 84 Р 7

СТРАНИЦЫ ПОДВИГА

Советская военно-патриотическая проза в четырех томах

Том первый

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Составитель
Леонид Николаевич
Асанов

Редактор
С. А. Суркова

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

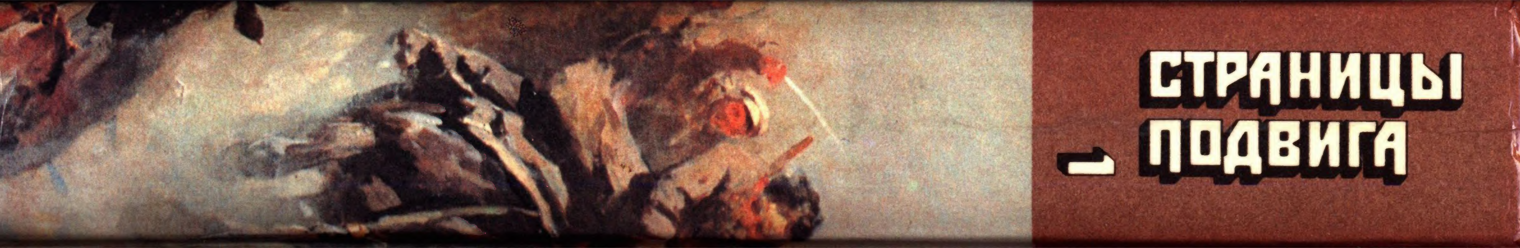
ИБ 1380

Сдано в набор 07.07.86. Подписано к печати 18.09.86
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,34. Усл. кр.-отт. 34,23. Уч.-изд. л. 32,67.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—250 000).
Заказ № 2213. Цена 3 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.


3 р. 10 к.


СТРАНИЦЫ ПОДВИГА
1